

индекс : 84471

**ВЕСТНИК
ЗНАМЯ**

ISSN 0130-1616

12/2015
декабрь



ISSN 0130 1616

ЗНАМЯ

В Ы Х О Д И Т с я н в а р я 1 9 3 1 г о д а

12/2015

- 3 Геннадий Русаков. Ушла с цветами прима...
- 7 Владимир Козлов. Пассажир.
- 41 Алексей Кудряков. Слепая верста.
- 44 Александр Киров. Другие лошади.
- 66 Константин Гадаев. Меж третьим и четвёртым
перегоном.
- 72 Александр Кабаков. Под снос.
- 79 Владимир Рафеенко. Пиво и сигареты.
- 83 Андрей Баранов. Продаю гараж...
- 87 Руслан Киреев. Письма из рая.
- 98 Юрий Малецкий. Как я побывал в Мадриде.
-
- 112 Юрий Петкевич. жрцц.
- 120 Мария Ряховская. Выйду замуж за психа, йога
или пьяницу.
- а р х и в ы**
- 129 Борис Пастернак. Шесть писем Джону Харрису.
- 138 Андрей Арьев. Свет распада.
- 143 Владимир Державин. Тонкий шёлк.
-
- н е п р о ш е д ш е е**
- 149 Дмитрий Дьяков. Воронежский литературный фронт
- s t u d i o**
- 159 Лев Айзерман. Виктор Некрасов в обработке ФИПИ
- п р и с т а л ь н о е п р о ч т е н и е**
- 170 Ефим Гофман. Превозмогая духоту
- 180 Ольга Танган. Немецкие акценты Юрия Трифонова

г у т е н б е р г

- 193 Сергей Чупринин. Попутное чтение

п е р е у ч е т

- 196 Алексей Конаков. Критики о non-fiction в журналах первой половины 2015 года

н а б л ю д а т е л ь

р е ц е н з и и

- 198 Виктория Пономарева. — Александр Мелихов. Каменное братство
- 200 Юлия Воронина. — Андрей Поляков. Америка
- 202 Ангелина Масленникова. — Илья Одегов. Тимур и его лето
- 204 Александр Правиков. — Роман Рубанов. Соучастник
- 206 Станислав Секретов. — Алексей Никитин. Victory Park
- 208 Анастасия Лойтер. — Ольга Постникова. Понтийская соль
- 210 Владимир Коркунов. — Михаил Бару. Повесть о двух головах, или Провинциальный записки
- 213 Андрей Пермьяков. — Ирина Перунова. Коробок
- 216 Клементина Ширшова. — Муза Раменская. История Подъяпольских. Пять поколений в XX веке
- 218 Ольга Балла. — Наталия Лебина. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель
- 220 Михаил Эдельштейн. — Н.И. Петровская. Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика.
- 221 Екатерина Ларионова. — Владимир Рецептер. Принц Пушкин, или Драматическое хозяйство поэта

н е з н а к о м ы й а л ь м а н а х

- 223 Елена Сафронова. Чайка — Seagull. Литературный альманах. (Большой Вашингтон)
- 227 Содержание журнала «Знамя» за 2015 год
- 236 Именной указатель авторов журнала «Знамя» за 2015 год



Геннадий Русаков

Ушла с цветами прима...

* * *

На шорох трав, крадущихся бугром,
я просыпаюсь в самой волчьей теме.
Куда они? И дальний этот гром,
который, судя по всему, не в теме...
Хоть глаз коли — такая непроглядь.
Дождей не слышно, потому не встану —
устал я их на место направлять
согласно установленному плану.
Чему свершиться — то произойдёт.
Что ж пугаться у Бога под ногами?
Он при нужде всегда тебя найдёт
и различит в многоголосом гаме...
...Я подожду, как травы пробегут,
и вновь засну без всяких сожалений.
Но буду слышать этот дальний гуд
сместившихся за травами селений.

* * *

Дерюга дней ещё не порвалась.
Ночные звери ворошатся в норах:
они, как мы, наверно, тоже влать
досуги коротают в разговорах.
А тут апрельский гневный снегопад
метёт стеной уже вторые сутки.
И под землёй кроты и всходы спят
до самой окончательной побудки.
Что ж, и меня спасал от жизни сон —
уснул, так спи: со спящих взятки гладки.
Я до сих пор ещё держу фасон,
но не даются прежние повадки:
и сон не тот, и снятся старики.
А женщин мало, и в приличном виде.
Ночами слышен мерный ход реки...
Наверно, Стикс. Но до чего ж обыден.

* * *

Приходит день другому дню в затылок,
 листая свой казённый кондуит:
 дела села, щербатый звон бутылок...
 На спуске храм порушенный стоит.
 Сегодня нам, ей-богу, не до храма:
 у нас пора гражданственных страстей.
 Зачем визжит в Сосновке пилорама,
 мешая чтенью теленовостей?
 Зачем страна опять полна раздора —
 то делит деньги, то опять про Крым?
 Винит виновных или ловит вора,
 грозя при этом первым и вторым.
 Я слушаю, как прежде, но вполслуха:
 наверно, нужен этих распрей жар
 для поддержанья рошущего духа
 и ровного горения Стожар.

* * *

Значительность мысли даёт направленье строке
 и учит слова открываться навстречу друг другу.
 Я тоже хотел бы остаться в родном языке,
 но поздно, и время смещается с птицами к югу.
 Вон мается рядом до нитки обобранный сад,
 а тяга к общенью скудеет по мере сезона.
 Уже не до птиц — всё равно воротятся назад
 к высоким местам отведённого им гарнизона.
 Я нынче проснулся в каком-то счастливом часу
 с желанием жизни и тягой к мужицкой работе.
 И жалко, что втуне весь этот запал растрясу
 на хлеб мой насущный и праздные хлопоты плоти.
 Упорством души достаётся большая строка.
 Значительность мысли — итог возмужавшего духа,
 гляденья, как низко бегут над землёй облака,
 и пятые сутки на свете просторно и сухо.

* * *

Я жить хочу. Я требую повтора.
 Продленья. Возмещения затрат.
 Заткните уши, чтоб не слышать ора:
 «Я жить хочу — трикратно, впятикратно!»
 Я быть хочу и говорить об этом.
 Терять дыханье от биндюжных гроз.
 От пьяных лун над нашим сельсоветом.
 Быть, чёрт возьми! Я возраст перерос.
 Мне мало дней по Божьей разнарядке,
 Его добавок — пары лишних лет.
 ...Довольно, больше не играю в прятки —
 кончается классический балет.
 Погашен свет, ушла с цветами прима.
 Фанаты стихли, всё уже не то.
 Из раздевалки смотрит нелюдимо
 последнее бездомное пальто.

* * *

...И я мой век мучительно люблю
и с детства дорожу его харчами.
Мне только дай — я Горы заселю
саврасовскими чёрными грачами,
раскину вологодские снега,
развешу красноярские метели...
Зима ещё по-прежнему долга,
и озими пока не отпотели.
Душа как будто и взаправду спит,
но зорко видит нужные детали.
Ей странен нашей местности прикид,
которым мы гордиться перестали
из-за упрямства наших январей
и бездорожья непосильных странствий.
Из-за больших и маленьких зверей,
живущих с нами на одном пространстве.

* * *

Я слушал время и душой твердел
для дела жизни и цветенья сада,
но поздно понял цену малых дел,
касаясь рук и утешенья взгляда.
Для жизни нужен выверенный срок,
упрямство, горечь и пристрастность знанья.
Руке — уже привычный мастерок...
И праздничное чувство начинанья.
Всё остальное — после и потом:
само притрётся, сделается важным.
А ты дыши разгорячённым ртом
и занимайся промыслом бумажным:
корпей над строчкой, выправляй нажим.
Трудись над смыслом — беспричинно тёмным.
Над телом, что становится чужим.
Над временем, что стало неподъёмным.

* * *

Мне снится мама из того столетья,
на снимках остающаяся там.
И ветер хлещет понизовой плетью
по мелекесским брошенным местам.
Там что-то происходит или длится.
А нас там нет. Те окна не для нас.
В них светятся возвышенные лица.
В бесхозном доме не отключен газ.
Как хорошо в моём вчерашнем мире!
Я в нём ещё, наверно, не забыт.
На абловской покинутой квартире
всё так же длится непрожитый быт.
И месяц май, сезонно холодая,
то ровен, то дождями засбоит.
И мама, беззащитно молодая,
стоит и смотрит. Смотрит и стоит.

* * *

Эх, жизнь моя! Сплошной парад-алле.
Идёт себе и оставляет меты...
Я мог бы силой мысли на столе
передвигать доступные предметы.
Да никому не нужен этот дар —
одно фиглярство, форма выпендрёжа.
Но я хочу, пока ещё не стар,
башкой работать стоя или лёжа.
(Во интеллект! Чапаев на коне!
И конь вполне сойдёт по интеллекту.)
А ведь порою хочется и мне
внести в развитие молодёжи лепту:
уметь вести, учить и вдохновлять.
Формировать для жизни поколенья.
...И силой мысли вилки выпрямлять,
погнувшиеся от употребленья.

* * *

Настало время возвращать долги:
нам, не прося расписок, их давали.
Ты, принимавший помощь, помоги!
Ты звал — и вот теперь тебя позвали.
У мёртвых — ни долгов и ни хлопот.
Лишь у живых между собою счёты.
А там лежит страна длиною в год:
одни ухабы или повороты.
Под старость чаще думаешь о ней —
я прожил век с её замесом крови.
Меня сжигали до последних дней
её неотвратимые любви.
Она мои напасти до сих пор
отводит благодатными руками...
...Каким бы ни был наш семейный спор,
я никогда в неё не брошу камень.

Владимир Козлов

Пассажир

повесть

I

2013

Я свернул на дорожку перед переездом. За путями начинался забор, за ним торчали уродливые корпуса промзоны.

Слева тянулись трубы теплотрассы. На них сидели два гопника с бутылками пива.

Я вошел на территорию рынка. Из угла бетонного забора пахнуло мочой. На заборе болтался разодранный баннер — «Смешные цены».

Звуковая реклама перекрикивала музыку у меня в телефоне: «Магазин «Белорусский фермер» предлагает наисвежайшие мясные изделия!» Четверо парней что-то жрали у окна «Чайхоны Халяль», одновременно тыкая жирными пальцами в экраны телефонов.

Букмекерская контора «Bingo Boom». 24 часа. Free Bar. Чемоданы, сумки. Натянутые на манекены куртки. Лоток с носками и прочей мелкой фигней. Парень-продавец уткнулся в телефон.

Продавщица из магазина белья и колготок курила у входа — полная тетка в куртке с мехом на капюшоне.

Колготки 100. Лосины 150. Аренда. Товары для дома. Распродажа. Джинсовая одежда. Производство — Турция. Распродажа. Парикмахерская.

Снова лоток носков. За ним — поддельные туалетные воды. Еще дальше — сим-карты. Безлимитки. Подключение.

Продукты. Аренда. Шаурма. Конфеты. Печенье.

•

Мужик на крайнем сиденье глянул на меня, сморщил нос, взял портфель с сиденья, поставил на колени. Я сел рядом.

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция “Тимирязевская”».

Двери захлопнулись. Электричка тронулась. В вагон зашли женщина, мужчина и девочка лет десяти. Остановились у моего сиденья. Женщина начала говорить.

Об авторе | Владимир Козлов родился и вырос в белорусском городе Могилеве. Окончил Минский лингвистический университет. С 2000 года живет в Москве.

Автор более десяти книг прозы и нон-фикшн, в том числе «Гопники» (2002), «Домой» (2010), «1986» (2012) и «Война» (2013). Автор сценария и режиссер игровых фильмов «Десятка» (2013) и «Кожа» (2015) и документального фильма «Следы на снегу» (2014).

Обладатель премии «Сделано в России» проекта «Сноб» в категории «Литература» (2013).

— ...Помогите, у нас украли сумку с документами. ...стыдно, что мы к вам обращаемся. ...не к кому обратиться... В посольстве нам выдали белые паспорта ...бесплатно не отправят.

Я вытащил телефон, сделал музыку громче.

Мужик с портфелем вынул из кармана портмоне. Покопавшись в отделении для мелочи, достал несколько монеток, сунул женщине.

На «Тимирязевской» зашли еще люди. Свободных мест не осталось. Тинейджер в спортивном костюме, с айпэдом с наклейкой «Спартака» встал в углу. Рядом вклинился дед с сумкой-тележкой. Девушка на сиденье через проход играла во что-то на смартфоне. На ее лице мелькали разноцветные блики.

За окном тянулись гаражи, покрытые граффити, цеха, склады, заборы, панельные дома.

•

Я вышел из вагона. Электричка тронулась. У киоска две девушки в одинаковых высоких сапогах покупали шаурму. Продавец вещевого рынка курил у палатки с кроссовками рядом с сигаретным киоском и «пекарней-халяль». Я перешел пути.

•

На площадке между этажами, у мусоропровода, прямо на бетонном полу сидели два парня азиатского вида, в рабочей одежде и шерстяных шапках. Оба держали по бутылке пива. Несколько пустых стояли рядом. Один сказал что-то другому на своем языке. Оба захохотали.

Я вынул ключ из кармана джинсов, отпер дверь общего коридора. Из мешка у соседских дверей высыпалось на пол несколько проросших картошин.

Я захлопнул дверь. Не развязывая шнурков, стянул ботинки. Бросил на пол пакет из супермаркета. Сунул ноги в тапки, прошел в комнату. Нажал кнопку на системном блоке, включил монитор.

•

Посуды в раковине скопилось не так уж и много — можно было не мыть. Я налил в кастрюлю воды, поставил на газ. Вытащил из морозилки начатую пачкупельменей, высыпал остаток в кастрюлю. Взял из холодильника бутылку пива, скрутил пробку. Сделал глоток.

•

— ...обязательно позвони Алексееву, хорошо? — говорила Вика. — Им счета еще в тот понедельник выставили, а оплаты все еще нет. Возможно, им сократят кредитный лимит. Ты позвонишь?

Я кивнул. Вика пошла к своему столу. Я посмотрел ей вслед. Зад, обтянутый серой юбкой чуть выше колена. Ноги в черных колготках. Коричневые туфли на среднем каблуке.

На последнем новогоднем корпоративе мы стояли с ней у открытого окна в коридоре. Она курила. Во дворах окрестных домов взрывались петарды, а над крышами вспыхивали фейерверки. Она нетрезвым голосом жаловалась на мужа — он совсем не помогает ей с ребенком, приходится тянуть все на себе... Я думал о том, что сейчас можно было бы свалить с корпоратива, поймать машину, поехать ко мне, и она еще успела бы вернуться домой, не вызвав никаких подозрений. Если бы мы не работали вместе...

— Позвони обязательно, не забудь! — Вика обернулась, глянула на меня.

Я открыл Фейсбук. Сообщение от Стаса: «Вадик Круглов погиб. Разбился на машине. Вчера похоронили. Я сам только что узнал».

•
Степан, Игорь и Саня пожали нам со Стасом руки и вышли из раздевалки. Мы остались вдвоем. Я спросил:

— Он был трезвый?

— Да. Он последний год был в завязке. Там история мутная. Ментовская версия нереальная — что он просто ни с того ни с сего сошел с трассы. Один свидетель вроде бы сказал, что какой-то урод шел по встрече с мигалкой. Но этих показаний нигде нет, и свидетеля нигде нет. Короче, концы в воду.

Стас взял пачку денег, пересчитал, разложил в два конверта.

— Значит, это жене, а это отцу. Отвезешь, Колян? Тебе ж там рядом.

— Условно рядом, но отвезу.

Я кивнул, взял конверт, сунул в задний карман джинсов.

Мы вышли на улицу. На площадке для мини-футбола, огороженной сеткой, играла уже другая компания. На черной голой ветке каркала ворона. К асфальту прилипли грязные желтые листья.

— Подвезти до метро? — спросил Стас.

Я кивнул. Мы сели в его внедорожник «Субару».

Стас завел машину, дал задний ход, развернулся.

— Да уж... — сказал он. — Живешь себе, живешь, а потом раз — и...

— Сколько его детям?

— Десять и семь. Как-то так. Они, между нами, жили не очень. Друг друга ни во что не ставили. Как говорится, ради детей...

Машина выехала на Дмитровку.

— У метро, да? — спросил Стас.

Я кивнул.

— Че ты молчишь?

— А что ты хочешь, чтобы я сказал?

Он пожал плечами.

Машина остановилась перед несколькими маршрутками. Я пожал ему руку и выпрыгнул. «Субару» отъехала. Маршруточники курили, пили кофе из прозрачных пластиковых стаканов.

Я спустился в переход, прошел мимо киосков с женским бельем, слойками, батарейками. У стеклянных дверей метро ругались девушка и парень. Он схватил ее за плечо. Она вырвалась, сделала шаг к дверям, столкнулась с толпой, выходящей из дверей. Я протиснулся между толпой и стеной, толкнул дверь, хотел придержать — сзади никто не шел.

•
За дверью играла музыка. Рок семидесятых — я его никогда не любил. Понеслись шаги.

— Кто там?

— Это Коля, друг Вадима. Вы должны меня помнить...

Дверь открылась. Отец Вадима — с длинными грязными седыми волосами. В халате, распахнутом на груди. Под халатом — старая застиранная майка «Deer Purple». Последний раз я видел его лет пятнадцать назад. Он не так уж и постарел.

— Здравствуйте.

— Здравствуй. Давай на кухню. Можно не разуваться. У меня не особо здесь чисто. Как-то не до этого было...

Я прошел за ним на тесную кухню. Весь угол занимали полки с виниловыми пластинками. Тут же стоял проигрыватель «Вега» с усилителем и колонками.

— Вот, пришлось всю коллекцию сюда перенести. В комнате ремонт все никак не закончится... А у меня здесь ценный винил, многим дискам по трид-

цать и больше лет. Покупал по шестьдесят-семьдесят рублей. А зарплата у меня была сто двадцать... Коньяк будешь?

Я кивнул, вынул из кармана конверт.

— Я хотел бы выразить соболезнование... От себя и парней — мы все учились с Вадиком... Вот... — Я отдал ему конверт. Он сунул его в карман халата, посмотрел на меня.

— Спасибо, ребятки. Спасибо.

Он взял со стола бутылку, налил коньяка в два нечистых стакана, дал один мне.

— Ну, за упокой его души... Не чокаясь.

Мы выпили.

Он глянул на меня мутными глазами.

— Да, Вадик, и ты туда же... Еще одна жертва войны между светом и тьмой. Царство ему небесное. Но он прожил свою жизнь не зря. Великая русско-европейская культура жива. Под знаменем «Deep Purple» она сковырнет все оковы, и воцарится царствие музыки и любви. Как в Вудстоке в шестьдесят девятом году. Мне было тогда девятнадцать лет, и я ничего не знал про Вудсток... Ты можешь себе представить? Я жил себе в Москве и ничего не знал про Вудсток...

•

Я обошел дом, повернул к улице. Выставил руку. Пронеслись несколько внедорожников и маршрутка. Остановилась грязная зеленая «девятка».

— Череповецкая, у платформы Лианозово.

— Триста, — сказал мужик «славянской внешности». — Ну или хотя бы двести пятьдесят.

— Здесь десять минут ехать. Двести.

Водитель кивнул. Я сел, пристегнулся. «Девятка» тронулась.

— Осень уж надоела, — сказал водитель. — Я вообще ненавижу осень. А зиму, наоборот, люблю. Я вообще в Сибири родился, в Новосибирске. В сорок градусов мороза. Может, поэтому мне мороз — хоть бы что. Выпил водки, вышел на улицу — и сразу протрезвел. Вот это я понимаю...

Машина остановилась на светофоре.

— Знаешь, кто лучше всех живет во всем бывшем Союзе?

Я не ответил. «Девятка» тронулась, свернула с «Алтушки» на Череповецкую.

— Я сам недавно узнал, — продолжал водитель. — Туркмены. У них бензин — бесплатно, общественный транспорт — бесплатно. Гостиница для своих — десять долларов в сутки...

•

Я открыл Фейсбук, зашел на страницу «Лепры». Никаких обновлений. Закрыл. Зашел в сообщения.

Отправитель Lilly Anna. «Привет моя дорогая приятно познакомиться здесь сегодня надеюсь, что все хорошо с вами, меня зовут мисс Юнис я видел вашего профиля сегодня здесь, я больше всего говорят, я заинтересован, чтобы узнать, дорогая пожалуйста, я хотел вас связаться со мной, так что я могу сказать вам больше о себе, у меня есть важная вещь, чтобы рассказать о себе, может быть, мы можем узнать друг друга очень хорошо, имеют хороший день...»

Я отъехал от стола с компьютерным креслом, встал, подошел к окну. В нескольких окнах заводского здания через дорогу горел свет. Правее, ближе к станции, светилась желтым цветом заправка. По улице проехал автобус.

Я вернулся к столу, посмотрел на экран, отвернулся к телевизору. Шел футбол без звука. Играли японские команды.

•
Наташа вставила капсулу в кофе-машину, нажала на кнопку. Кофе-машинка затарахтела. Наташа села к столу. Вытряхнула сигарету из пепельницы, шелкнула зажигалкой, затынулась. Взяла со стола кисточку, припудрила лоб и щеки.

Я сидел на табуретке в углу, прислонившись к стене. Смотрел перед собой — на плиту с пустыми кастрюлями и сковородами.

Кофе-машинка пискнула. Наташа встала, взяла чашку, сделала глоток.

Я посмотрел в окно. Уже почти рассвело. Моросил дождь. В пробке стояли машины.

— У нас изменения на работе, — сказала Наташа. — Меняется структура компании. Мы забираем себе всех дилеров. — Наташа отодвинула косметику, сделала долгий глоток кофе. — И курить их всех буду я. То есть наконец-то после стольких лет в компании за все свои заслуги я что-то получаю. Хотя какую-то власть.

— Поздравляю.

— Пока рано поздравлять. Там много над чем нужно будет поработать.

Наташа раздавила сигарету в пепельнице.

— ... Так, надо идти Сашку будить, чтобы в школу не опоздал. Тебя подвезти?

— Да. Ты ведь мимо Окружной поедешь?

•
«Хонда» Наташи стояла в пробке. Впереди светились красные задние фары машин.

— Сережа приезжает завтра. Будет дома около двух недель, — сказала Наташа. — Я сама тебе позвоню, когда он уедет.

Я кивнул.

Тротуар с правой стороны был раскопан. У ямы суетились парни в оранжевых жилетах.

•
На платформе трое мужиков передавали друг другу «полторашку» пива.

— Тебе, падла, хорошо, — ночь на поезде — и дома. А мне, сука, полторы сутки трястись...

— Че ты тогда — лети на самолете...

— У тебя не спросил...

Рядом мужик разгадывал сканворд. Во рту дымилась сигарета, в ушах торчали наушники. Второй рукой он держал ручку и банку, завернутую в черный пакет — пиво или «слабоалкогольный коктейль». Он поднес банку ко рту, сделал глоток, чуть не ткнув себя ручкой в глаз.

Из-за поворота показался красный аэроэкспресс. Сигналя, пролетел мимо платформы.

•
Вика курила на крыльце.

— Привет, — сказала она. — Что так поздно?

— Задержался...

— А-а-а... — Она затынулась, выпустила дым. — В принципе, ничего страшного. Полякова все равно еще нет. Вроде как на встречах, но, скорей всего, ездит по своим личным делам. Ты знаешь, что он квартиру новую покупает? Вроде на Соколе...

Вика бросила сигарету в урну. Открыла дверь, вошла в здание. Я — за ней.

— Какие планы на выходные? — спросила Вика, обернувшись.

- Никаких особых. К родителям, может, съезжу...
- Да, это дело нужное.
- А у тебя?
- В смысле — у меня?
- Планы на выходные...
- А-а-а... Никаких особых планов. Домашние дела.

•

В коридоре послышались крики и женский визг. Я оторвался от монитора, глянул на дверь. В коридоре снова кто-то завизжал, потом мужской голос крикнул:

— Где он? Где он?

Ресепшионистка Инна встала из-за стола, подошла к двери, открыла, выглянула. Тут же повернулась лицом к офису, закатила глаза и наморщила лоб. Вышла в коридор, не закрывая дверь.

Все ломанулись за ней. Я вышел из офиса одним из последних.

В коридоре было не протолкнуться — наверное, собрался весь этаж.

Два охранника вели под руки парня в расстегнутом черном пальто, белой рубашке и сером костюме. Его нос, губы и подбородок были измазаны кровью, волосы растрепаны. Я его видел раньше несколько раз — он работал в одной из контор на нашем этаже.

Девушка с длинными темными волосами громко шептала на ухо Инне:

— ...все подумали, что настоящий. И он еще говорит: «А сейчас я вас всех расстреляю». Ну, после того случая все, конечно, перепугались. Полезли прятаться под столы. Я из-за него новые колготки порвала... А Люба Попова вообще обоссалась со страху...

— А как поняли, что не настоящий? — спросила Инна.

— Как поняли? Увидели, что не стреляет. Он на кнопку жмет — и ничего. Тогда уже все осмелели, и кто-то охрану вызвал...

•

Я прошел через турникет.

— Здравствуйте, а можно ваш билетик?

Низкорослый мужик в синем жилете с буквами «Московский метрополитен» загородил мне дорогу.

— А что такое? Если что-то не в порядке, турникет меня не пропустил бы...

— Я все понимаю, но такие правила. Пойдемте.

Мы подошли к кабинке диспетчера, он поднес мой проездной к какой-то фигне, поглядел на дисплей.

— Все в порядке. Счастливого пути.

Я ступил на эскалатор. Впереди, на несколько ступенек ниже, стояла девушка. Колготки телесного цвета, в сеточку. Облегающая темно-зеленая юбка. Хвост из длинных темных волос. Коричневые сапоги, коричневая сумка. Черная короткая кожаная куртка. Айпэд, наушники.

Девушка остановилась у колонны. Я — в нескольких шагах. Она повернулась в мою сторону, глядя на подъезжающий поезд, и я смог рассмотреть ее лицо. Почти красивая.

В вагоне место напротив нее оказалось свободным. Я сел, вынул из рюкзака «читалку», включил, стал читать биографию Стива Джобса. Время от времени поднимал глаза — девушка что-то смотрела или слушала на своем айпэде.

Она тоже вышла на «Домодедовской». Я шел за ней. За стеклянными дверями она повернула направо. Мне нужно было налево. Я на секунду остановился, глядя ей вслед.

•

Дверь открыл Игорь. Мы пожали руки.
Я спросил:
— Где родители?
— Скоро придут. В супермаркет пошли — тебя ж покормить надо, холостяка.
Думали, что ты позже заедешь...
Я снял куртку, ботинки. Прошел в комнату Игоря, сел на диван. Он развернул компьютерное кресло ко мне, тоже сел.
— Как дела? — спросил я.
— Как всегда. Нормально. Твои?
— Так себе. Однотруппник бывший погиб. Вадик. На машине разбился...
— Как Дашка?
— В порядке. Ездил на соревнования в Германию. Заняла третье место. Немного расстроилась — думала, будет первое...
— Как часто вы скайпитеесь?
— Раз в две недели обычно. Ты пока насчет квартиры ничего не надумал? В тридцать три года жить с родителями как-то странно, не находишь?
— Меня это устраивает.
— Что значит — устраивает? У тебя в твоей айтишной конторе нормальная зарплата. Мог бы снять приличную хату. Или вообще ипотеку взять. Понимаю еще, если б жили где-нибудь в центре...
— Давай не будем заводить эти разговоры. А то я тебе тоже много чего мог бы сказать.
— Например?
— Например — что ты живешь как овощ. Дом — работа, дом — работа. Тебе насрать, что происходит вокруг, что происходит в стране?
— А тебе что — не насрать?
— Мне — не насрать. И ты это знаешь.
— Ах да, я забыл. Ты у нас крутой оппозиционер. Только почему-то вся твоя оппозиция — в интернете. В реале что-то ты на митинги не ходишь...
В прихожей щелкнул замок, открылась входная дверь.

•

— Самое главное — это контекст. — Паша снял свои круглые очки, вытащил из джинсов край футболки, протер им очки, надел. — Музон, который мы играли в девяностые, не был плохим. Это был вполне качественный музон. Инди. Альтернатива. Называйте, как хотите. Но в том контексте к нему не было интереса. Вернее, он был, но недостаточный. Поэтому мы обломились. Да, мы услышали Rage against the Machine, когда в них никто еще не врубался, и стали играть то же самое. Но тогда это никому не было нужно. Ну, за контекст. Точнее, за то, чтобы всегда попадать в правильный контекст...
Он взял со стола бутылку виски, налил в две рюмки. Мы чокнулись, выпили.
— А еще нам не хватало сексуального компонента. В лице красивых девок. Нужно было, чтобы в группе была хоть одна девка. И чтобы непременно красивая. В искусстве, в творчестве все держится на красивых девках. Возьми Толокно из Pussy Riot. Она, можно сказать, секс-символ современного российского искусства. И не потому, что она сидит. А потому, что она красивая баба. И все мужики России хотят ее *. Даже те, кто ее посадил, даже тем, кому, скажем так, по долгу службы полагается ее ненавидеть. Даже попы. И, я тебя уверяю, Колян, если бы она не была просто красивой бабой и если бы она не была известна по групповой * в музее, всем было бы, по большому счету, насрать на Pussy Riot. Ты это понимаешь?

Я кивнул.

— Эти, мои ребята, у них, во-первых, есть Тина — красивая девка. Даже если бы ее не было, я бы сказал им, чтобы обязательно взяли в группу девку.

— Ну и что у тебя с ними?

— Все в порядке. То есть, скажем так, все движется в правильном направлении. Из них прекрасно получится нишевый артист. Сейчас вообще время нишевых артистов, прошло время, когда все — ну, не все, но подавляющее большинство — слушали, например, Майкла Джексона или Мадонну. Сколько человек сейчас слушает Мадонну? Она такой же нишевый артист, как все остальные, занимает свою нишу... «Сказал он и немедленно выпил».

Паша налил в рюмки виски. Мы снова чокнулись, выпили.

— Знаешь, Rage against the Machine — это был не худший выбор. Они были правильные парни. Оседлали, что называется, волну. И лейбл «Сони Рекордз», который их выпустил, тоже был прав. Потому что осознал: протест тоже можно продавать. И в начале девяностых протест продавали уже не каким-то там левакам и маргиналам, а обычным пацанам и девчонкам из благополучных семей. Которым, по большому счету, на протест наплевать. Но в шестнадцать или, там, семнадцать лет все они готовы показать жопу истеблишменту.

— Ну да, протест давно превратился в коммерческий продукт.

— ...Но не надо забывать, что это было в другую эпоху. В эпоху MTV. Это был последний как бы «век невинности» телевидения. После этого оно свелось всего лишь к двум функциям — пропагандистской и рекламной.

— А как же развлекательная?

— В последнюю очередь. Или предпоследнюю. Бесплатного развлечения не бывает. В кино, например, ты как бы заплатил за билет и получил какое-то развлечение. Плохое, хорошее — неважно. А здесь тебе промывают мозги или продают товар, но делают это под видом развлечения.

Паша сунул пальцы под очки, потер глаза, поскреб щетину на щеке.

За соседним столиком девушка сказала парню:

— У меня начался сезон мохито.

— И когда он закончится?

— Не знаю.

— А в какой стране вообще придумали мохито?

— Не знаю. Наверно, в Америке. Все вообще придумали в Америке.

— А выпускают в Китае.

— Кроме мохито.

— Да, кроме мохито.

•

Вагон электрички был полупустой. Я ехал домой раньше, чем обычно. Договорился о встрече с Михеевым, а он отменил ее в самый последний момент, когда я уже подошел к «Савеловской».

Рядом со мной не было никого. Напротив сидела девушка. Она подняла глаза от смартфона и что-то сказала. Я вытащил наушники.

— ...смотрите, как будто хотите познакомиться.

— А вы разве знакомитесь в электричке?

Она пожала плечами.

— А почему — нет? Я не вижу проблемы. В электричке или где-то еще. Я или хочу познакомиться, или не хочу. И я просто могу сказать: нет, я не хочу разговаривать с вами.

— И что обычно происходит потом?

— Когда — потом?

— Когда вы это говорите.

— Чаще всего человек понимает. Но есть и такие, которые понимают не сразу. На таких у меня нет ни терпения, ни времени. Я их просто игнорирую тогда.

— Помогает?

— В девяноста девяти процентах случаев.

— Странно... Я, когда спросил, знакомитесь ли вы в электричке, имел в виду, что знакомства уже перешли в область виртуального пространства. То есть, если я просто вот так вот с вами заговорю — я ведь о вас ничего не знаю. А если бы я, например, знакомился с вами в Интернете, я посмотрел бы ваш профиль на Фейсбуке, я бы уже что-нибудь о вас знал...

— Не думаю, что вы много узнали бы обо мне на Фейсбуке... — она улыбнулась. — Я туда редко пишу.

— А меня вообще удивляет, что люди готовы вот так вот раскрывать свою жизнь, делиться с кем попало...

— Кому-то нравится. Мне нет. С кем надо я и так могу поделиться. Всем, чем хочу.

«Следующая станция — платформа Лианозово».

— Вы случайно не выходите? — спросил я.

— Выхожу.

•

Электричка уехала. Мы перешли пути. Продавец кроссовок поглядел на нас, отпил кофе, затянулся сигаретой.

— Мне нужен дом сорок шесть по Дубининской улице, — сказала она. — Вы знаете, где это?

— Знаю. Это рядом с моим. Я могу проводить.

— Да, хорошо, спасибо.

— Одна остановка на автобусе или пешком. Как вы хотите?

— Пешком.

Мы шли вдоль унылого ангара «XL». Впереди светилась заправка.

— Вы не слишком разговорчивый, — сказала она.

— Да?

— Или вы просто не знаете, что сказать, и боитесь сказать ерунду. Которая меня обломает.

— Я за свою жизнь уже столько наговорил ерунды... Мне должно быть все равно.

Она внимательно глянула на меня. Зашумела, приближаясь, электричка.

•

Мы стояли у подъезда. Я посмотрел на нее. Отвернулся, глянул на окна первого этажа. В одном сидела старуха в платке, внимательно нас разглядывала.

— Вы думаете о том, как спросить, увидимся ли мы еще, — сказала она. — Возможно, вы давно этого никому не говорили. И я сделаю на это поправку. Поэтому, если вы это скажете, я отвечу: почему бы и нет?

Она улыбнулась.

•

— ...не был в клубах много лет.

— Да это и не совсем клуб. Скорей — диджей-кафе. Когда-то, еще в девяностые, что ли, годы, он был известен как клуб...

— Я в нем не был ни разу. Я никогда не любил диджеев, их музыку. Только живую. Это ваше поколение уже завязано на всякие диджейские дела...

— Что значит — наше поколение? Что это за произвольные обобщения? — Катя улыбнулась. — Я вообще разную музыку слушаю. От дэнс-электроники до инди-рока...

— Инди-рок — это круто. Я сам когда-то его играл. В девяностые. У нас была группа...

— А я пела в группе. Только это не совсем был рок, скорей, такой синти-поп. Но гитара там тоже была. Но это еще до Москвы было.

— Неужели в Новокузнецке кто-то играет синти-поп?

— Ну а что, если провинция, то, значит, только шансон? Особенно сейчас, когда в Интернете можно найти любую музыку...

— Извини.

— Да ладно. Это твой московский шовинизм. Ты еще не самый худший случай. — Она улыбнулась. — Видишь, у нас есть что-то общее в биографиях. Может, не только это. Но ты как-то неохотно говоришь о себе.

— А мне нечего особенно рассказывать. Все неинтересно и банально. Работаю в оптово-торговой компании, аккаунт-менеджер...

— Это что?

— Это человек, который ведет счета клиентов... Ну, как бы, занимается всем, что с ними связано. Что еще про меня? Разведен. Жена с дочкой живут за границей. Вот, наверно, и все...

•

Чувак был пьяный. Но не настолько, чтобы не быть опасным. Он был выше меня, крупнее и, главное, лет на двадцать моложе. Он смотрел на меня, осклабившись. Ждал, что я скажу. Он был готов подраться и, наверно, даже хотел подраться. Но он не верил, что я на него полезу.

— Я еще раз тебе повторю: извинись перед девушкой, — сказал я. — Это не между мной и тобой. Ты оскорбил девушку...

Чувак смотрел на меня, улыбаясь. Блестела слюна на зубах. Я решил, что, если он прыгнет, нужно будет постараться его вырубить сразу. Иначе... Я смотрел на него, не мигая. Чувак качнул головой.

— Ладно. Я извиняюсь.

Катя кивнула. Он сунул мне руку. Я пожал ее. Он сжал сильнее, не отпускал. Глянул на Катю, потом на меня. Отпустил руку и отошел.

•

Мы вошли в квартиру. Я захлопнул дверь. Катя прислонилась к стене. Нетрезво улыбалась. Задрала свою короткую джинсовую юбку. Надорвала длинным ногтем черные колготки. Сказала:

— Теперь ты.

Я просунул в дыру пальцы, разорвал колготки, сорвал с нее трусы. Она взяла мою руку, притянула к хвосту волос. Я сжал его. Другой рукой расстегнул пуговицу и молнию на джинсах.

— Прямо здесь, прямо на полу, — шепнула она.

Я, не отпуская волосы, повалил ее на пол.

•

Рассвело. Мы сидели на кухне. Катя курила. На ней была моя старая, полинявшая кофта с капюшоном. Она надела капюшон, и он почти полностью закрыл ей лицо. Шипел электрочайник.

— Ты ведь хотел какой-то грубости, жесткости в сексе? — спросила Катя. — Ты хотел, чтобы выглядело так, что ты меня принуждаешь? Не насилие, но принуждение?

— Не знаю. Я об этом не думал.

— А ты подумай. В сексе всегда есть элемент насилия, принуждения. И я ничего не имею против. Мне это нравится. Я принимаю эту игру. Но не мазохизм. Если тебе хочется ударить — это не ко мне.

Я встал, подошел к окну. Посмотрел на улицу, на завод на другой стороне, на машины, автобусы и желтые деревья.

— Тебе не надо на работу? — спросила Катя.

— Надо. Но я опоздаю.

Она кивнула.

Чайник щелкнул. Я взял его, налил в две чашки с растворимым кофе. Спросил:

— Ты точно без сахара?

— Да.

Я размешал ее кофе, сунул ложку в сахарницу. В сахарнице осталось коричневое пятно.

Катя потушила сигарету в пепельнице, посмотрела на меня.

— Знаешь, что мне в тебе нравится? — Она улыбнулась. — Что в тебе нет вообще никакой романтики. Я ее терпеть не могу. Потому что у молодых ребят романтика какая-то наивная, а у тех, кто старше... Ну, твоего возраста, например... Какая-то фальшивая, пошлая...

Она дотянулась до чашки кофе. Взяла, пригубила, обожглась. Поставила чашку на стол.

Отодвинула табуретку, встала и подошла ко мне.

Мы молча глядели в окно.

Я взял кофе, размешал, сделал глоток. Спросил:

— А тебе самой не надо на работу?

— Нет, я уволилась.

— А где ты работала?

— В бутике, продавцом. А до этого — в книжном магазине...

— А что сейчас?

— Не знаю. Квартира оплачена, деньги пока тоже есть. Карьера меня не интересует. А деньги всегда можно заработать. Пусть не много, но достаточно. Сидеть ради этого в офисе по многу часов...

— Ты это сейчас так говоришь. А через несколько лет...

— А мне плевать, что будет через несколько лет. Я хочу жить вот этим моментом. Я знать не хочу, что будет потом. Мне это неинтересно... Мне интересно то, что сейчас...

•

Я включил системный блок, несколько минут сидел, слушая его шум и глядя в черный экран. Не отрываясь, нащупал на мониторе кнопку, нажал. Картинка показалась слишком яркой. В голове кольнуло. Я зажмурился. Перед глазами мелькали цветные пятна в форме эмблемы «Windows». Два часа сна. Впервые за долгое время. Наверно, за много лет.

Я отъехал от компьютера с креслом. Встал, дошел до офисной кухни. Моя чашка была там, где оставил ее вчера: на дне раковины. Сверху навалили еще кучу грязной посуды. Я оглядел полку с чистыми чашками, выбрал самую незаметную — бежевую, без картинок и логотипов. Поставил ее в кофе-машину, нажал на кнопку. Глянул в окно.

Светило солнце. Ветки с остатками желтых листьев раскачивались на ветру. В голове кольнуло, я зажмурился.

•
Я сидел, уставившись в экран.левой рукой подпираю голову, правой прокручивал дальше блог «МИЛОСЕРДИЕ» и время от времени брал чашку с кофе, чтобы сделать глоток.

— ...Кулешова говорила, что в этом году бонусы срежут. А ей сказала Шагина, — ну, которая личный помощник Кускова. Но под большим секретом. А ты не помнишь, в том году в каком месяце объявили про бонусы?

— В ноябре. Только вроде не в самом начале. Или я что-то путаю...

— ...с Кузнецовым ты разговаривал? Ты что — спишь?

Я вздрогнул, открыл глаза, обернулся. Вика улыбнулась, покачала головой.

— Что с тобой?

— Так... Не выспался...

— Ясно. Когда поговоришь с Кузнецовым? Надо четко понимать ситуацию, потому что надо устанавливать кредитный лимит.

— Хорошо, поговорю. Конечно...

Я щелкнул на иконку Аутлука. Двадцать новых сообщений. Офисно-бытовая хрень. Продается «Опель Корса» — в отличном состоянии. Ищу няню. Ищу однушку. Куплю триста евро по Центробанку. Продам тысячу долларов по Центробанку. Что происходит на кухне? Почему уволили украинскую уборщицу, и теперь во всем здании не осталось, очевидно, ни одной уборщицы, не представляющей солнечную Среднюю Азию. Не надо, пожалуйста, воровать еду из холодильника! Просьба к новой сотруднице не курить в туалете в правом крыле второго этажа — пока еще погода позволяет выходить на улицу.

•
За стойкой чебуречной стояла тетка в белом колпаке, совершенно совкового вида. Чебуречная тоже выглядела по-совковому, хотя было видно, что ремонт относительно свежий. Детали оформления — картинки старой Москвы на стенах и магнитола восьмидесятых годов над стойкой. Табличка: «Приносить и распивать свои спиртные напитки строго запрещено».

Катя, я, ее приятель Иван и его подруга пили водку. Подруга была в широкополой шляпе и с ярко накрашенными губами.

— Это одно из немногих мест в Москве, где сохранилась атмосфера душевности, — сказал Иван. — Душевности во вневременном смысле. Не ощущение какого-то там совка, а ощущение человечности, которое — как многим людям кажется — тогда существовало, а сейчас практически утрачено... То есть в такой вот чебуречной или рюмочной оно есть, а в крупном мажорном торговом центре его нет и в принципе быть не может. Хотя он, несомненно, символизирует благополучие нового времени...

•
Мы шли по пустому переулку. Я сделал глоток вина из бутылки, купленной при выходе из чебуречной. Передал бутылку Кате. Она тоже глотнула, глянула на меня.

— Вот ты... это... говоришь, что тебе не нравится твоя жизнь. Ты ненавидишь свой офис... свою работу... Но ведь тебя же никто не заставляет. Ты можешь все это бросить в любой момент. Ты же не умрешь с голоду, ты найдешь что-то еще...

— Ты так говоришь, потому что тебе двадцать лет...

— Мне двадцать три...

— Это практически одно и то же...

— Может быть. Но я все равно не могу понять... У дочки твоей все в порядке... за нее тебе волноваться не нужно. Сам ты живешь очень скромно. Зачем тебе вся эта капиталистическая херня? Зачем ты сам в нее впрягаешься?

— А что мне делать, по-твоему?

— Не знаю. Я не могу за тебя решить... Ты сам лучше знаешь себя, ты сам лучше знаешь, что тебе нужно, чего ты хочешь... Я понимаю одно — если тебя что-то не устраивает, надо что-то делать, а не плыть по течению...

— А тебя что, все устраивает?

— Нет. Но я двигаюсь, не сижу на жопе, разве нет? И не надо больше этих псевдостариковских разговоров про то, что «хорошо тебе в двадцать лет»...

•

В квартире горел свет. На кухне за «макбуком» сидела девушка с короткой стрижкой. Она повернулась к нам, кивнула. В углу рта дымилась сигарета.

Мы разулись и прошли на кухню. Я все еще держал в руке бутылку. Вина в ней было на несколько глотков.

— Знакомьтесь, — сказала Катя. — Это Алина. А это Николай.

Алина протянула мне руку. Я пожал ее.

— Я люблю работать по ночам, — сказала она. — Я куратор. Занимаюсь современным искусством.

Я кивнул, протянул ей бутылку. Она резко тряхнула головой. Я передал бутылку Кате. Она допила остаток вина, поставила бутылку в угол. Там уже стояло много бутылок из-под разнообразного алкоголя.

•

Продавец «универсальных губок» вышел из вагона. Зашли контролеры. Несколько человек вскочили с мест, побежали в следующий вагон.

Музыка отключилась. Входящий звонок. Катя.

— Привет, — сказал я.

— Привет. Слушай, я сегодня не смогу...

Пауза.

— А что такое?

— Я уеду на несколько дней...

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего, все нормально... Просто мне надо уехать. По делу. На этот номер не звони — он будет отключен.

— А на каком номере ты будешь?

— Не знаю, может, ни на каком... Я сама позвоню, когда вернусь.

— А куда ты едешь? В Новокузнецк?

— Извини, я не могу сейчас говорить. Пока.

— Пока...

Я посмотрел в окно на серые заборы с граффити, деревья с остатками листьев. В вагон зашел мужик с сумкой. Сказал:

— Уважаемые пассажиры! Всем счастливой дороги! Вашему вниманию предлагается очень полезный предмет — карманная увеличительная лупа с подсветкой. По цене всего сто рублей...

II

Я набрал Катин номер, наверно, уже в сотый раз. «Телефон абонента выключен или находится вне...» Я положил мобильник на стол. Прошло восемь дней. Катя не выходила на связь. Вчера вечером я ездил в квартиру, где она

снимала комнату. Открыла девушка с короткой стрижкой, «куратор». На ней была пижама, во рту — сигарета.

— Я не знаю, где Катя. Она уехала неделю назад.

— И вы не волнуетесь?

— Это не в первый раз. Мы все не москвичи, кто-то уезжает домой, кто-то по делам.

— Но вещи ее на месте? Она не съехала?

— На месте.

— А можно мне посмотреть ее комнату?

— Нет.

— Нет?

— А с какой стати посторонний человек будет копаться в ее вещах?

— Я не сказал, что буду копаться. Я просто хотел посмотреть на комнату. И я не посторонний. Я был в ее комнате...

— Я вам сказала: нет.

Она захлопнула дверь. Я пробормотал: «сучка», нажал на кнопку лифта.

•

Ее страница в Фейсбуке. Несколько перепостов — и больше ничего. Последний — от 18 октября. Еще до нашего знакомства.

43 Friends. Разнообразная география. Новокузнецк. Тюмень. Москва. Таллинн. Санкт-Петербург. Даже Нью-Йорк. Можно было бы написать им всем — вдруг они что-то знают. Но это было бы как-то тупо.

Anna Malysheva. 1995 года рождения. Вполне может быть, что сестра. Или двоюродная. Страница обновлялась активно, последняя запись вчера. Но тоже в основном перепосты или посты других на ее странице — всякие глупости.

Последний — три дня назад. Черно-белый демотиватор «Найти друзей с тем же психическим расстройством, что у тебя БЕСЦЕННО».

Я написал ей сообщение:

Здравствуйте! Меня зовут Николай. Я знакомый вашей сестры. Мы познакомились в Москве. Она внезапно пропала и не выходит на связь. Не знаете ли вы, как с ней можно связаться?

•

— Ты вроде не планировал идти в отпуск... — Вика оперлась руками о стол, в разрезе блузки мелькнул белый лифчик.

— Почувствовал, что нужен отдых. Устал...

— А-а-а... Ну да. Ты странно себя стал вести. Все заметили.

— Возможно.

— Это, конечно, дело твое, но Поляков недоволен. Он еще с тобой не говорил?

— Нет.

— Видишь, высказывается пока в разговорах с другими. Посылает как бы сигнал... — Она улыbnулась.

— И что я теперь должен делать?

— Не знаю. Показать ему, что справляешься, что все клиенты в порядке...

— Покажу. После отпуска.

— И куда поедешь?

— На дачу.

— Сейчас? Что там делать? Подожди, у тебя ж вроде нету дачи?

— Своей нет. Друзья пригласили.

— А-а-а...

Вика пожала плечами, отошла. Я открыл Фейсбук. Сообщение от Игоря.

«Московский номер зарегистрирован на Малышеву Екатерину Сергеевну, регистрация — город Новокузнецк, ул.Транспортная, 67Б. На нее же зарегистрирован номер в Кемеровской области. 8(913)170 21 41. Если помог, то с тебя бутылка чего-нибудь. Ладно, шучу».

Я набрал новокузнецкий номер, встал из-за стола, вышел в коридор, нажал на соединение. Поднес телефон к уху. «Телефон абонента выключен или...» Я еле сдержался, чтобы не разбить телефон о пол. Мимо шла новая девушка из отдела продаж, глянула на меня.

•

Аэроэкспресс катился по окраине Москвы. «Торгово-офисный центр». Сразу за ним — ангар с ржавой полукруглой крышей. Облезлые стены гаражей. Граффити «No future». «Россия для русских». «Не покупай у чурок». Микрорайон хрущевок. На балконе старуха трясла половик.

•

Мужик передо мной снял черные ботинки — потертые, нечищенные. Поставил их прямо на ленту, а не в «корыто». Бахилы надевать не стал — остался в синих облезлых носках.

Я не разувался. Бросил в контейнер куртку, кошелек и телефон. Поставил контейнер на ленту вместе с рюкзаком.

Зашел в прозрачный «стакан», поднял руки. Створки задвинулись, снова раздвинулись. Я забрал с ленты вещи.

•

Чувак на соседнем месте — толстомордый, коротко стриженный — говорил в айфон:

— Не, ну я ж сказал конкретно... Почему не сделали? Да, я сейчас в Москве, прилечу — реально всем наваляю...

Подошла стюардесса.

— Отключите, пожалуйста, телефон...

Толстомордый глянул на нее, кивнул, сказал в телефон:

— Все, короче, тут уже, типа, разговаривать нельзя... Чтoб к моему приезду разобрались, а то...

•

Я отпер дверь, зашел в номер, нажал на кнопку выключателя. Зажглась лампа в пыльном советском абажуре. Вся мебель в номере тоже была советской. Кровать, письменный стол, тумбочка, холодильник в углу. На холодильнике — телевизор «Самсунг», единственная относительно новая вещь во всем номере, хоть и ему уже, может, лет десять. Облезло-коричневые обои. Занавеска и линолеум в тех же тонах.

Я бросил сумку и рюкзак на кровать, подошел к окну. Внизу была автостоянка, за ней — огороженный пустырь. На другой стороне улицы тянулся длинный многоподъездный дом.

Я достал из сумки айпэд. Девушка на ресепшн сказала, что wi-fi работает на этажах только у лестницы. «Зато бесплатно». «А чтобы платно, но в номере?» — спросил я. «Такая услуга, к сожалению, не предусмотрена». Я взял айпэд, вышел из номера.

Напротив лестницы стоял диван, вокруг — кадки с пальмами. На диване сидел чувак в шортах и майке, с ноутбуком. Он поднял на меня глаза, подвинулся к краю.

Я сел рядом. Включил планшет, разблокировал. Зашел на Фейсбук. Идиотские приглашения в приложения. Заявка в друзья. «Саня Савельев». Я такого не знал.

•

Между домом и улицей тянулся ряд гаражей. Левее — одноэтажная халупа, обитая вагонкой: «Подбор автоэмалей». Рядом — билборд с рекламой внедорожника «от 1 350 000 руб.». Я пошел к дому — старой серой пятиэтажке.

Домофон не работал. Я открыл железную дверь, вошел в подъезд. Дверцы половины почтовых ящиков были выломаны или открыты. Под ящиками валялись две пустые бутылки от водки, двухлитровая бутылка от пива и разорванная упаковка чипсов.

Я поднялся на четвертый этаж. Дверь квартиры номер 34 была черная, металлическая — как и соседняя. Третья дверь на площадке — старая, обитая коричневым дерматином. Дерматин был разрезан в нескольких местах. Я позвонил в тридцать четвертую. За дверью послышались шаги.

— Кто там? — спросил мужской хриплый, нетрезвый голос.

— Извините, вы отец Кати Малышевой?

— Да, ну а что такое?

— Откройте. Мне надо с вами поговорить.

Дверь открылась. На пороге стоял мужик за пятьдесят, в «левом» спортивном костюме Nike, красномордый, с лысиной и седыми волосами по бокам головы. Молния кофты была расстегнута, под ней — майка-«алкоголичка» и седые волосы на груди.

— С ней что-нибудь случилось?

— Нет... Она просто уехала из Москвы, и я ее ищу.

— А ты кто?

— Я ее друг.

— Что значит — друг?

Я не ответил.

— Она к вам не приезжала?

Мужик усмехнулся.

— Я ее больше года не видел. Больше года! И это — благодарность... Вырастили, воспитали. Ее и Аньку... Думаешь, это было легко? Заводы стояли... Я был инженер, а пошел рабочим... А потом вообще грузчиком в магазин. Там хоть что-то платили. Чтобы их поднять на ноги!.. Я вообще не пойму, что с ней стало... Училась в этой... педакадемии, три курса. Потом все бросила... В Москву... И Анька... Год проучилась, связалась с какими-то охломонами... Выгнали... Продавцом работает...

— А вы мне можете дать телефон Ани? Вдруг она что-то знает про Катю?

— Ничего я тебе не дам... Я вообще не знаю, кто ты такой. Все, уходи.

Он захлопнул дверь. Щелкнул замок. За дерматиновой дверью громко работал телевизор. Шел российский «мыльный» сериал.

•

Я вышел из подъезда, прошел мимо «Автоэмалей». Махнул рукой подъезжавшей маршрутке-газели. Она остановилась. Я открыл переднюю дверь, спросил:

— До центра доеду?

Водитель молча кивнул. Я сел. Маршрутка тронулась. За окном потянулись гаражи и желтые деревья.

•
Я вышел у автовокзала, пошел по проспекту, застроенному сталинскими домами. Посреди проспекта шли трамвайные пути.

Справа начался парк. Я зашел в него, сел на лавку. Откинул голову назад, посмотрел на белое небо.

•
Я валялся на кровати. Без звука шел Первый канал. Всего телевизор показывал пять каналов. Я встал, взял айпэд, вышел из номера.

В коридоре открывал дверь усатый мужик в костюме и шлепанцах. Он глянул на меня и отвернулся.

На диване никого не было. Я сел, открыл Фейсбук. Новое сообщение — от Anna Malysheva.

«Звоните. 8 913 527 11 75».

Я набрал номер. Один гудок, второй, третий.

— Алло?

— Здравствуйте. Это Николай. Мы переписывались на Фейсбуке. Я сейчас как раз в Новокузнецке.

— Да?

— Да... Раз я здесь, то мы можем пообщаться лично?

— Не знаю... Может быть.

— Я сегодня разговаривал с вашим отцом...

— И?

— Ничего.

— Хорошо, если он вообще был в состоянии разговаривать... Ладно. Да, мы можем встретиться.

— Прямо сегодня?

— Не знаю. Хотя, в принципе, да. В восемь вечера. Кафе «Мечта». Проспект Бардина, двадцать четыре. Знаете, где это?

— Найду.

— Хорошо. До свидания.

— До свидания.

•
Она была мало похожа на Катю. Ненатуральная блондинка. Черный свитер и черные джинсы.

— ...не думала, что Катюха — такая вот роковая женщина. Чтобы из-за нее московский мужик приехал к нам в Новокуз... — Она улыбнулась.

— Когда вы в последний раз разговаривали?

— Неделю назад.

— По телефону?

Она кивнула.

— Ты можешь дать ее номер?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я не знаю, кто вы и что вам от нее нужно. А во-вторых, она звонила не со своего. Сказала, что телефон потеряла, или украли... Не помню...

— Ты врешь. Ты просто не хочешь дать номер.

— Не хочу. Но у меня его правда нет.

— И что она сказала? У нее все в порядке?

— Не знаю. Она про себя не говорила. Спросила, как я, как родители...

— Она часто звонит?

Аня тряхнула головой.

— Редко. Раз в несколько месяцев.

— И вы больше никак не общаетесь? По скайпу там или в соцсетях?

— Нет.

— Почему?

— Кто вы такой, чтобы я вам все это рассказывала? Вас это не касается.

— Мне нужно только с ней поговорить. Можно по телефону.

— Зачем?

— Чтобы убедиться, что все в порядке.

— У кого?

— Как — у кого? У нее.

Она улыбнулась.

— Сколько вам лет?

— Сорок один.

— Моему отцу сорок восемь. Но я знаю, он выглядит старше. Потому что бухает.

Она взяла чашку с кофе, сделала глоток, поставила на стол. Я посмотрел на розоватый отпечаток помады.

— Я знаю, где она может быть, — сказала Аня. — Но это далеко.

Я молча смотрел на нее.

— В Новосибирске. Там у нас тетя живет.

— У тебя есть ее телефон?

— Нет.

— Ты опять врешь.

— Может быть.

— Она чья сестра — отца или матери?

— Матери. Они сводные сестры. Но они не общаются. Тетя Света намного младше. Ей тридцать два.

— И у тебя нет ее телефона?

— Нет.

— А адрес ее ты знаешь? Ты была у нее?

— Да. Но давно уже.

— И ты хочешь сказать — вы вообще не общаетесь?

— Мы поругались.

— Из-за чего?

— Это вас не касается. Все, мне надо идти.

— Подожди. Как ее фамилия?

— Васильева.

— А отчество?

— Ивановна.

— Все, я пойду.

— Подожди. Ты когда была у нее в последний раз?

— Два года назад.

— И адрес не помнишь?

— Точно — нет.

— А найти могла бы?

— Не знаю. Наверно.

— Слушай, что я тебе предлагаю. Если ты съездишь со мной в Новосибирск и поможешь ее найти, я тебе заплачу.

— Сколько?

— Пять тысяч.

— Не так уж и много.

— А я что, похож на миллионера?
— Не знаю. Я с ними не тусуюсь... Ладно, я отпрошусь на работе.
— А где ты работаешь?
— В обувном магазине. Здесь рядом через два дома.
— Значит, я прямо сейчас пойду и куплю билеты на самолет.
— Нет.
— Что — нет?
— Только не на самолете. Я боюсь...
— Ты что, серьезно?
Она кивнула.

•
Аня сняла сапоги, забилась в угол нижней полки в плацкарте — купейных билетов не было. Сразу вытащила телефон и начала играть в игру.

Мужик на полке напротив — стриженный налысо, бородатый, в очках в «старинной» оправе — пил чай, причмокивая. Поднял глаза на меня, улыбнулся.

— Что, попутчик, как настроение?

Я пожал плечами.

— А я вот думаю, что настроение у тебя хреновое. И знаешь почему? Потому что ты — узник. Как, впрочем, и я. Мы все — узники тюрьмы, имя которой реальность. И никуда нам от нее не уйти. Правда, существует и альтернативная реальность. Знаешь, как она называется? Тот свет! — Мужик захохотал. — Вообще, люблю эту тему — Христа и Антихриста. Если есть желание, можем с тобой, что называется, подискутировать.

Я покачал головой.

— Ну, как знаешь.

•
Бородатый дремал, подперев рукой щеку. В уголке рта образовался пузырь слюны. На боковых местах напротив сидели два мужика — старый и молодой. Старый разгадывал кроссворд.

— Вот как ты думаешь, что это такое? — спросил старый. — «Сыпется с неба в форме хлопьев». Ну?

— Не знаю.

— Ты тупой или прикидываешься?

— Мне насрать. Отвянь.

— Вы, молодое поколение, — поколение дебилов. У вас уже мозги не работают. Вы даже кроссворды разгадывать не можете. А те, кто еще младше, — про тех я вообще молчу. Те уже и писать разучились. Только на клавиатуре что-то дробчат с ошибками, как попало...

Молодой начал вытаскивать из пакета жратву, раскладывать на столике. Копченая курица, коробка «доширака», хлеб, полуторалитровая «бомба» пива.

•
Аня и я подошли к кирпичной хрущевке. Над последним этажом, на крыше, сохранилась с советских времен надпись «Продовольственный магазин». В доме продовольственного магазина не было. Слева висела вывеска «Справка — Счет», справа — «Вертикаль».

Я спросил:

— А чем тетя занимается?

— Ничем. Ее любовники содержат. У нее раньше был один вообще крутой. Давно, когда ей лет восемнадцать было. Она тогда училась на первом курсе в

универе и работала у него секретаршей. Ну и постепенно... И вот он ей эту квартиру купил. А потом его посадили. И ее тоже. За соучастие. Его завалили на зоне. А она отсидела три года и вышла...

Мы обошли дом. Аня позвонила в домофон крайнего подъезда.

Ответили после трех звонков.

— Кто там?

— Света, это я, Аня.

— Что ты здесь делаешь?

— Как — что? Приехала в гости. Ты откроешь?

Домофон пропищал, дверь открылась. Мы зашли в подъезд, поднялись на третий этаж. Света стояла на пороге — в черных лосинах и белой майке с облезлым Микки-Маусом.

— Знакомьтесь, это Николай, он — друг Катюхи, это — Света, наша тетя.

Света смотрела на нас, улыбалась.

— Ты, Анька, не перестаешь меня удивлять. То месяцами не звонишь и не пишешь, то вдруг приезжаешь без предупреждения. Да еще и с «другом Катюхи». — Она глянула на меня. — А если б меня дома не было?

Света отступила в квартиру. Мы прошли за ней в крохотную прихожую, не отделенную от комнаты.

— За бардак даже извиняться не буду, — сказала тетя. — Давно пора делать ремонт, но все никак не соберусь...

Старые красные обои кое-где потрескались, у окна кусок был оторван. Стенка семидесятых годов, сравнительно новый диван и кресла.

— Ну, пойдёмте пить чай, что ли? — сказала Света.

•

— ...да, она приезжала. — Света взяла чашку, отпила, поставила на стол. — Недели две назад. Сказала — повидаться. Я спросила: у тебя все в норме? Она говорит: да, конечно. Спрашиваю: а к родителям поедешь? Она молчит.

— У нее здесь есть мужчина в Новосибе? — спросила Аня.

— Ну у тебя и вопросы... — Света глянула на меня. — Откуда я знаю? Она меня в такие вещи... Слушай, а вообще, кто ты такой?

— Мы встречались, а потом она исчезла...

— Ты это знаешь кому расскажи? Что тебе конкретно надо от нее?

— Хватит, — сказала Аня. — Отстань ты от человека.

— Что значит — хватит? Ты его привела ко мне в дом, он теперь знает, где я живу... А ты вообще знаешь, кто он такой? Ты вообще еще мелкая, ты понимаешь? Приводишь ко мне в дом неизвестно кого... А вдруг он аферист?

— Я пойду в гостиницу, — сказал я.

— Ладно, успокойся. — Света глянула на меня. — Я против тебя ничего не имею. Я просто мелкой объясняю, что надо быть умнее...

— Не надо мне ничего объяснять, ясно?

— Ясно.

•

— Че ты из себя следователя строишь, а? — Света хмыкнула. Мы сидели за столом: она, ее парень Руслан, Аня и я. — Вопросы задаешь идиотские. Фильмов посмотрелся, да? Я тебе скажу конкретно: если бы она хотела, чтобы ты ее нашел, ты б ее давно нашел. — Света снова посмотрела на меня. — Я Катюху знаю хорошо. Она здесь у меня жила два месяца, когда работала в Новосибирске.

— Где? — спросил я.

— Что — где?

— Где работала?

— В клубе. Танцевала. Не бойся, не стриптиз. — Она засмеялась. — Ты про нее ничего не знаешь. А я тебе ничего не скажу.

— Короче, после первой и второй перерывчик небольшой, — сказал Руслан. Он взял бутылку водки, налил в рюмки. — Ну что? Снова за знакомство?

— За знакомство уже пили, — сказала Света. — Давайте за Катюху. Раз ее тут человек с Москвы ищет...

Мы подняли рюмки, чокнулись. Света и Руслан выпили залпом. Аня чуть пригубила. Я выпил половину.

— Что так слабо? — Руслан кивнул на мою рюмку.

— Я водку не очень люблю.

— А что ты любишь?

— Ну, виски, например...

— Виски — говно. Тот же самогон, только американский. Я вообще не пойму — что в нем хорошего? Если что-то буржуйское, от америкосов — значит, обязательно хорошее? Есть же наша, русская водка. Чем она тебе не нравится?

— Сложно сказать... Дело вкуса...

— А вот ничего и не сложно. Просто тебе сказали, что виски — это, типа, круто, поэтому надо пить виски, а не русскую водку. А я — русский человек, по мне виски — говно. По мне нет ничего лучше водки. Ты понимаешь?

•

Занавески на окне не было. В комнату светил уличный фонарь. Аня укрылась с головой на диване. Я ворочался на раскладушке, пытаюсь улечься поудобнее. За стеной громко и пьяно разговаривали Света и Руслан, обсуждали телепередачи и «звезд». Я уснул.

Проснулся оттого, что Аня трясла меня за плечо.

— Собирайся! — зашептала она в ухо. — Руслан хочет тебя сдать своим пацанам.

— Каким пацанам?

— Хочешь увидеть? Тогда оставайся.

Я вскочил с раскладушки. Натянул джинсы. Просунул руки и голову в свитер.

— Не бойся. Он сейчас пьяный спит.

Мы прошли через смежную комнату. Руслан храпел на диване.

На кухне горела лампочка в красном абажуре. Света курила, сидя на табуретке лицом к окну. На ней была длинная желтая майка.

Она посмотрела на нас, ничего не сказала.

Я схватил в ванной сумочку с зубной щеткой и прочими принадлежностями, выбежал в прихожую. Споткнулся о чьи-то ботинки. Аня включила свет, взяла с вешалки свою куртку.

Я открыл входную дверь. Света по-прежнему курила на кухне.

•

Мы сидели в буфете вокзала, пили растворимый кофе. На два утренних поезда билетов не было.

Я спросил:

— Как ты узнала?

— Про что?

— Ну, про то, что Руслан хочет...

— Света сказала.

— Зачем?

— Что — зачем?

— Зачем сказала? Ей что, не насрать на меня?

— Насрать. Она из-за Руслана. Бойтся, что он сядет.

— И что бы они с меня взяли? Я что — миллионер?

— Какой смысл здесь торчать, если поезд теперь только вечером? Поехали на автовокзал. Там в восемь с чем-то утра должен быть автобус. — Аня допила кофе, поставила картонный стакан на стол.

•

За окном автобуса тянулись поля, над ними висело серое небо.

Аня закончила набирать эсмэску, отправила, сунула телефон в карман.

— А что ты такого нашел в Катюхе? Почему ты на нее так запал?

Я пожал плечами.

— А ты женат?

— Был.

— И дети есть?

— Дочка.

— Сколько ей лет?

— Одиннадцать.

— А почему вы развелись?

— Сложно вот так объяснить...

— А что тут сложного? Или ты кого-то нашел, или она кого-то нашла... Или нет?

— Нет.

— Нет?

•

Автобус остановился на темной улице, не доехав до автовокзала. Водитель вышел. Я поглядел в окно. Он открыл багажное отделение и перегружал какие-то коробки в багажник «пятерки».

Я встал, прошел вперед по салону. В автобусе оставалось человек десять, включая нас. «Пятерка» отъехала.

Водитель вернулся.

Я сказал:

— А можно частными делами заниматься не в рабочее время? И так опаздываем...

— Это ты мне? — спросил водитель.

— А кому еще?

— Иди на *.

— Сам иди.

— Э, ты, может, хочешь выйти и поговорить на улице?

— Может, и хочу.

Я вышел. Водила вышел со своей стороны, обошел автобус.

— Ты думаешь — самый умный, да?

— Ничего я не думаю. Просто есть люди, которым надо доехать до автовокзала, а не ждать, пока вы занимаетесь своими делами.

Он ударил меня кулаком. Я отбил его руку, ударил сам. Он увернулся, кулак скользнул по уху. Его кулак прилетел мне в живот. Я присел, скорчился. Он ударил ногой — я успел прикрыть голову руками.

— Никогда не лезь не в свое дело, понял? Садись в автобус, а то оставлю тебя здесь, на хер.

•

На автовокзале Аню ждали три парня и девушка. Парни — коротко стриженные, в темных куртках, с бутылками пива. Смотрели на меня хмуро, не по-

здоровались. Девушка была в короткой юбке и высоких сапогах — выше колена. Они с Аней обнялись, что-то шептали друг другу.

Аня отклеилась от нее, повернулась ко мне.

— Что ты теперь будешь делать?

— Как — что? Продолжать искать.

— Здесь, в Новокузе?

— Пока что здесь.

— Не тупи, возвращайся в Москву. Здесь ее нет и не будет.

Зазвонил мой телефон. Я достал его из кармана, сказал:

— Алло?

В трубке молчали, потом пошли гудки.

— Это у тебя четвертый или пятый айфон? — спросил один из парней.

— Четвертый.

Он кивнул.

— Ну, короче, я тебе все сказала. — Аня поглядела на меня. — Пока.

•

Хозяину квартиры было под шестьдесят. Седые виски, лысина, седые усы.

— Паспорт ваш можно глянуть?

Я кивнул, открыл молнию на рюкзаке, вытащил паспорт.

Мужик полистал его.

— По каким делам из столицы?

— Бизнес.

— Ясно. Бизнесом сейчас сложно заниматься — со всеми этими поборами, лицензиями, штрафами... Я вон тоже попробовал... И понял, что овчинка выделки не стоит. А у тебя как — все более или менее?

Я кивнул.

— Наша власть разложилась совершенно. Тот, кто думает, что у нас сильная власть, — человек наивный. Путин ничего не контролирует, и ему никто не подчиняется. Все чиновники работают только на свой карман. Взять хотя бы Олимпиаду. Сроки ввода объектов задержали на два года — и неизвестно теперь, удасться ли вообще успеть. Бюджет был миллиард двести миллионов, а стал восемь. Это как? Путину сказали — он головой покачал. «Хорошо работаете». А хоть кого-нибудь уволили? Никого. Про то, чтобы посадили, я и не говорю. Я тебе скажу одно. Был бы у нас президент, как Лукашенко у белорусов, все было бы по-другому. В Белоруссии не воруют вообще. Кто попробовал воровать, тех сразу посадили. Попробуй не выполни поручение главы государства — сразу пинка под зад. А у нас твори, что хочешь. Вот сняли Сердюкова, уголовные дела там завели. Что, думаешь, посадят? Да ни за что. Потому что в России чиновников не сажают. Это не по понятиям.

Я огляделся. Мебель была практически новой, и ремонт относительно свежий. На полках «стенки» лежали журналы сканвордов, газета с телепрограммой. К зеркалу была прилеплена наклейка из жвачки: Халк.

— А проблемы с чего начались? С распада СССР. Я тебе совершенно ответственно говорю: все оттуда идет. Да, система была не идеальная. Но нельзя было ее рушить. Потому что были хоть какие-то идеалы. Хоть во что-то верили. А сейчас во что верить? В могущество доллара? В капитализм?

Я пожал плечами.

— Ладно, ближе к телу, — сказал мужик. — Сколько дней ты собираешься пробыть?

•

Я подошел к окну. Небо над девятиэтажками синело. Светились некоторые окна. У овощной палатки остановился черный «Мерседес», забрызганный грязью. Из него вышел кавказец, подошел к палатке. Постучал. Дверь открылась. Он вошел внутрь.

Зазвонил телефон. Я провел пальцем по экрану, поднес его к уху.

— Привет! — сказала в трубке Вика. — Ты можешь объяснить мне, в чем дело? Ты взял отпуск на неделю, ты должен был выйти вчера. Поляков психует...

— Скажи ему, что у меня проблемы. Пусть войдет в положение...

— Какие проблемы? Ты мне хотя бы можешь рассказать, в чем дело?

— Не сейчас. Вернусь — все расскажу.

— Когда?

— В понедельник. Может быть, даже в пятницу. Но не позже понедельника...

— Ладно, пока.

Я положил телефон на подоконник. Из палатки вышел кавказец, на ходу засовывая в барсетку пачку денег. Барсетка еле застегнулась. Он сел в «Мерседес», бросил барсетку на сиденье рядом, завел машину, резко дал по газам.

•

Я закрыл дверь на ключ. В общий коридор вошла соседка — жопастая, лет тридцать пять, с пакетами из супермаркета. Глянула на меня, сказала:

— Вы дверь коридора всегда запирайте на ключ. А то ходят по подъезду алкаши, ищут, что украсть. На втором этаже из электрощитов что-то выкрутили в том году — потом у них света не было два дня, пока не починили...

Я кивнул, вышел из коридора, запер дверь. Из-за приоткрытой двери коридора напротив на меня смотрел дед в очках. Я нажал на кнопку лифта.

•

Я лежал на диване. Телевизор работал без звука — канал ТНТ. Я взял телефон, набрал номер Ани.

— Аллю? — сказала она.

— Привет, это Николай.

— Привет.

— Нет новостей от Кати?

— Нет. Тебе здесь еще не надоело?

— Надоело.

— Тогда уезжай. Все равно она не приедет.

— Я подумаю. Пока.

— Пока.

•

— Извините, молодой человек, а вы не дадите мне телефон позвонить? — сказала девушка. — А то у меня разрядился...

Она стояла у перил на ступеньках супермаркета. Черная куртка, синие джинсы. Темные волосы собраны в хвост.

Я перехватил пакет из супермаркета другой рукой, вытащил из кармана джинсов телефон, протянул ей.

— О, айфон — круто! — Она подняла глаза на меня. — А какой это? Пятый, да?

— Четвертый...

Девушка резко побежала по ступенькам. Я — за ней. За угол, во двор. Еще за угол — здание без окон.

Девушка остановилась. На меня смотрели четыре парня.

— Далеко собрался? — спросил один.

•

Я подошел к парню с девушкой, курившим у входа в супермаркет.

— Извините, у вас в телефонах есть Интернет? Мне узнать номер банка...
Заблокировать карту... Меня сейчас ограбили...

Парень вытащил из кармана смартфон.

— Какой банк?

•

— Ваша карта заблокирована, — нейтрально-вежливо говорила в трубке девушка. — За блокировку с вашего счета будет списано две тысячи рублей. Я еще чем-нибудь могу вам помочь?

— А как я могу снять со счета деньги?

— Вы сможете снять деньги со своего счета при личном обращении в любое отделение банка с документом, удостоверяющим личность.

— А в Новокузнецке есть отделение?

— Сейчас, минутку, я уточню информацию. — Включилась музыка. — Я поднял глаза на хозяина телефона. Он недовольно посмотрел на меня, переступил с ноги на ногу.

— Спасибо за ожидание, — сказала в трубке девушка. — К сожалению, в Новокузнецке отделений банка нет. Ближайшее к вам отделение находится в Екатеринбурге...

— То есть я правильно понял? Единственный способ снять деньги со счета — это прийти с паспортом в отделение в Екатеринбурге?

— Да, абсолютно верно. Я еще чем-нибудь могу вам помочь?

Я отключил звонок, отдал парню телефон.

— Спасибо.

Он и девушка молча кивнули. Ушли. Я прислонился к перилам. У ног до сих пор стоял пакет. Те уроды его не забрали. Я наклонился, заглянул в него. Пачка пельменей. Пакет кефира. Литровая бутылка пива.

Я взял пиво. Открутил пробку. Она упала, покатилась вниз по ступенькам. Я сделал глоток. Посмотрел по сторонам. Две тетki выходили из супермаркета. По улице ехал трамвай. Искрыли провода.

•

— ...и ты хочешь попросить у меня денег на билет? — спросила Аня. Мы стояли у витрины обувного, в котором она работала. — Я давно тебе говорила: уезжай. Надо было слушать...

— Мне не деньги нужны. Сведи меня со своими друзьями. Которые тебя встречали на автовокзале.

— Зачем?

— У меня к ним предложение.

— Какое предложение?

— Их заинтересует. Может быть.

— Давай я найду тебе денег. Хотя бы до Екатеринбурга. У меня сейчас нет, но я займу. А ты потом вернешь. Ты ж меня не кинешь, правильно?

— Я никуда не поеду. Сведи меня со своими ребятами.

•

— Или это подстава, или ты реально отмороженный, — сказал самый низкий и плотный из трех парней — Чава.

— Объясни мне, зачем мне вам делать подставу? Какой в этом смысл? Что я от этого получу?

— Да * тебя знает...

— Нет, что значит — * меня знает? Если у меня есть интерес, чтобы вас подставить, ты скажи мне, в чем он.

— Ладно, забей. Но смотри, *. Если это подстава, то мы тебя найдем. Мы тебя везде найдем. В Москве своей, на *, не спрячешься.

•

Чава ударил кавказца бейсбольной битой. Барсетка упала на асфальт. Кит схватил ее. Я и Бурый прятались за деревьями. Все были в черных шерстяных шапках с прорезями для глаз.

Как и договорились, мы побежали в разные стороны.

Оказавшись в следующем дворе, я сорвал шапку. Размазал рукой пот по лбу. Сунул шапку в карман.

Во дворе было пусто. Только на лавочке у песочницы сидели три пацана лет по пятнадцать. Они разговаривали, на меня не смотрели. Я медленно пошел по дорожке вдоль подъездов.

•

— Сколько ты платишь за эту хату? — спросил Чава.

Мы сидели в комнате. На столе стояли три бутылки водки и бутылка лимонада, лежали нарезанная колбаса и хлеб.

— Тысячу в сутки.

— *. Ты, типа, богатый, да? Зачем тебе вообще это надо?

— Я тебе сказал уже — меня ограбили, забрали все. Не осталось ни копейки денег...

— Ладно, хватит * вола, — сказал Бурый. — Наливайте.

Кит взял бутылку, разлил в пластиковые стаканы.

— Ну, как говорится, чтоб * стоял и деньги были! — сказал Чава.

Мы чокнулись, выпили.

— Вот скажи мне, Колян... — Чава посмотрел на меня, взял кусок колбасы, хлеба, продолжил говорить, жуя. — В Москве много пидарасов?

Я пожал плечами.

— Откуда я знаю?

— Как это откуда? — Бурый заржал. — А сам ты, по типу, не это?

— Ладно, не *, — сказал Чава, глянул на Бурого, потом на меня. — Я серьезно спрашиваю. — Я по телику видел, что, *, в Европе, они, *, прямо на улице обнимаются, там, сосутся... А в Москве такое есть?

— Я ни разу не видел.

— Не, ну это *, да? — Чава прикусил губу, покачал головой. — Я за то Пути-на уважаю, что он против пидарасов. Я тоже против пидарасов. Потому что *, на *. В Европе там своей пусть, на *, что хотят, то и делают, а в России пидарасов надо давить.

— Это ж *, да? — Бурый хмыкнул. — Чтобы пидарасам — и жениться, да?

— Не, я их, в натуре, сука, ненавижу, — сказал Чава. — Правда, у нас их и нет здесь.

— А насчет попов ты как? — спросил Кит.

— Что насчет попов?

— Ну, как ты к ним, типа, относишься?

— Попов я тоже ненавижу. Это *.

— А в Бога веришь?

— Да, верю. А при чем тут это? В Бога верю, а попы — это *.

•

— Спрячь, *, битую, дебил, а то торчит из-под куртки, — сказал Чава Бурому. Мы шли через двор. Со всех четырех его сторон стояли одинаковые серые панельные дома.

— У меня, блин, уже руки чешутся. — Чава дотронулся до куска арматуры в рукаве. — Суки, *, ни * не делают, только *, и такие бабки за это получают...

— А ты бы согласился так, а? — спросил Бурый. — * за деньги?

— В смысле, * баб, и чтобы платили за это? Ясный пень, согласился бы...

— Не, самому в жопу!

— Я сейчас тебя самого в жопу, ты понял?

Мы подошли к подъезду девятиэтажки.

— Короче, действуем, как договорились, да? — сказал я. — Никого не трогаем, только угрожаем. Забираем деньги и сразу же уходим. Да?

Все промолчали. Бурый молча кивнул.

Я позвонил в домофон.

— Здравствуйте. Я звонил, договаривался, насчет...

— Да, здравствуйте. Девятый этаж.

Домофон запиликал. Я открыл дверь, мы вошли. Кит вызвал лифт. Мы все натянули шапки с прорезьями, достали из-под курток биты и арматуру.

— Кит, а ты знаешь, где проститутки обычно деньги прячут? — спросил Чава и заулыбался.

Кит покачал головой. Подъехал лифт, двери раскрылись. Мы зашли в кабину. Стены были изрисованы, в нескольких местах к ним прилипли высохшие сопли.

— В жопе они прячут деньги, ты понял? В жопу их обычно никто не *, поэтому... Так что, Кит, будешь их всех обыскивать...

— Иди на *.

Лифт остановился. Двери раздвинулись.

У открытой двери общего коридора стояла жопастая крашеная блондинка под пятьдесят, в кожаной юбке, черных колготках в сеточку и стоптанных тапках. Увидев нас, она отступила в коридор, хотела закрыть дверь. Кит просунул битую в щель, толкнул дверь от себя. Чава схватил блондинку за плечи, зажал рот.

В прихожей мелькнула девушка. Закричала, исчезла в квартире. Кит побежал за ней.

Я заглянул на кухню. Никого. На столе стояла белая чашка с остатком кофе и отпечатком темно-красной помады. Слышны были женские крики и голос Чавы:

— Тихо, *, кому сказал? Если не будешь пищать, никто тебя трогать не будет!

Я толкнул соседнюю дверь. Что-то впилося в левую руку. Я вскрикнул, махнул наугад битой. Она запищала, уронила ножницы. Брюнетка с длинными волосами. Лет двадцать пять, с наклеенными ресницами. Схватила рукой за плечо.

— Только подойди... Только попробуй... — закричала она.

Я глянул на свой левый рукав. Вокруг дырки на куртке образовалось пятно крови.

Я размахнулся, ударил, стараясь попасть по плечу. Она вскрикнула. Я глазами показал на рукав:

— За это. А теперь быстро давай все деньги, которые есть. Я не шучу.

Она встала на колени, выдвинула ящик тумбочки. Вытащила пачку купюр — рубли, среди них — несколько бумажек евро и долларов. Я выхватил их у нее. Сунул в карман.

— На тебе самой что-нибудь есть? Лучше сразу скажи, не заставляй обыскивать.

Она покрутила головой, оставаясь на коленях, глядя снизу вверх. Рука болела. Я сморщился. Занес над ней битую. Ударил по спине.

Она закричала, упала на ковер. В нескольких местах он был засыпан сигаретным пеплом. У ножки кровати валялся бычок.

Я вышел из комнаты. В квартире было тихо.

Я выкрикнул:

— Э, вы где? Пора уходить!

Из комнаты в коридор вышли Чава и Кит.

Я спросил:

— А где Бурый?

— С бабой. — Чава заулыбался.

— Что значит — с бабой? Валишь надо!

— Ладно, сейчас позову.

•

Я содрал свитер, прилипший на руке к засохшей крови. Рана казалась неглубокой. Я залил ее йодом. Обожгло. Я сжал зубы. Взял бинт, начал наматывать.

Поднял глаза. Посмотрелся в зеркало, все в высохших каплях. Улыбнулся.

•

В ночной клуб парни пришли с четырьмя девушками, включая Аню. Мы сидели на угловом диване. Я разглядывал девушек. Кроме Ани, все казались вульгарными и тупыми.

Официантка принесла заказ — бутылку водки, бутылку шампанского и «мясную тарелку». Бурый открыл шампанское, выстрелив пробкой. Стал наливать девушкам. Чава налил парням водки.

Мы чокнулись, выпили.

— Ну, я не знаю, кто как, а я пошла танцевать, — сказала одна из девушек: высокая крашеная блондинка в черной короткой юбке со стразами.

Все пошли вместе с ней, кроме Ани.

— А ты почему не танцуешь? — спросил я.

— Нет настроения. Может, позже. А ты?

Я хмыкнул.

— Я уже старый для этого.

— Кончай ты понтоваться. Неприятно слышать.

Она вытащила из сумочки сигареты, зажигалку.

— Дай и мне сигарету.

— Ты ж не куришь...

— А сейчас буду.

Она подтолкнула мне пачку. Я взял сигарету, зажигалку, прикурил ей и себе. Затянулся.

— Ты когда-нибудь курил?

— Да. Довольно долго. Бросил шесть лет назад.

— Почему?

— Почему бросил?

— Да.

— «Вредно для здоровья».

— А-а-а... А сейчас зачем куришь?

Я пожал плечами.

— Кто из них твой парень? — Я кивнул на танцпол.

— Никто. Они просто друзья. Вместе учились, вместе росли. Я никого из них никогда не воспринимала как парня — ну, с которым я бы могла встречаться, понимаешь?

— А они тебя?

— Ну, это тебе лучше знать. Они там, наверное, что-нибудь про меня говорят...

— Ничего они не говорят... А ты с кем-нибудь вообще встречаешься?

— Да. Но он совсем другой. Он старше. Твоего возраста.

— Понятно.

•

— Смотри, мы можем сделать по-хорошему и можем по-плохому, — сказал Бурый. — По-хорошему — ты отдаешь нам бабло, и мы уходим. Ну а если по-плохому, сам увидишь, что будет.

— У мэня ничего нэт. — Хозяин кафе на рынке говорил с заметным акцентом.

Мы зашли перед самым закрытием, когда он был уже один. Кит запер дверь изнутри. Перед этим мы по очереди тусовались на рынке несколько дней, следили за ним.

— А ты вообще сам откуда? — спросил Бурый.

— Из Пакистана.

— А что ты тут делаешь вообще?

— Я учился здэсь. А потом остался...

— А на * ты здесь остался? * бы в свой Афганистан. Здесь, *, своим пацанам нет работы, а еще такие, как ты, приезжают. Это кафе мог держать свой, русский пацан, ты понимаешь? А вместо него ты здесь сидишь и бабки зарабатываешь ни за *. Поэтому давай все, что есть. Не дашь — *.

Чава подошел к пакистанцу, ударил кулаком в нос. Пакистанец упал. Чава прыгнул на него, схватил за горло, прижал к полу, ударил еще несколько раз.

— Мы тебе сказали, сука, по-хорошему. Скажи, где бабки — или тебе *.

По его подбородку растекалась кровь. Он выплюнул два выбитых зуба.

— Нэ бэй больше... Я скажу...

— Ну вот, давно бы так... — Чава замахнулся. Пакистанец вздрогнул. — Нессы, я ж сказал, что не буду.

•

На рынке было пусто. Валялись картонные коробки, мусор. Моросил дождь. Невысокого роста парень толкал перед собой тележку с деревянными ящиками.

— Не рано сняли маски? — спросил Бурый. — Вдруг здесь камеры?

— Какие, в *, камеры? — Чава хмыкнул. — Рынок держат черножопые. Они копейки лишней ни на что не потратят. Гондоны, *. Вот бы до них, сука, добраться...

•

Единственная комната в квартире была забита книгами. Они занимали все полки в «стенке» восьмидесятых годов, в том числе те, которые для посуды, были втиснуты сверху, под потолок. Несколько неровных стопок стояли в углу, рядом с облезлой зеленой батареей.

Мы втроем сидели на диване: Аня, я и Игорь — ее «парень». Моего возраста или чуть старше. Невысокий, коротко стриженный, в очках. В черной рубашке и спортивных штанах. Над диваном висела «Политическая карта мира» советских времен — с большим розовым пятном СССР.

Игорь взял бутылку водки, налил в рюмки.

— Ну, за знакомство.

Мы чокнулись, выпили. Игорь посмотрел на меня.

— Спасибо, что согласился прийти. Мне когда Аня сказала, я сразу заинтересовался. Мне, понимаешь, интересно пообщаться с москвичом. Я в Москве сейчас не бываю, нет возможности, но хотел бы иметь представление.

Я кивнул.

— Вот скажи мне, — продолжал Игорь. — Как там поживает «пятая колонна»?

— Кто?

— Как кто? Ну, вся эта мразь, которую финансирует Запад. Которые за его деньги пытаются развалить страну. Но говорят при этом, что они — демократы, что они — либералы. Дерьмократы они, вот кто. Либерасты...

— Я к политике отношения не имею. Мне это неинтересно.

Игорь наморщил лоб, покивал головой. Аня сидела, забившись в угол дивана и уткнувшись в телефон.

— Подход, конечно, по-своему, правильный... Но, с другой стороны, очень опасный. Это только кажется, что можно быть в стороне, «вне политики». Но так не бывает. Просто не бывает. Политика тебя сама найдет. Потому что время начинается крайне опасное. И каждый должен будет сделать выбор... Или он по ту сторону баррикад, или по эту.

Аня подняла голову от телефона, глянула на нас.

— Давайте выпьем. Я понимаю, конечно, все эти серьезные разговоры, но...

Игорь снова налил в рюмки, мы выпили.

— Я вот, ты понимаешь, равнодушным быть не могу. И поэтому вне политики быть не могу. Мы с единомышленниками создали партию. Называется «Национальный альянс здравого смысла». Долго думали над названием и в конце концов пришли к этому. Потому что важно было подчеркнуть, что мы — национальная партия, и что главная наша идеология — здравый смысл. Потому что все остальное себя дискредитировало. Ясно, что мы не хотим никаких ассоциаций с либерастами и толерастами. И с Европой мы не собираемся иметь никаких ассоциаций. Европа и Америка, то есть Запад вообще, — это наши враги. Надо это четко признать, сформулировать и понять. В чем главная ошибка нынешних российских властей? Их ошибка в том, что они пытались заигрывать с Западом. То есть мы проиграли «холодную войну» — это надо признать, если этого не признать, невозможно двигаться дальше... И вот, проиграв холодную войну, мы пытаемся заигрывать с победителем, пресмыкаться перед ним. Вместо того чтобы снова собраться с силами и устроить реванш. Наша главная слабость — она на уровне идеологии. Потому что Россия — сильная страна. Сильная духом, сильная людьми. Сильная теми же природными ресурсами, наконец. Но мы позволили навязать себе западный образ жизни, ментальность капитализма, а все это изначально чуждо России... И если мы этого не осознаем, то скатимся к катастрофе... Западный вектор в развитии — это была величайшая ошибка дерьмократов с Эльциным во главе. Запад всегда боялся России, он ей всегда не доверял. Это было верхом наивности: думать, что нас сейчас примут на равных, что мы будем на том же уровне, что Америка или, там, Германия... Они никогда не допустили бы Россию на свой уровень. Только чисто номинально. «Большая восьмерка» и т.д. А на самом деле

Россия нужна им как слабая страна, как рынок сбыта для их товаров и поставщик сырья и энергоносителей...

Я взял бутылку водки, разлил. Посмотрел на Игоря. Он подмигнул мне.

•

Мы стояли в прихожей. Аня натягивала сапоги.

— Я думал, ты останешься... — сказал ей Игорь.

— Нет, мне рано на работу.

Мы вышли на площадку. Щелкнул замок. Я нажал на кнопку лифта. Она не загорелась. Я нажал еще раз. Прислушался.

— Это бывает, — сказала Аня. — Здесь часто лифт не работает. Придется пешком спускаться с восьмого.

Мы спустились на две площадки вниз. Аня шла впереди. Я догнал ее, обнял за плечи, развернул к себе. Мы поцеловались.

— Это так романтично... — Она хмыкнула. Ее голос звучал нетрезво.

Я просунул ей руку под куртку, потащил вверх юбку.

— Только давай спустимся еще на одну площадку, — сказала она. — Подальше от мусоропровода... Он воняет.

•

Мы курили, сидя на корточках у стены.

— Это ничего не значит, — сказала она. — То есть, в смысле, я не это хотела сказать... — Она сделала затяжку, выпустила дым. — Это что-то значит, конечно. Но я не стану из-за этого меньше любить Игоря, так ведь?

Я не ответил.

— Скажи, зачем тебе все это надо? — Она посмотрела на меня.

— Что?

— Ну, то, что вы делаете с пацанами? Вы все сядете, раньше или позже...

— Мы все делаем грамотно. Для этого я им и нужен. Они — парни если и не совсем тупые, то по крайней мере неопытные.

— А ты, можно подумать, опытный... — Аня улыбнулась.

Я пожал плечами, затянулся, отбросил бычок. Он ударился в стену, упал на цементный пол. От него разлетелись искры.

— Мы не грабим кого попало. Только тех, кто с большой вероятностью не пойдет к ментам...

— Ты наивный, как пацан. Как будто тебе столько лет, сколько им...

— Это было бы круто...

•

Я разорвал целлофан на пачке, вытащил сигарету. Первая пачка, которую я купил за шесть лет. Я вытащил сигарету, прикурил пластмассовой зажигалкой — ее я взял у девочки-официантки, которая принесла мне кофе.

Затянулся, посмотрел через стекло на проспект. Я приходил в эту кофейню каждое утро. Садился всегда за один и тот же столик у окна — в это время он всегда был не занят и кофейня была пустой. Медленными глотками пил кофе, глядя в окно или перелистывая местную бизнес-газету. Я недели три не пользовался Интернетом и даже не стал покупать смартфон, выбрал простенький дешевый телефон.

Он зазвонил, я нажал на «ответ».

— Привет, Коля, — сказал хозяин квартиры. — Ну что, ты определился, сколько еще остаешься?

— Пока еще нет.

— Не, ты, конечно, можешь жить, сколько хочешь. Как говорится, «любой каприз за ваши деньги». Но тебе ж самому невыгодно, раз ты настолько зависи. Мог бы лучше снять квартиру не посуточно, чтоб за месяц платить. Это гораздо дешевле было бы...

— Спасибо. Я подумаю. Через пару дней определюсь.

— Ну, ладно, давай.

— Пока.

Я положил телефон на стол. Затянулся. Сделал глоток кофе. Мимо кофейни по тротуару шли люди. Мужик с двумя пакетами из супермаркета. Пенсионер с сумкой-тележкой. Две девушки студенческого вида с сигаретами и банками энергетических напитков.

•

— Вас найдут, — сказал хозяин магазина. — Вас обязательно найдут. И в жопу *. Я вам знаете что советую? Станьте на колени и помолитесь, чтобы вас менты повязали раньше, чем вас найдут другие люди. Серьезные люди...

Мы стояли вокруг него — привязанного скотчем к стулу в подсобке.

— А вот скажи мне, как они нас найдут, а? — Я посмотрел на него. — По овалу лица? Но мы ж вроде не Pussy Riot?

— Да мне по *, кто ты. Я знаю, что вас найдут. И тог...

Мой кулак влетел ему в нос. Я крикнул:

— Молчать, гнида! Сейчас ты скажешь нам код от сейфа, мы заберем бабло и уйдем. А если не скажешь, мы тоже уйдем, но не сразу. Сначала мы вырвем тебе все ногти на руках. — Я кивнул на плоскогубцы в руках у Кита. — Потом — на ногах. Потом мы отрежем тебе яйца. И если ты и тогда ничего не скажешь, то мы тебя *. А потом мы уйдем.

•

Я выглянул в окно. На стоянке не было видно ни одной машины.

— Значит, как договорились, — сказал я. — Идем по одному. Встречаемся на станции. Электричка через сорок минут.

— А ты не * с баблом? — спросил Бурый.

— Не задавай тупых вопросов, ладно? Давай, иди первый.

Бурый вышел из магазина, прошел через стоянку, скрылся за деревьями лесополосы.

— Кто следующий? — спросил я.

•

Я выключил в ванной свет, вернулся в комнату.

Бурый разложил на диване тысячные купюры, взял еще несколько веером — как карты. Чава фотографировал его на телефон.

Я спросил:

— Зачем вам это?

— Так просто...

— Чтобы выставить вконтakte? Чтобы все видели, что у вас откуда-то вдрут стало много бабла? Чтобы запалиться?

— Да не, ты че? Мы так, для себя. На память, типа...

Бурый начал расстегивать рубашку?

— На *? — спросил Чава.

— Чтобы наковки были видны. — Бурый ткнул пальцем в ангела слева на груди и волка справа. — Тебе нечего показать, вот ты и молчи.

— Мне все это не надо. — Чава посмотрел на Кита. — А ты че там сидишь как неродной?

— Я раздеваться не буду.

— А зря. — Бурый хмыкнул. — Я б на твоём месте и трусы снял. Если б у меня был такой *, как у тебя. Скажи, Чава? Колян, сфоткаешь нас?

•

Сквозь сон я услышал звонок телефона. Отвечать не хотел. Но он продолжал звонить. Я дотянулся до него, поднес к уху, нажал на «ответ».

— Алло?

— Привет, ты что, ещё спишь? — спросила Аня.

— Да.

— А-а-а... Уже не так рано вообще-то. Одиннадцать часов.

— Спасибо за информацию...

— У меня для тебя новости. Возможно, тебе будет интересно. Катя приехала...

— Да?

— Да. Я ей рассказала про тебя.

— А она?

— Что — она? Готова встретиться с тобой, если ты сам ещё хочешь. Хочешь?

— Да, конечно.

— Тогда в «Мечте», где мы с тобой встречались. В три часа. Хорошо?

— Да, конечно. Ты тоже придешь?

— Ты что? — Аня усмехнулась. — Я-то там зачем?

Я бросил телефон на пол. Приподнял голову. Уронил. После вчерашнего было херово.

•

В кафе было пусто, только за соседним столиком сидели два мужика. Один сказал официантке:

— Кофейку. Эспрессо. И какую-нибудь плюшку. А тебе что, Жора?

— Да то же самое...

Официантка отошла.

— Вот я и говорю, — сказал первый мужик. — Предлагал на их склад перейти. Пересчитывать. А нам что пересчитывать? У нас времени не было...

Через окно я заметил Катю. Она была в камуфляжной куртке с мехом на капюшоне, драных джинсах и кедах. В дырах были видны черные колготки.

Катя зашла в кофейню, заметила меня. Я кивнул.

Она подошла к столику. Сняла куртку, повесила на спинку стула. Села напротив. Едва заметно улыбнулась.

Я сказал:

— Привет.

Она кивнула, отвернулась, глянула в окно. Снова посмотрела на меня.

— Зачем тебе это?

— То же самое спрашивала твоя сестра.

— И что ты ей ответил?

— Не помню. Ты надолго приехала?

— На несколько недель. Как минимум. Я хочу отдохнуть. Спрятаться от всего. Ты понимаешь. Отдохнуть от Москвы.

— Ты все это время была в Москве?

— Не все. Я съездила к тете в Новосибирск.

— Я знаю. На три дня. А потом? Вернулась в Москву?

Она кивнула.

— А почему тогда не отвечала на звонки? Уехала с квартиры?

— Я ответила тебе на Фейсбуке.

— Когда?

— Дня три назад.

— Я больше двух недель не захожу в соцсети. И вообще в Интернет. После того как меня ограбили. И забрали айпэд. Я не читаю новости, ленты друзей. И я чувствую себя гораздо лучше. Свободнее, что ли...

— ...А с квартиры мне все равно надо было съезжать. Я нашла лучшую. А не отвечала... А что, ты думал, мы теперь будем всегда вместе? Я перееду к тебе жить... Мы купим новую мебель... Мы поедем в отпуск в Италию... Потом я рожу ребенка... И у нас все будет просто офигенно?

— Я ничего не думал.

— Зачем тогда задавать дебилские вопросы?

Я промолчал.

За соседним столиком мужик говорил:

— Я им говорю, что надо превратить в нал. У меня есть площадки, чтобы превратить в нал. Реальные площадки, серьезные. А эти все дрочатся, на стрелки какие-то ездят...

Я спросил:

— Ты у родителей остановилась?

— Нет, у подруги...

•

За окнами такси тянулся присыпанный первым снегом лес.

Я опустил стекло, выбросил мобильник.

— Что ты там выкинул? — спросил водитель.

— Так...

Водитель пожал плечами.

— Ну, это не мое дело. Куда летишь?

— В Москву.

Водитель кивнул.

•

Я поглядел на посадочный талон. До посадки оставалось больше часа.

Я сделал глоток пива, поставил бокал на стол. Посмотрел в окно.

Темнело. На летном поле стоял одинокий самолет.

Алексей Кудряков

Слепая верста

Из детства

С колосника упавший уголёк
вдруг осветил запечный уголок,
лесной полёвки
застывший ком — размером с мой кулак.

:

Не убоившийся кленовой палки,
слежавшийся из войлока и пакли
бескровный шар
темнел на кирпичах — напротив полки.

Я думал, как на скорое тепло
её под снегом мартовским влекло
к остывшей бане
и замерзали капли на стекле.

:

Так, между каменкой и штукатуркой,
в подпалинках морщинистая шкурка
меняла цвет,
дрова горели, как закат за шторкой.

Об авторе | Алексей Васильевич Кудряков родился в 1988 году в Свердловске. Окончил Уральский государственный лесотехнический университет. Публиковался в журналах «Звезда», «Знамя», «Сибирские огни», «Урал». Автор поэтической книги. Лауреат Новой Пушкинской премии (2014), российско-итальянской премии «Белла» (2015). Работает сторожем. Живёт в Екатеринбурге.

* * *

В эту зимнюю ночь говорить — что молчать.
Пусть звенит колокольчиком «call her moonchild» —
разгоняет полынный полуденный чад
над окраиной вьюжной,

полупамяти нашей монгольскую степь,
вдоль зелёной обочины медленный степ,
пикники и — сквозь время — побег-автостоп
растворяет в потоке.

Конопляное семя молочной реки
прорастает бессмысленным жестом руки,
выводящей последние буквы строки, —
перед тем как исчезнуть.

Проступает действительность снежным бельмом,
бесконечную даль затянуло бельём —
будто кто-то наутро постельным бельём
занавесил округу.

13-14

Фантазия

Не заросли густой сирени и
не тёмных глаз миндаль —
воспоминание: скорее слух, чем зрение,
сквозь полог времени и даль,
подёрнутую поволокой,
пленяется печалью волоокой
соцветий, исходящих ядом, —
восточным взглядом.

Не памяти движение — мотив,
волной качаемая зыбка,
фортепианный рокот — всполох — скрипка,
новорождённый ритм: прилив, отлив.

Мелодии отяжелевшей гроздь,
томимая лиловым жаром,
вплывающая бархатистым шаром
в ночь — лопается оболочка света — горсть
пятиконечных искорок, исторгнутых
из пламени и льда, — восторг иных
миров...

Не музыка — сводящая с ума
фантазия, которой грузом
последним служит видимость сама;
подобны драгоценным друзьям
видения —
сирень, мечты владения.

Алмаза угольное естество,
преображённое надмирным светом:
осуществлённая гармония, при этом
не разложимая на дух и вещество,
добро и зло в своём пределе.

Безумие, угаданное как
преодоление конечной цели
и антиномии, как следующий шаг...

Пространство, обречённое на убыль,
в котором скрылись от земного шума:
в Тамару

по водам
 влюблённый Врубель,
 идуший Шуман.

* * *

Семь наказующих стрел возлюбив умягчённым сердцем,
долу припав, ослабев от непогоды в ночи,
поодиночке, во тьме египетской, шёпотом вси рцем:
— Взвейся, душе, опустишь — здесь ты, что ветер, ничья.

Хладно дыханье земли — растворение малых возд хов, —
общей рогожею нас всех покрывает до стрех;
тесно в российском зимовье от причитаний и вздохов:
старше последних времён первый младенческий страх.

Жертвенность и самосуд. — Частицу, душе моя, вынь — и
наше, себе приобщась, ввек естество не умрёт.
Будут умашены — родостамой, росой благовонной,
маслом — земные тела, сиречь: гниенье и смрад.

Смерти, душе, не страшись — прозябания зыбкого лона:
за огородами здесь те же болотные рвы,
жижа и торф — студенец исления. — Будто из тлена
не прорастают аир, вереск, осока-трава.

Самостью горней полна и времени единосушна,
бренной надеждой не грезь, нам немотою грозя,
ибо с глаголом в устах отверстых мы страждем изящно:
что нам слепая верста по непролазной грязи.

Александр Киров

Другие лошади

повесть

Все эти ждут моего новоселья. И дело даже не в новоселье. Все они просто ждут. И так совпало, что новоселье мое — первое по счету событие.

А я-то, собственно, охранник в колледже. По совместительству — сторож. И зовут меня Максим Максимыч. Как в романе у Лермонтова. Чтобы вы голову зря не ломали. А эти... Эти называют меня Максимка. Тоже ничего. Фильм такой был. Помню, смотрел его в детстве. Но уж Максимка... Сорокалетний мужик. Вдобавок, тот Максимка был негр, а я не против, конечно же, негров, но только негром быть совсем не хочу. Да и про этих писать не буду. Неинтересно. Они ведь что... Работают, пока ногами вперед не вынесут. Ни пользы уже от них, ничего. А все корпят.

Я думаю так. Хочешь ты работать, или, например, надо тебе работать: детей кормить, внуков подкармливать — так ты трудись на здоровье. Но уж выбери себе что-нибудь по силам. Вот, например, я. Сижу себе за стеклом, в будке. Газету читаю. Ежели что не так, например, снаружи — полицию вызвоню. Ежели что не так внутри... У здания внутри, то есть. Директору брякну. Вот извини, мил человек, ты начальник, я дурак, времени два ночи, а в душевой краны рванули. Изволь-ка. А он, директор, откашляется спросонья и скажет:

— Благодарю за службу, Максим Максимыч! Я здесь дневной директор, ты — ночной.

Ну, я вытянусь по стойке смирно, на стуле сидя:

— Рады стараться.

Через полчаса уже едут, бегут, крутят. Краны то есть. А чего их, спрашивается, ночью крутить? Днем их крутить надо.

Одно плохо — волынка обычно на всю ночь, а мне и не поспать. Сижу за стеклом, в газету глаза пучу. А в газетах — одна фигня. Честное слово. Вот взять хотя бы девяностые. То еще времечко было, конечно. А газеты — любо-дорого. Оне выходили редко да метко. От номера до номера ждешь, как, бывало «Семнадцать мгновений весны»: «Свистят оне, как пули у виска... Та-та-та-та...». То все наладится через пятьсот дней. То жида Расею просрали. То русские. То американцы. Благодать! А теперя о чем писать? Все просрано.

И курить негде.

Запретили курить.

Об авторе | Александр Киров — прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1978 году. Лауреат Всероссийской книжной премии «Чеховский дар» в номинации «Необыкновенный рассказчик» (2010) и премии имени Ивана Петровича Белкина в номинации «Выстрел» (2013). Постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — повесть «Деревня Русь» (№ 2 за 2015 г.). Живет в г. Каргополь Архангельской области.

Мне хорошо. Я — бросил. Сажу да похихикиваю.

А дети, бедные, курить бегают в соседнюю сарайку.

Я раз туда из интереса заглянул. Хапчиков там — гора. И у дверей место, чтобы было куда встать. Спрашиваю у хозяина, бухарик местный, что ты, мол, об этом думаешь.

— ...

Так и поговорили.

Потом он сарайку на замок запер.

И что началось...

Зима, ветер, а все на берег бегут. Раньше на речку бегали топиться, теперя — курить.

А еще какую-нибудь мамзель достанут порядки эти. Выйдет она на перекресток — демонстративно. И задымит. А юбочка коротенькая. И декольте сквозь черное пальто сверкает. На время десять. На ночь двадцать пять. А я все сквозь стекло вижу. Которое на улице.

Когда такая борьба с курением идет — какое тут может быть здоровье? Один заболел — все заболели. И я туда же. Пространство-то общее.

Больница у нас тоже... тот еще колледж. Заходишь, на стекле (прямо как в моей будке стекло) прозрачный намек: «Записи к терапевтам нет». Записи нет — очередь есть. Через час к терапевтам все же меня записывают. Даю подписку о том, что, ежели залечат, прошу в этом никого не винить.

В другую очередь встаю. Рядом Боря Богданов, пахарь.

— Не те, — говорит, — нынче времена.

— Не те, — вздыхаю.

— За что раньше вышку давали, теперя штрафуют. Да и за все остальное тоже, чтобы уж не думать.

— За все... Сейчас и студенты не те пошли.

— Да вобще люди другие пошли, — вздыхает Боря.

Молчим. Борис добавляет:

— Сейчас и лошади не те пошли. Другие лошади.

Я только руками развожу.

Молчим. Еще молчим. Молчим еще три часа. Тут еще полицейские на профосмотр ломятся. «Наберитесь, — говорят, — терпения и ожидайте очереди». Здоровые все парни. Пузатые.

А врачаха у нас худенькая и одна. Остальные свинтили. Эта, наоборот, приехала. А зря приехала, честно признаться. Зачем — этого я до сих пор понять не могу.

И вот па-да-рокс.

Больница новая — врачей нет.

Эх, и ружья у нас есть, да некому стрелять. И кони есть, да некому скакать. Да и кони. Как Боря сказал, не те стали.

Захожу на прием, врачаха мне:

— Здравствуйте! У вас нездоровый вид.

Сама молодая, незамужняя. И мужика нет. Это я по глазам вижу. А я мужчина видный! Росту во мне метр шестьдесят — метр восемьдесят — не помню. Ну и весу кило восемьдесят — сто двадцать — тоже запомнил.

— А чего ему, — спрашиваю, — быть здоровым, если я, например, больной.

— Раздевайтесь, — грустно так уже она говорит, потому что поняла, что я такой, как все.

А как все, то есть сидеть ей в девках.

А что как все, так это потому, что склочный.

А склочный — это я затаился. Потому — не люблю давать пустую надежду. А сердце мое уже отдано навеки. То есть я поступаю как человек порядочный, а она от этого грустит.

— Раздевайтесь. Надо вас послушать...

Знамо дело...

— Температуру меряем.

Сует мне градусник. Сервис все хуже. Эдак, думаю, ты меня отравить вздумаешь на почве неразделенной любви. Но молчу, молчу.

А она рецепты строчит. Я туды заглянул — мать честная! Лекарства-то одно другого дороже!

— Постой, постой, — говорю. — У тебя тут, как в стихотворении Лермонтова: смешались в кучу кони, люди...

Она как вспыхнет! Сунула мне рецепт этот самый — да и выставила вон.

— Не забудьте, — кричит, — мочу сдать!

Со смыслом кричит, конечно же.

Только я посмеиваюсь. Иду выписывать больничный лист.

Там все просто. Одно сложно: не могу все эти буквы запомнить, как колледж правильно называется. Приходится бумажку из кармана доставать: гэбэо-уэспэбэоо...

Звоню на работу. Как заведение у нас правильно кличут? Кстати, извините, что сегодня я на больничном. И завтра тоже. И еще неделю.

Звоню с мобильного телефона, потому причастен к цивилизации. Телефон у меня старый, треснутый, на котором надо кнопки нажимать, а не пальцем водить.

Дома порядок. Чистота и уют холостяцкого жилища. Кот, падла, орет под дверью, но и он замурлыкает, как я дам ему молока.

Варю суп. Сегодня что? Что-что. Среда — вот что. Среда. Сре-да. Так, что у нас по средам. Эти говорят: по средам, мать их. По средам у нас работы на верхнем этаже. На чердаке то есть.

Вобче домик мой неприятельный на вид. Снаружи то есть. Я и взял его по дешевке. Барыга, который продавал, на меня посмотрел... С одной стороны посмотрел, с другой... «На твой век, — говорит, — хватит». Выгляжу-то я постарше, чем на сорок. Жисть помяла, что сказать. Было мялово, было. Ну и хрен с ним.

Чу! Звонят. Эти говорят: звонят. Но я на больничном, потому всю неделю мне звонят, даже по средам. Только кому я, спрашивается, нужен, чтобы всю неделю мне звонить? Кому-то, видать, нужен.

— Здрасьте, Максима Максимыча можно?

— У нас всех можно, — с юмором им отвечаю.

А они не смеются. Ну да и ладно.

— Это врач... Да-да. Простите, забыла еще одно лекарство выписать.

Тут я, признаться, вспылл. И так пятьсот рубчиков из кармана вынь да положи.

— Вы, — говорю, — как в стихотворении Лермонтова: «И кто-то камень положил в его протянутую руку...».

— Да не расстраивайтесь, — смеется она по ту сторону. — Вам не нужно опять в поликлинику тащиться. Муж вам сейчас рецепт завезет. Адрес-то у вас какой?

Сказал адрес.

Она и трубку повесила. То есть отбой дала, как говорят.

Нынче ведь что... Если идет по городу человек и сам с собой разговаривает, все понимают: занят мобильной связью. А в моей молодости... Выйди ты на ули-

цу, да сам с собой заговори, да засмейся, да заматюгайся... Скрутят. Навалуют. Увезут и пролечат. От чего? От всего. Для профилаткити.

Чу! Звонок в дверь.

Еще звонок.

Да иду я, иду. Звонарь. Ошибочка вышла. Ошибся в женской типологии. Может, она при живом муже... того... как без мужа? Поглядим.

Открываю.

Не. Нормальный стоит. С косичкой, правда, но это теперь как по городу одному идти с разговорами.

— Вот, возьмите. Совсем у меня женка заработалась.

Тут я и спрости, что меня мучило и покоя мне не давало.

— Мил человек, по кой ляд вас принесло сюда, в нашу тамань-глухомань?

Он хихикнул, посмотрел на меня иронически. И говорит:

— Да все как в стихотворении Лермонтова: «Я жить хочу! хочу печали...».

Ну я его и выставил. Не люблю, когда Михал Юрича зря беспокоят.

...Ем суп. Еще ем. Заедаю черным хлебом. На хлебе сало. На сале чеснок. Пузо растет. Это плохо. Холестерин, сахар в крови. Но полезно и простуда не так липнет. Вдобавок надо. Ибо я болею. Посуду буду мыть вечером. Кот жрет кости. Наливаю ему еще молока. Хорошо. Если бы у меня был голос, я пел бы в опере: «Мы пьем из чаши бытия...».

С этой мыслью я ложусь спать.

Сны — это особенное, важное, но не интересное постороннему взгляду поле. Расскажу лучше, как я сплю. На животе. Упершись лбом в край кровати, отчего на черепе к моему просыпанию набухают две борозды. Почему две, а не одна, этого я не знаю. Сплю, подвернув под себя руку, чаще левую. Рука затекает, и я все боюсь, что она возьмет да и не отойдет однажды. Рука. Храплю во сне. Могу позволить. В поезде, правда, раньше будили и настроение посреди ночи портили, так что дальше уж не спал, а ворочался. Сами зато...

А эти во сне вряд ли храпят. Ин-тел-ли-ген-ци-я. А детки, поди, похрапывают. Даже девочки.

Просыпаюсь, ползу на чердак. Я его утеплил. Все хорошо, только вход сделал очень уж узкий. По-другому никак не получалось. Стропиловка особенная, а я косяки по стропилам выставлял, чтобы тяжесть равномерно распределить. И лестница неловкая. Обратное же — дверь в кладовую прямо под чердаком. Пришлось о стеночку лепить. Сорок два сантиметра шириной лесенка получилась. Зато крепкая, хрен сломаешь. Хоть я мужчина и в теле. Говорил уже.

И еще один минус. На чердак стало нельзя поднять ничего крупного — в дверь не лезет. Вот и теперь, обливаясь гриппозным потом, подтащил я сначала под чердачное окно, которое со двора, значит, старый стол из сарайки. У стола крышка снимается, так я ее в сторону пока отставил, а стол тяжелый этот веревкой обмотал. И ползу на чердак. Окно открыл, спустился обратно. Спина уже сырая. С улицы в окно стал веревку кидать. Не попал. Заматюгался. Веревку отвязал, полез на чердак. Там к ручке оконной ее примотал и концы вниз бросил. И сам тоже вниз полез. Внизу привязал веревку к столу — и наверх. Трусые уж и те мокрые.

Наверху веревку от ручки оконной отмотал и давай аккуратно стол поднимать. Как в стихотворении Лермонтова: «По небу полуночи ангел летел...». Только стол и в полдень.

Кое-некое затащил стол на чердак. Веревку отмотал. Снова примотал к оконной ручке. Полез вниз столешницу приматывать. Потом опять наверх. Чувствую — в обморок сейчас хряпнусь. Но ничего, стою. Еще и столешницу

тащу. Впихнул ее. Стол собрал. Рухнул на пол. Как в стихотворении Лермонтова: «В полдневный жар в долине Дагестана...».

Полежал. Встал. Мелочи остались. Стол перетащить из одной части чердака в другую. А оне дверью разделены, а проем, мать его, узкий. И стол в него не лезет. Застрял. Это, значит, что? Надо на веревке его обратно спускать и поднимать в другое окно, которое на стороне улицы?

И тута обозлился я. Лермонтова опять вспомнил: «Как демон, коварна и зла...». Взял доску, которую до этого от косяка открутил, да как по столу Еееее...

Зашел!

Зашел старый добрый стол в новую часть ветхого моего здания!

И я праздную удачу, я весел и благостен.

Устанавливаю стол во втором отсеке.

В первом у меня на стенах старые иконы, что от бывшего хозяина непутевого, а вернее, от его предков благоверных остались.

В третьем пока ничего, но я знаю, что туда со временем поставлю.

Во втором стол.

На стол укладываю: самовар, патефон, статуэтку купца Серкова, обычный, но старый чайник. Вкруг стола ставлю три венских стула, старинное кресло, два табурета.

Все!

Ползу вниз.

Еще ползу.

Как в стихотворении Лермонтова: «А мачта гнется и скрипит».

Тоже скрипнул пару раз. Чеснок, сало, калории. Да и возраст уже. И что самое главное — никто не слышит.

Отдохнув, принялся доживать средю.

Устал я сегодня раньше положенного, могу позволить, ибо появилось у меня свободное время. Остается только его потратить. Но телевизора в моем жилище нет — не держу. Книг тоже не читаю. Вспоминаю, что давным-давно не ходил в гости к знакомому писателю, который живет в другой части города.

Туда и отправляюсь.

Вобщем перед визитами куда-то принято туда звонить. Но я этого не делаю. Когда я звоню, люди не берут трубку или нажимают отбой. Я сам хоть и не писатель, но сила моего слова такова, что общаться со мной хочет далеко не каждый, вернее сказать, мало кто хочет, а еще правильнее — может. Но я терплю и не обижаюсь. Люди... Как в стихотворении Лермонтова: «Прощай, немытая Россия». Все-то у нас на букву бэ. Бесхозяйственность, безалаберность и так далее. Пьянство на другую букву, зато оно у нас беспробудное и на одну букву с педагогикой. И это я не устаю повторять всем, в том числе и писателю. Потому и не берут люди трубки.

Думаю обо всем этом невесело, пока одеваюсь; выхожу из дому, топаю до перекрестка.

И надо же случиться, что на перекрестке я встречаю директора.

— Так-так, — вместо здорово живешь начинает он, — сам болеет, а сам дома не сидит.

Вроде и в шутку сказал, а вроде и серьезно.

— Да, — говорю, — как в стихотворении Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу...». Такой вечер, значит... И микробы обратно же на свежем воздухе дохнут.

Пошутить.

Двигаюсь дальше.

И опять встреча. И снова такая, что и не хотелось бы, да вот...

Братан троюродный пилит.

— Здорово, — говорит.

— Здорово, — отвечаю. — Денег нет.

Ну ему неловко стало.

— Да я тебя, — сопит, — про деньги и не спрашиваю.

А сам здоровый и пьяный. Может и позабыть, что брат. А мне с ним разве сладить? Я же росточку-то... Метр восемьдесят — метр шестьдесят. Да и пузо у него поболее моего животика будет.

— Да и я не спрашиваю, — поспешно говорю ему, пока он не закипел, как бабушкин самовар.

Брательник мигом успокаивается.

— Я тебе завтра долг отдам.

Подумав, добавляет:

— Через неделю.

Стоим и молчим.

Глупая, если разобраться, ситуация.

— А я, — говорит, — пью. Сдуру.

Эка удивил. Вот если бы наоборот.

Но огонь беседы следует поддержать, если имеешь дело с родственником, да еще буйным.

— Сдуру, — говорю, — можно хер сломать.

Пользуясь моментом гармонии в братских отношениях, двигаю дальше.

У писателя в окнах темно, а дверь закрыта.

Но я-то знаю, что это он от меня прячется.

Стучу в окно. Одно, другое, третье.

Наконец дверь открывается.

М-дя. Роба у него, что у моего братана. Даром что не пьет. В завязке. Работает по ночам. Но я думаю, что не только работает...

— Слушай, — начинает он вместо «здравствуйте», — я тут занят немного...

Но я же мужчина габаритный. Впихиваю его в дверной проем. Захожу сам.

— Много да немного. Ставь чайник.

— Слушай...

Наклоняюсь к нему, принохиваюсь. А он и напрягся сразу. Привычка.

— Чего ты...

— Зубы у тебя гниют, что ли...

Писатель вздыхает и понуро ставит чайник. Мы уже на кухне стоим.

Писатель бросает заварку.

— Пожрать просто не успел, — оправдывается он.

— Ты с зубами аккуратнее, — раскачиваю я тем временем разговорную телегу. — А то один тут был... Сантехник. Приходит ко мне. Сделал все. «Пятьсот», — говорит. А я и руками замахал. «Из трубы, — говорю, — лучше пахло. Как с тобой баба-то спит?»

В таком духе беседовали еще часа два.

Наконец писатель сломался и стал разговаривать нормально и глубоко.

Мы стояли на крыльце его домика. Писатель курил, я сосал маленькую конфектку и думал, что проживу все-таки дольше, чем мой собеседник.

— Понимаешь, — начал он, — мне иногда кажется... Что я один на земле. Нет, я не болен, ничего такого. У меня есть друзья. Вернее, люди, которые думают, что они мне друзья. И даже есть женщина. Но все это как-то... иллюзорно. Об этом моя новая поэма. Нет, она не только об этом. Об этом, собственно, только одна из ее глав. Но вся поэма. Вся! Слышишь? Написана только ради этой гла...

Тут он прервался, потому что услышал какой-то подозрительный звук. Медленно прозревая, повернул голову, посмотрел на меня и увидел, как я писаю, стараясь попасть струйкой мочи между балясинами, на которых держались перила его деревянного крыльца.

Писатель тяжело замолчал, не прощаясь, зашел в дом и тяжело хлопнул дверь.

...Четверг был так себе.

Трясло и знобило.

Спал и видел во сне потоп. Спасался с несколькими выжившими на горе. Гору пытались взять приступом одержимые.

Еще спал.

Проснулся вечером.

Попил чаю и лег спать по-настоящему.

Ночью встал по нужде.

Оправился и поправился.

Дальше можно болеть по-хорошему, в свое удовольствие.

...Пятница. Подвал...

На поверку он оказался сырым.

В год обживания нового дома под полом сгнила картошка и взорвались банки с огурцами. А уж банки я закатывал будьте-нате. Сорок оборотов специальной машинки — не больше и не меньше.

Причина могла быть лишь одна: земляной пол в подвале. Недаром в мае ко мне в гости заходила вода. Набежала по щиколотку, но держалась долго, в многочисленных ямках и углублениях земляного основания.

И я сделал вот что.

Заказал у дорожников КАМАЗ песка и КАМАЗ щебня. Из строительного магазина мне привезли десять мешков цемента и пять рулонов рубероида. Из сарая притащил я бочку, зачихнул ее в подпол. Шланг к мотору-безбашенке, что воду в дом из скважины качает, прицепил. Мотор у меня прямо в подполье стоит.

И начал работу.

Рубероид расстелил по полу. Сверху сделал песочную подушку. Для этого ведрами таскал песок с улицы в дом, высыпал в подполье, запрыгивал следом и раскидывал лопатой по всей подпольной площади. Получалось утомительно. Тогда я опустил в подполье тачку и развозил песок по разным углам на ней. С подземной вагонеткой дело пошло быстрее.

Утрамбовав песочную подушку, я стал таскать в дом щебень. Щебень был не крупный, но все равно тяжелый. С ним я поступил так же, как с песком. Получилось — слой песка, слой щебня. Дальше надо было положить слой бетона. Самое сложное и трудоемкое. Всего стяжка должна была составить сантиметров десять-пятнадцать, в зависимости от ям в земле. Таким образом пол станет ровным, сухим, и вода больше не придет в мой дом без особого приглашения.

Прямо под крышкой оставил нетронутой площадку два на два метра. Кинул в подполье доски. Сколотил щит. По волокушам опустил в подполье цемент. Аккуратно сложил его, изолировал пленкой от влаги.

Потом снова занялся песком. Натаскав ведер сто, прикрыл пленкой, чтобы щебня в песок не попало, и кинул в подполье еще ведер тридцать камушков. Потом стал делать первый замес. Можно было, конечно, бетономешалку прикупить, но самая простецкая стоила тыщ семь, а толку от нее... В общем, решил сэкономить за счет физических ресурсов своего организма. Цемент с песком перемешивал вручную, по-армянски, на деревянном щите из некондиции, то

есть забракованных досок — говорил уже. Движения делал механически, словно сам был автоматом и поставил себя на определенный режим. С непривычки страшно потел и каждые пятнадцать минут делал перерывы. Потом втянулся. Когда цемент с песком от смешивания превращались в равномерный серый порошок, я делал из него горку, в горке — ямку, в ямку аккуратно вливал воду. Жидкий раствор перемешивал с сухим, все добавляя и добавляя воды. В определенный момент останавливался, закидывал совковой лопатой раствор в огромные ведра и укладывал в тот квадрат, который заранее планировал для бетонирования. В раствор кидал мелкие камушки, топя их в цементе глухими шлепками от удара лопатой плашмя. Сначала квадраты огораживал опалубкой, потом от опалубки отказался, приращивая новый квадрат к старому, затвердевшему с прошлой недели, и оставляя пологий маленький скос, к которому приращивал цемент недели следующей.

Сегодня двадцатый замес. Последний. Я автомат. Я перемешиваю, вливаю воду, перемешиваю, вливаю воду, перемешиваю... Разбрасываю.

Время внизу, вопреки расхожим представлениям, летит быстро. Потом радость. Как в стихотворении Лермонтова: «Отворите мне темницу, Дайте мне сиянье дня...».

...В субботу я заказываю продажных женщин.

Определился на четырех. Я их называю номер первый, номер второй, номер третий, номер четвертый.

Номер первый — жена. Это я условно ее так называю. Сисятстая дурында. Приходит с ночевкой и на завтрак жарит мне омлет, что входит в стоимость билета. В постели ничего такого особенного. Основательное крестьянское соитие.

Номер второй — дочка. В интимном смысле девочке этой далеко за тридцать, но и тут она умудряется косить под восемнадцать. Получается заметно, и в этом дополнительная прелесть. Природа обделила ее формами, но наградила несомненными актерскими способностями. Каждый раз я дарю ей чупа-чупсы, а она мне все, что связано с чупа-чупсами. Ночевать не остается. По недогляду может сожрать все, что не приколочено.

Номер третий — училка. У нее два высших образования, оба нищенские в денежном эквиваленте. И трое детей. Я спешно предаюсь с ней неким запретным удовольствиям и так же спешно выпроваживаю. К гонорару прилагаю три китайские машинки. Продаются в продуктовом магазине. Двадцать семь рублей штука.

Номер четвертый — боевой друг и товарищ. Женского рода, чтобы вы не удумали. Мы с ней разговариваем по душам — до, после и во время. А по душам, то есть о делах строительства. Ну и... Это, конечно, как бы так... Но одеты в комбинезоны цвета хаки. С молниями для быстроты... Иногда клеим обои или что-нибудь в этом роде.

Сегодня должна была прийти жена, но у нее тоже грипп, и поэтому я читаю стихи Лермонтова: «И прах бездомный по ущелью Без сожаления развей».

...В воскресенье я хожу в церковь.

Храм старый, каменный, с тринадцатью куполами. Как правильно называется, не помню. Церковь и церковь. Стоит на отшибе. Священник молодой, строгий. Дважды пробовал с ним поговорить, и оба раза он меня отчитывал.

В церкви полно бабок, а также пожилых женщин и женщин, отчаявшихся от жизни.

Они из другого мира и смотрят на меня как на постороннего. Своего постороннего. На посторонних настоящих, то есть случайно зашедших в храм, оглашенных, они все-таки смотрят по-другому.

В церкви два нефа. И это не привычное деление на летний и зимний приделы. В церкви нашей всегда относительно тепло. Особенно если не снимать верхней одежды. Я не снимаю. Все время боюсь, что мне станет нестерпимо скучно во время богослужения. В одежде легче ретироваться. Только я еще ни разу со службы не сбежал. Скажу больше: ни одна служба не была мне в тягость. Каждая шла по-своему долго и по-своему незаметно во времени, которое в храме движется по-особому.

Так вот, храм. Иконы там старые, очень старые. Их воровали несколько раз, но все время они возвращались. Как-то само получалось. Алтарь... Такой... Резной. Я даже что-то помню с младенчества. Руки батюшки...

А в церкви у нас хорошо. Только люди на тебя смотрят. Но к этому в конце концов привыкаешь, потому что люди на тебя смотрят не только в храме. Просто в храм ты приходишь другим, не таким, как на улице. Вот, например, я. Да что я...

В моем сердце холодно.

В моей душе пусто.

А молитву я знаю только одну. Из Лермонтова: «В минуту жизни трудную...».

...В понедельник корабли в море не ходят.

В понедельник я ленюсь.

Я так подумал, что вести хозяйство и не лениться — это противоестественно природе человека. То есть я знаю людей, которые ведут хозяйство и не ленятся. Но люди эти такого свойства, что они могут рыть, к примеру, снег, а потом взять да и зашибить ни с того ни с сего лопатой соседскую кошку. И ладно бы только кошку. И ладно бы только лопатой.

Лениться я решил планово.

По понедельникам я читаю газеты, которые, хотя я про них уже и сказал раньше, но читать все же надо. Иногда читаю Лермонтова.

И неторопливо топлю печки.

Если честно, печки больше всего меня радуют в заполненном до предела и продуманном до мелочей быту домохозяина. В топке печей есть что-то космическое. Дым, например, который идет вверх. В морозы. А так — расплзается клубами вокруг закоптелой трубы и растворяется в мглистом и влажном воздухе.

В понедельник я ленюсь условно. Потому что надо ведь наносить дров на неделю вперед. А для этого сходить в дровяник двадцать один раз. Ровно двадцать один раз, укладывая на левую руку по десять поленьев.

В моем доме три затопки, то есть три печки. За один раз я сжигаю в каждой по десять поленьев.

Перед тем как наносить дров, я выгребаю из всех печек золу и угли. Подкладываю на подтопочный лист газету, кладу на нее таз. Выгребаю угли из глубины печи на колосник, через щели которого они падают в поддувало. А из поддувала совком вычерпываю их и осторожно, чтобы не напылить слишком сильно, укладываю в таз. Получается полный таз углей и золы. В дровянике у меня стоит бочка. Я быстро высыпаю таз в бочку, вверх поднимается туча угольной пыли, но я еще быстрее закрываю бочку перевернутым тазом.

Раньше я выносил угли прямо на огород, высыпал в снег. Потом я перестал это делать, потому что, во-первых, когда нападёт много снега, не пробраться будет к дальнему концу огорода и, следовательно, я буду сваливать золу и угли неравномерно; во-вторых, больно уж некрасиво получается во время оттепелей и по весне, когда черные кучи вытаивают из-под снега.

Есть, конечно, вариант: в ветреную погоду встать на том конце огорода, где ветер дует в спину, и пускать золу по ветру. Но это долго. Хотя и очень красиво.

Слово, которое больше всего подходит для печного дела.

Красиво, когда на полу у каждой из печек лежат ровные березовые дрова, а в корзине курчавится приготовленная для растопы бересты. Красиво, когда они аккуратно сложены в печи на широкую и длинную полосу бересты, чтобы не мучиться с затопкой. Красиво, когда занимаются огнем. Красиво, когда горят.

Но красивее всего, когда в прикрытой печке, словно глаза дракона, мерцают горы истлевающих углей. Сначала синим огнем — когда из них выходит угарный газ. Потом — красным: когда они дают тепло.

...По вторникам я делаю забор.

Двор у меня большой, знатный, соток на двадцать пять.

А забор сгнил.

Перво-наперво я придумал, что высотой он будет не полтора метра, как до этого, а два. Чтобы с дороги, из соседних дворов и через окна пятиэтажки, те, которые не скрыты кленом, не было видно, как я живу. Просто у меня есть подозрение, что старик этот наблюдает за мной в бинокль.

Придумав, какой будет забор, я заказал бревен и досок. Шестиметровые бревна распилил напополам, окорил, покрыл отработкой, маслом таким, отработанным, но замедляющим гниение. Концы, которые в землю зарюю, одел «рубашкой» из рубероида.

Доски прострогал. Заняло это много времени. Но зато не надо будет потом шкурить, с болгаркой раком ползать.

А далее что... Разбираю звено старого забора — собираю звено забора нового. Самое сложное — старые столбы. Их надо выковыривать из земли. Справляюсь ломом. Вкапываю новые. Камней предостаточно: в бане между делом печку старую разобрал, поставил железную. Проем только пришлось пилить, не залезала новая печка в старую баню.

Прибиваю прожилыны: толстые доски, которыми скрепляю между собой бревна. Потом на прожилыны прибиваю новые досочки. Одну к одной. Под рукою уровень, чтобы не уйти: вперед-назад, вправо-влево.

Сегодня был разморен, ослаб от гриппа. Но прошел шесть метров. Три столба вкопал, да на прожилыны посадил полсотни досок. Забор готов...

Шутки шутками, а больничный мой заканчивается.

И это уже шутки хреновые.

Вечером выхожу на работу.

Директор чтой-то припозднился. Останавливается у вахты, смотрит на меня.

Директор у нас мужик видный, еврей. Сам высокий, нос горбатый, очки на носу с толстенными линзами. А под линзами зрачки, маленькие и узкие.

Вот смотрит-смотрит он на меня, да как брякнет:

— Максим Максимович, не надоело еще выкобениваться?

Я только хмыкнул.

Тут он посмотрел на меня внимательно и глазами улыбнулся.

— Все понимаю, дорогой. Все. Но ты пойми, что дело без тебя стоит.

И директор кивнул на трех граций, что прошмыгнули мимо вахты.

— Ты же не простой учитель, Максим Максимыч, — продолжил директор свой исполненный пафоса монолог (я-то все же слегка улыбался). — Ты же учитель от Бога. Ты вьетнамца, корейца, американца можешь научить русскому языку. Я знаю, справки навел. И степень ученая у тебя. Где ты еще найдешь в нашей дыре учителя с ученой степенью? Давай, а?

Я все молчу.

Тут посмотрел он на меня уже сердито:

— Ну, что думаешь?

— А что тут думать, — отвечаю я ему, — это уже пройденный этап моей жизни. Как в стихотворении Лермонтова: «Я не унижусь пред тобою».

Взвился он, ногой топнул и вышел. Дверью дал так, что только стекла в будке моей собачьей задрожали. День да ночь...

И вот суббота, день продажных женщин. Сегодня ко мне пожаловала юная любительница низменных чупа-чупсов. И неизменных тоже.

Сосредоточенна и молчалива.

Уплетая после всех радостей ужин, она интересуется:

— Дяденька, а вы что, меня не помните?

Озадаченно почесываю пузо.

— Вы ведь Максимка?

Сурово поправляю:

— Кому Максимка, а кому и Максим Максимыч.

— М-м, клево. А я на последнем курсе у вас училась.

— Много вас у меня учились...

Тут чупачупсница кладет на скатерть вилку, вытирает полотенцем свой немалый рот и начинает выть во весь голос.

Выждав минуту, предлагаю:

— Может подосвиданькаемся?

Она кивает и опускается на колени.

Я вскакиваю:

— Домой, говорю, вали. И не приходи больше.

Она падает дальше на пол, сворачивается в клубочек и начинает тихо поскуливать.

Вторично почесываю пузо и думаю, что не выплую к утренней службе.

Но что тут поделать? Беру юную деву на руки и переносу на диван. Укладываю пластом. Сажусь рядом. Бурчу:

— Рассказывай.

Она и рассказывает.

Накопила на жилье. Взяла ссуду. Купила квартиру. Стала жить. Понравилось. А потом с работы выперли. С основной. Стала брать деньги у знакомых бандитов. Отрабатывала телом. Выяснилось, не отрабатывала, а отсрочку делала. Теперь отдавать нужно. Бандитам.

— Помоги, а?

Смотрю на нее. Улыбаюсь. Качаю головой.

Ушла.

Как в стихотворении Лермонтова: «И любопытно пробегают глаза опухшие девиц...».

За неимением кого еще поиметь падаю в объятия к Морфею.

Ночью приморозило. Первый снег выпал. И почему-то не растаял.

Послезавтра на работу. Работа-работа: ни заработка ни выработку.

...Сижу за стеклом. Читаю газету. В полночь около спортзала пробежит крыса. Надо пойти посмотреть. Боюсь крыс. Каждый день ползаю дома в подвал посмотреть, не погрызена ли картошка.

До того как я затеял ремонт, у меня в подвале завелась целая крысиная семья. Ляжешь спать, а у них под полом визг, веселье, мать их. Так же весело они обходили крысоловки. А отраву ели не иначе как на десерт, картофеля опосля.

И я что сделал. Сварил кашки. Рисовой. И развел цементный раствор. Перемешал это все. И поставил прямо под крышку, через которую в подпол залезать надо. На следующий день зазвал бабку-соседку. Чаем напоил. Потом говорю,

так и так, баушка, не посмотришь, а то связываться самому неохота. Она: «А давай». Залезла. Орет через минуту: «Принимай, Макса!». И хренак полено снизу вверх. Я на полено-то посмотрел и обмер. А уж второе летит. И третье. И четвертое. И пяток маленьких крысятков. Все окончили в разных позах.

А на крысу у спортзала я люблю смотреть потому, что это не у меня дома происходит. О, побежала, падла.

Красотишша!

Поднялся на второй этаж. Прошелся вдоль стендов. Старые фотографии. Люблю на них смотреть. Черно-белые. А людей этих я не знал. И не узнаю их никогда, а все равно люблю.

В актовЫй зал зайти. Сцена пустует, и сквозь стекло на дощатый пол возвышения пробивается лунный свет. Сколько здесь откаблучено. Страсти! Сажусь в зрительный зал. Смотрю на темную сцену. И даже вижу что-то навроде спектакля. Представляю себя учителем. Вот пришел я в класс и рассказываю детям про войну. Так, мол, и так. Их было много, а нас было мало, но мы их туды-сюды. Рассказал. «А теперь, — говорю, — повторите!» Они потупились и молчат. «Повторите!» — с нажимом уже роняю. И чувствую, как между мной и детьми вырастает китайская стена. «Вы, — говорю, — изнеженные пустые ублюдки...» У них рожи вытягиваются, вытягиваются... «Пошли вон! — ору на них. — Вон отседовааа!» Они так бочком, бочком... Мимом меня, до дверей — и бежать, бежать. Остаются двое. Девочка и мальчик. И мальчик жалко так пищит: «Мы же знали». «Так почему молчали? — ору на них. — Так почему! Вы! Молчали!» Они вздыхают и тоже уходят.

Даже в ладоши пару раз хлопнул.

Ну пора и честь знать. Иду обратно в будку.

В целом дежурство проходит спокойно.

Раз кто-то на крыльце пошумел. Студиозы не иначе курить приходили да крыльцо метить.

Эх, делать мне нечего. Пять утра. Нешто телек глянуть в кои-то веки?

По телеку все муть какая-то.

К шести подустал немного и даже клюнул носом.

Не спал, так, вспоминал разное.

Вспоминал, как лежал в больнице и подышал. Настолько, что попросил дежурного врача:

— Доктор, — говорю, — а вы не могли бы меня убить?

— Что ты, дружочек, — отвечает, — это же грех. Во-первых, убийство. Во-вторых, самоубийство.

— Доктор, не надо меня убивать. Просто отключите мой мозг. Ведь это, кажется, еще не грех?

А он мне:

— Давай лучше Лермонтова почитаем. Помогает...

— Я уже читал. Много.

— То не в счет было. Настоящее чтение только сейчас начинается, — улыбнулся он.

А убивать не стал.

Выкарабкался я тогда.

Теперь вот сторожем.

...В семь тридцать семь явился завуч.

Вообще завуч мужик незлой, только козлит все время. Работа у него такая. И приперся сегодня раньше всех этих. Я с гардеробщицами как раз чаевничал за стеклом.

— Здрассте... — это я ему.

Встал, поклон отвесил, да еще и воображаемую шапку снял.

А он и глазом не моргнул.

Я не отстаю. С этойкой подобострастной осаночкой из будки — прыг — и семеню рядом. Девки хихикают. Думают, взаправду жопу лизать собрался.

— Чего невеселые? — спрашиваю. — Неприятности?

Он в другую сторону смотрит и — шире шаг, шире шаг.

Ладно, думаю. А сам сзади прыгаю.

Решил не ходить вокруг да около.

— А Бог, — спрашиваю, — есть или нет?

Он аж вздрогнул.

— Вам, — говорит, — заняться, наверное, нечем. А вы бы домой шли. По-спать после смены.

— Отчего же? — интересуюсь. — Я как движущаяся к совершенству душа тянусь к подобным себе. И спрашиваю вас... А вы...

Так мы до кабинета дошли, где завуч заседает.

Он внутрь заскочил и дверь перед моим носом захлопнул.

А я-то что знаю. У него уроки с утра. Мало у него уроков, часов пять в неделю. Но он сегодня неспроста рано приперся. Смотрю в расписание, ищу математику. Нет математики! И тут меня осенило. Эти же все на категории какие-то сдают. А мимо Валя катит, анатомша.

— Валентина Авывывывна (отчество забыл), — а кто у вас на категорию сдает?

— Из музыкантов кто-то, — Валя мне отвечает и катит дальше.

Смотрю: му-зы-ка. Кабинет шестнадцать. Тут как раз звонок звенит. И пилю я, значит, в шестнадцатый кабинет, ибо с завучем беседу не закончил, а договорить по такому принципиальному вопросу, как Бог, все-таки надо. Но по дороге задерживаюсь. В тридцать восьмом философия началась. И училка молоденькая, соплюха такая, рассказывает про теорию относительности.

— Все, — говорит, — относительно. Любая точка отсчета.

Заглядываю, пальцем ей грожу. Студизы хихикают. А она пятнами пошла.

— Закройте двери, — визжит.

Я и закрыл. Экая важность.

Двигаюсь дальше.

Вот и шестнадцатый, а там распевка.

Ле-ми-ле-ми-лееее... Та-танн...

Я дверь приоткрыл и в кабинет этот — шмыг. Там ряды стоят амфитеатром. Я наверх и забурился. Сел с краешку. Рядом с завучем. Студизы головами закрутили. А я ему тихонько:

— Бог-то есть? Или нет Бога?

Что тут началось... Он вскочил, заорал... За рукав меня схватил...

Через минуту директор прибегает. Шнобель блее белого. А значит, плохи мои дела. Под белы же рученьки меня — и в кабинет соответствующий. Прыгают передо мной, как добрый следователь и злой следователь. А я одно твержу:

— Если вы меня уволите, напишу заметку, что в колледже ведутся гонения на православное христианство.

Директор сразу осекся.

— Идите на урок, — завучу говорит.

Тот дверью хлопнул.

Директор ко мне поворачивается.

— И чего это вы устроили тут, Максим Максимыч? Я же ведь вам все... Я же ведь вас на часы звал... И зову... Человек вы умный, тонкий... У нас здесь прогнило все. Вы на это смотреть не можете. Понимаю. Все понимаю. Но еще одна

такая выходка — и вам придется искать новое место работы. А с вашим заболеванием... это будет непросто. И группу инвалидности вам не дадут. Попробуйте вы на уроки вернуться. Попробуйте. Думайте, в общем. А пока... Посидите еще недельку дома. За свой счет, разумеется. Примете решение — и дальше разговаривать будем. Идет?

— Хорошо, — отвечаю. — А вы не откажете ли мне в любезности?

Директор аж подпрыгнул, так ему приятно сделалось от моего вопроса.

— Да-да?

— У меня тут что-то вроде новоселья намечается. Как раз через неделю, в воскресенье, приходите ко мне. В шесть вечера. Вы будете, писатель наш, что по соседству живет. И еще пара человек из местного тык-скыть бомонда.

Директор кивает:

— Буду непременно. Выздоровливайте до конца. И думайте. Хорошенько думайте.

На том и прощаемся...

Почему дьявол обитает в женском образе? Я-то знаю. Но это уже вопрос посложнее. А правильно сказать, основной. Не то что на работе.

У тропинки к дому встречаю ее.

— Привет, — говорит она и молчит.

Я тоже молчу...

Она приходила ночью, так было условлено.

Все началось с того, что ее побили шальной февральской ночью. Кто-то расхристанный и злой считал, что она принадлежит ему. Она, конечно же, так не считала — вот и получила свое. Не сильно, однако обидно. Я оттащил идиота, пошел провожать ее до дому.

Она была в иступлении. Отпустить ее в таком состоянии я не хотел. Или просто так получилось. После плотского неистовства мы в изнеможении откинулись на подушки, разговорились и заново познакомились. Выяснилось, что она влюблена, однако со своим избранником быть не может. Она стала рассказывать мне о причинах, но взгляд мой упал на высокую грудь, я слушал вполуха, а после разговор и совсем прервался.

Проснулся один, под утро. Меня бил озноб. Все происшедшее я счел не более чем сном. Жизнь повалилась привычной рутинной.

Потом мы снова встретились. Так же, в общем-то, случайно оказались в одно время в одном месте, которое в течение ночи плавно перешло в постель.

— Знаешь, ты приходи ко мне, — сказал я. — Не буду больше запираеть дверь. Просто приходи и буди меня, когда вздумается.

В моей просьбе было что-то нищенское. И наутро я посмеялся над своей холостяцкой взрослой причудой, но дверь и вправду закрывать перестал.

Примерно через неделю проснулся оттого, что она прижалась ко мне. И была еще одна ночь.

На этот раз она заснула. Утром встрепенулась: «Бабка убьет меня». Я предложил отвести ее домой, объяснить. Она усмехнулась: «Выкручусь как-нибудь».

После этого ее не было месяц.

Я уже собрался было закрыть на ночь дверь, но тут она позвонила, сказала, что придет. Когда шел к телефону (она позвонила на домашний), твердо знал: это звонит она. После ждал-ждал. И заснул. Она разбудила меня часов в пять.

Пили чай. Курили. Хотели заняться любовью, но сон свалил нас раньше.

— А ты чего ловишь в жизни? — спросила она во время следующего свидания.

И призналась, что влюблена.

Я сказал, что тоже влюблен, но возлюбленная моя далеко и вернется нескоро.

— Вот видишь, — отрывисто произнесла она. — Прорываемся и не можем прорваться. Давай прорываться вместе. Может, из этого что-нибудь выйдет?

Я пожал плечами. Обнадеживающе пожал плечами, словно отвечая: «Почему нет?».

Во время следующего свидания она попросила, чтобы я почитал ей что-нибудь. Выслушала пару стихов. Лермонтова. Задумалась.

— Нехорошо это. Чужое! — обронила она через минуту после того, как я закрыл книгу.

Я пожал плечами.

— Ты знаешь, я больше не приду, — сказала она через месяц.

— Жаль.

Я встретил ее еще один раз, случайно, днем. Она вскользь и не глядя в глаза сказала, что добилась своего и теперь с тем, кого искала.

«А ты?» — осторожно поинтересовалась она. — «И я».

Потом она побежала к любовнику, а я вернулся домой и погрузился в уже привычную бездну своего одиночества...

— Ну что? — спрашивает она сейчас. — Как живешь?

— Регулярно, — отвечаю. — Приходи в воскресенье.

— Часиков в шесть? — интересуется она.

Я думаю. Еще думаю и возражаю:

— Нет, в семь...

Дома чердак. Чердак сегодня дома по плану у меня.

Пилю доски. На улице. Строгаю. Холодно. Ранняя зима не унимается. Руки замерзли и стали красные, грубые на ощупь.

Рубанок плохой, с восьмидесятимиллиметровым ножом. Приходится два раза водить по каждой стороне дюймовки. И все равно заусеница остается. Ладно. Не свадебные дрожки мастырим.

Подымаю доски на чердак. Двухметровые, потому по три штуки. По четыре тяжело, неудобно. Последним ташу шуруповерт и ведро с саморезами. Молоток и гвозди тоже прихватил. Жужжу, подколачиваю. Концы саморезов обламываю ударами молотка. Забыл, куда загибать: вправо или влево? Или вниз? Или вверх? Если саморез не обламывается, помогаю пассатижами. Готово.

Обед. Суп гороховый. Будь он неладен.

После обеда возвращаюсь на чердак. В заветном углу стоит домовина. Ложусь, примеряюсь. Кажется, даже немного вздремнул и видел ее, ведьму. Не сон, естественно. Так, вспоминал во сне.

Ничего на чердаке не изменилось, только добавились весы. Весы не весы — качель детская. Чурочка и досточка. Причем досточка-то в положении равновесия значится. И вот ведьмин голос говорит:

— Выбери!

— Чего выбирать-то?

— А вот чего. Слева — плащаница. Справа — пояс. Одно ты в окно выброси, а другое за это я спасу. Что выбираешь?

Я подумал и говорю:

— Мне все дорого, потому что...

— Так что же ты выбираешь? — нетерпеливо перебивает ведьма.

— Пожалуй, плащаницу.

— Оставить плащаницу?

— Да, оставить.

— Тогда выброси пояс в окно.

Тут все-таки я поглубже задремал. И чердак превратился в купол какого-то старинного храма. Если внутри купола находится. Взял я сверток. Досточка

весов сразу в пол уткнулась. Подошел к проему... Не окно уже — так, доски выбиты, обломки в туман щерятся. Смотрю. А пояса-то у меня в руках и нет. Свертка то есть. И понимаю, что это сам я спрыгнуть должен. Прыгаю, лечу и чую, что ведьма меня обманула. Не было на весах плащаницы. Одна была реликвия. Я сам. И ту, дурак, получается, изничтожил...

Утро. Выходной, грозящий стать рядовым событием. Жарю яичницу. Масло подсолнечное, вредное, которое пахнет маслом. Кидаю на сковородку черные сухари, слегка зажариваю, убиваю пяток яиц.

В подвале сегодня тоже, в общем-то, подведение итогов. Я туда не полезу даже. Надо решетки снаружи прикрутить. Осталось два дня.

Быстро закончив работу, иду к писателю. Он избирает хитрую тактику и не открывает. Подкрадываюсь к окошку его кабинета. Прыгаю и машу рукой. Жалюзи-то, дурак, не закрыл. Он страшными жестами указывает на компьютер. Я методично и неумолимо стучу в окно. Он ломается минут через десять. Приоткрывает дверь. Цепочку, падла, натянул.

— Слушай... Ну как сказать...

— Так не так, а перетакивать не будем. Выходи. Смотри, что я тебе принес. Он вздыхает и откидывает цепочку. На крыльце коробка.

— Не знаю, надо тебе или нет...

Вздыхаю и жестом предлагаю открыть прямо здесь.

Писатель тоже вздыхает, открывает и смотрит на меня как на полоумного... Точнее сказать, как на полоумного он смотрит на меня всегда, так что, пожалуй, он смотрит на меня как на олигофрена.

— На дне. Это не только пьеса Горького, но и в том смысле, что посмотри на дне.

Писатель наклоняется и смотрит. Он напряжен и не исключает возможности, что я его долбану по затылку.

— Фу ты... — устало улыбается он. — Приглашение?

— Послезавтра. Новоселье. Обязательно.

— Я... Я... У меня...

Смотрю на него со слезами в заскорузлых глазах.

Писатель вздыхает:

— Хорошо, приду...

Вечер был примечателен котлетами, тушенными в сметанном соусе. В качестве гарнира — гречка. Ночь прошла беспокойно. Какие-то пидарасы запустили петарды. Думал, война началась. И кабзды тогда моему плану.

Я так думаю: у каждого человека должен быть какой-то план. Иначе нельзя. У меня план есть. Завтра пойду в больницу...

Завтрак. Гречка с вечера, йогурт, сырок шоколадный, глазированный. Кофе молотый. Вчера молотый. Резвой трусцой двигаю в сторону больницы. Тут меня окрикивают. Брательник. Да только он серьезен и трезв.

— Слушай, — говорит, — друган помер. Надо гроб в морг занести, а он тяжелый. Гроб.

Надо помочь. Брат все-таки.

Как в стихотворении Лермонтова: «Его грядущее — иль пусто, иль темно...».

Ташим из ритуальных услуг гробик с крышкой. Ставим на крыльце морга.

Морг — сарайчик маленький. Холодильников финских в нем не имеется, что заметно даже в условиях ранних заморозков и первого снега, который, кстати сказать, начал стремительно таять. На душе по-прежнему радостно. Живой же.

Брательник дрожащими руками вставляет ключ в прочный замок. Тихо матерится. Наконец раздается характерный щелчок.

— Пошли.

Заносим гроб.

В любом деле главное — настрой. И дело не в бабке, свернувшейся калачиком на центральном столе. И не в толстом мужике с краю (у него трубка из горла торчит обрезанная). И даже не в кореше моего брательника с другого края, справа от входа. Кореш и кореш. Закрыт с головой. В брючках уже, и ботиночки начищены. Как боровичок, словом. В нос шибает запах. Самый-то супчик. И шибает он даже не в нос, а куда-то в диафрагму. Кое-как ставим гроб на пол. Бросаем почти что. Пулей вылетаем из морга. Жадно отдыхаемся. Лучшая антиалкогольная пропаганда.

Как в стихотворении Лермонтова: «Разлей отравленный напиток».

Молча прощаюсь с брательником и топаю дальше в больницу. А утро все-таки прекрасное. Хотел брата в гости тоже позвать, да ладно. Не тот, как говорится, случай.

В больнице очередь к врачу моему.

И без очереди пытается прорваться молодая чеченка. С ней мужик. С виду не муж. Брат, наверное. Как в стихотворении Лермонтова: «Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал...».

Вот и моя выглядывает.

Чеченке какую-то справку дает. Смотрит на меня:

— Случилось что-нибудь, Максим Максимыч?

— Случилось, — говорю. — Новоселье у меня. Приходите завтра с мужем к семи. Или хоть без мужа.

Врачиха аж зарделась, как девочка, только тридцатилетняя.

— Непременно, — говорит, — будем.

То-то же.

— Нашли время и место, — вздыхает в очереди пожилая учительница.

В колледже, помню, работала.

Врачиха вспыхивает.

Пойти костей собаке купить.

Ну, костей — это мягко сказано. Ведь надо же меню обдумать. Гости все же. Да еще какие. Да еще по какому поводу!

Какие варианты?

Вариант первый — рыба. Треска! Или уж хоть минтай. Ни в коем случае не путассу. Рыбу почистить. Обязательно соскоблить чешую. Это чушь, будто у трески нет чешуи. Выдрать черные пленки. Плавники отрезать. Хвост, естественно. Разрезать на пять-шесть кусков и хорошенько промыть. Хребет, говорят, можно удалить. Не пробовал. И не буду. Потом сметанный соус сварганить. Двести-триста грамм сметаны перемешать со столовой ложкой муки, добавить столовую ложку соли. Еще перемешать. Залить водой. Можно литровую банку взять. Еще раз все перемешать. Закрывать крышкой. Порезать колечками две луковицы. Хотя я режу три луковицы. Плеснуть на сковородку растительного масла. Рыбку положить. Подождать, когда зашкворчит. Перевернуть, если треска или чего там еще побелела. Подождать еще минуту. Залить сметанным соусом. Довести до кипения. Вывалить лук. Перца сразу можно насыпать. Горошком который. Листа лаврового. Порядок. И ждать час, пока все это великолепие на слабом огне томиться будет. Крышку снять, конечно же. Как в стихотворении Лермонтова: «Вот, друг, плоды моей небрежной музы...».

Костей купил. Думаю дальше.

В этот момент меня закрывают.

А просто так. Подходят двое. Показывают корочки. Настоятельно просят пройти с ними. Ну да ладно. Может, к лучшему.

— У нас машина сломалась, — говорит высокий молодой человек с модельной стрижкой и закуривает сигарету. Сигарета длинная, черная и ароматная. Принохиваюсь: ваниль, точно, ваниль.

— Пешком чапали, — роняет второй, тоже высокий, но не столь интеллигентный, а рыжий и веснушчатый. — Не узнал, учитель?

Узнал-узнал. За первой партией сидел, когда я имел несчастье сеять разумное, доброе, вечное. Да сеял-то, видать, не в то сито.

Идем по городку, как три мушкетера. Только я без шпаги. Кости куриные несу. Вообще — это не кости, а лапы. Скрюченные агонией. Если их долго не убирать в холодильник, почернеют. Можно пойти дальше. Одну лапку высушить и повесить на шею.

— Отпустите Максимыча, — раздается из кустов, мимо которых мы проходим.

— Максимыча отпустите, суки, — вступает второй голос.

Интеллигент заметно дергается, а рыжему все нипочем. Рыжий начинает пререкаться с невидимками из кустов.

— Не можем отпустить. Работа у нас такая. Да и накосячил наш Максимыч. Года три точно впаяют.

— Максимыч, мы те самые плохие ученики, из-за которых ты ушел из преподав, — несется следом из кустов.

А потом мрачное бульканье жидкости, наливаемой из бутылки в негромкую тару. Вероятно, пластиковый стакан...

Пришли. Уселись за стол.

— Пиши! — говорят.

Бумагу дали, ручки, конечно же.

А я сижу, как дурак, и думаю, что им писать. Когда тебя закрыли и не сказали, за что, писать непросто. Начнешь писать про одно, а окажется, что тебя закрыли совершенно за другое. А поскольку ты написал не про то, про что было нужно, — дважды добавят: за сокрытие и за старое. За старое, правда, скинут как за чистосердечное. Но это утешение так себе. Молча выбираю, в чем каяться.

«Я встретил свою первую любовь, когда поступил в универ, первого сентября, на лекции по Древнему Египту. Она сидела через две парты наискосок от меня и старательно записывала что-то в свою большую клетчатую тетрадь. У меня долго не хватало духу не то что признаться ей в своем чувстве, но даже заговорить с нею. Поскольку учился я блестяще и часто высывался на семинарах, она заметила меня и как-то раз обратилась за помощью... Она! За помощью! Ко мне! Потом я провожал ее по осенним улицам к зданию студенческого общежития. Мы долго стояли в вестибюле. Она смеялась. Когда я, набравшись смелости, безо всякого приглашения пришел к ней в гости, она познакомила меня со своим другом, и сердце мое болезненно сжалось. Однако она как-то незримо и без слов дала мне понять, чтобы я набрался терпения. И действительно. Через два месяца они расстались, и почти сразу мы стали встречаться с нею. Следующие пять лет были самыми счастливыми в моей жизни, и я не хочу особенно распространяться о них... Скажу лишь, что мы поженились. Нам выделили комнату для семейных. Темными зимними и осенними вечерами мы читали классику — каждый у своей настольной лампы. А весной, в мае, когда сходил снег, она сидела в своем милом халатике на подоконнике — вся в закате — и пересказывала мне параграф из учебника Реформатского. Мы закончили филфак с красными дипломами. Она нашла очень хорошую работу. На телевидении! С перспективой!!! Я, естественно, рядом... С телевидением. То есть по другую сторону экрана. Она забеременела. Но с ребенком мы решили обождать... Карьера... Понимаете?... Неприятно, однако многие через это проходят — и ничего. А она умерла.

Перебивался я лет десять, света белого не видел. Хватал мороку и водку. Нашлись люди. Помогли, подлечили. Оклемался. Смотрю — работаю сторожем в одной конторе. Нормально. На кусок хлеба хватает, а больше мне — куда? И не надо совсем. Жил-жил... И екнулся. В общаге рабочей через улицу девчонка-малолетка горе горевала. Сирота. Она учебу из последних сил тянула — в технике связи. Ну, стала ко мне захаживать. Я ведь мужик незлой. Не верите? И копейка водится. Снюхались мы с ней...»

Тут следователи запереглядывались, так как им позвонили и сказали, что накосячил не я, а мой брательник. Фамилия-то одна и та же. Меня и взяли. А город маленький, брательник узнал, да и пришел с повинной.

— А что случилось-то хоть? — спрашиваю.

— Да гроб в ритуальных услугах сперли.

— М-м. Если что, у меня есть домовина. Новая. Могу внести как залог или это... ущерб... Брат все же.

Следователи замахали руками и спешно выпроводили меня из кабинета. Листок с показаниями в карман сунули. Я его выбрасывать не стал. Пригодится печку растапливать.

Это все ладно.

Кости бы не стухли. Лапки то есть. Жалко песика-то травить.

Песик у меня особенный. Год назад он сорвал выборы. Ворвался в избирательный участок. Сожрал из буфета четыре котлеты в тесте. Перевернул урну и нюхал у гражданок под юбками.

Так, на чем я остановился? Гости-гости. Вариант второй.

Бедрышки. Это вам не куриные лапки. Можно, конечно, и окорок. Но это подороже будет. Хотя зачем, если подумать, мне сейчас мои сбережения? Как в стихотворении Лермонтова: «Да, я не изменюсь и буду тверд душой...».

Сковородка. Масло растительное, ну как без него? Если есть желание, можно помельче нарезать. Вкуснее будет. Курицу, конечно, не сковородку же. Перец. Можно молотый. Лучше тот, который горошком, растолочь пестиком. Ядренее. Молотый или размолотый перец на тарелочке смешать с солью. Сковороду разогреть. Обильно посыпая кусочки мяса, уложить их. Можно поплотнее. А посыпать целесообразнее с одной стороны. И этой стороной их в масло. А когда все лягут, сверху обсыпать непосыпанную сторону. Грязи меньше. Ставим на медленный огонь. И жарим. Да чтобы покрепче, покрепче зажаренные были. Чтобы во рту жгло, на зубах хрустело, в брюхе урчало...

Прохожу мимо тех самых кустов, где по жизни сидят мои бывшие ученики. Спасибо сказать за моральную поддержку. Забираюсь в кусты. Точно. Пьют. С девками. Всем уж за тридцать.

— А вот, — говорю, — и я. Это, конечно, не то чтобы мы встретились в процессе, которая идет по центральной улице, но все же. Как в стихотворении Лермонтова: «Пестрою толпою окружен...».

А они молчат. И я понимаю, что за «тупиц» и «ублюдков» меня так и не простили. Вот тебе и «к нам приехал, к нам приехал», простите за отступление от высоких образцов. Наконец Катька брякнула: «Раньше-то вы не Лермонтова цитировали, а Есенина». Что сказать? А я чего-то обозлился:

— Раньше-то и Есенин Лермонтова цитировал...

Развернулся и пошел.

И случай этот побольше жмура, морга и милиции выбил меня из колеи.

А тут брательник идет.

— Отпустили, — говорит. — В тюрьме все занято убийцами и насильниками. Гуляй до суда. А потом посадят.

Посмотрел я на него, посмотрел... да и говорю:

— Приходи-ка в гости ко мне. Послезавтра. К четверем.

И дальше двинул.

Третий вариант. Котлеты. Смотри рецепт первый — рыба. Вместо рыбы — котлеты. Остальное то же самое. Но котлеты сам делай! Я один раз писателя этого послушал. «Шницеля, — говорит, — мировые в «Эконом-класс» привезли». Потушил я мировые шницеля. Неделю потом осторожно ходил. Как Штирлиц. Оклемался, помню, выхожу на улицу. Смотрю, писатель рулит. «В «Эконом-класс», — кричит, — котлеты по-киевски привезли». Ну я его остановил, конечно, взял за пуговицу и говорю: «Слушай, писатель, готовая история. Ты потом ее в стихи переделай и печатай. В одной деревне жили-были старики. И пекли они очень вкусный хлеб. Но было у них две пекарни. В одной они хлеб пекли. В другой советчиков...».

Тут я вспоминаю особливость своего званого ужина, хлопаю себя по лбу, понимая, что именно приготовлю, и быстро закупаю продукты.

А кости стухли.

Бобик их есть не будет. Что ж. Положу рядом с конурой. Через пару дней сожрет. А там, глядишь, добрая душа какая-нибудь приютит его или уж хоть зарежет.

Да наплевать. Сегодня все приготовлю. А завтра у меня баня. Вот это да, баня.

Я даже в молодости стихотворение про баню написал. Все не помню, но четыре строчки остались:

А если Бог давал нам счастья тую,
Мы шли и пропивали туюсок.
Бежало время чистым банным потом
Промеж сосновых щелистых досок.

М-да. Не Лермонтов, конечно. Да и вообще с Лермонтовым придется расстаться.

Но это завтра. А сегодня нужно еще дело одно провернуть.

Оставив дома продукты, топаю в колледж.

Дневная вахтерша недоуменно смотрит на меня.

Уверенно шагаю в сторону учительской.

Быстро спрашиваю у диспетчера по расписанию:

— А где завуч?

— На музыку пошел. А вам...

Но я уже резво вышагиваю к хоровому классу.

Там поют: «Выхожу один я на дорогу».

— Хорошая песня. Лермонтов.

Завуч, сидящий в верхнем ряду амфитеатра, сереет, вскакивает с места и летит ко мне.

Студенты, кажется, делают ставки. Главное, успеть сказать ему:

— Приходите послезавтра! — кричу за три метра до себя.

Тут музыкантша неожиданно кричит:

— Девочки, мальчики, хоровод!

Студенты вскакивают с мест. Я крепко беру завуча за руку и шепчу:

— По-сле-зав-тра...

...Послезавтра превращается в завтра.

Можно денек передохнуть. Мое блюдо готовится за полчаса. Успею перед гостями.

И чему же посвятить день отдохновения?

Друзьям?

Нет их у меня.

Молитве?

Я молюсь только по воскресеньям.

От высоких раздумий меня отвлекает телефонный звонок.

Как в стихотворении Лермонтова: «Звонков раздавались нестройные звуки».

Нажимаю кнопку.

А она и говорит такая:

— Здравствуй!

— Ну здорово-здорово. Здоровенько.

— Как глупо. Встретились на улице. Столько лет не виделись. Встретились — и сказать-то друг другу ничего толком не сказали.

Помолчали. Тут она снова вступает:

— Я к тебе в гости. Можно?

Вздыхаю протяжно так и говорю:

— Приходи. Только по твоему плану не выходит ничего.

Это у нее мечта была такая. Раньше. Цитирую: «Мне часто кажется, как будто я возвращаюсь в наш город. Прихожу к тебе в гости. А ты лежишь пьяный. И не можешь пошевелиться. Но ты в сознании. Тогда я целую тебя в лоб и ухожу. И оставляю тебя за спиной».

Она:

— Ладно.

Я:

— Приходи завтра.

Она:

— Когда?

Я:

— Да чего тянуть? К обеду и приходи. Пока готовлю, поболтаем.

В трубке гудки. Хоть я и знаю, что до завтра она не придет, а может, и завтра не придет, но мне кажется, что она уже идет ко мне. Я чуть не сказал: кажется, что она уже пришла.

Не могу!

Быстро оделся. Вышел из дому и пошел сначала направо, а потом налево.

По дороге вспомнил, что так и не дал псу лапки, что лапки так и лежат у прихожей на полу и теперь уже начали разлагаться.

Взлетаю по знакомой лестнице. Бабушка, что ли, у нее тут живет или еще какая-то хрень.

Она открыла с первого звонка.

— Ого!

Естественно, что мы о чем-то говорили. И даже, кажется, пили шампанское. Но по-настоящему все началось на полу в гостиной. Продолжилось на диване. Замерло на кровати в спальне. Достигло своей кульминации в ванной. И закончилось в прихожей.

— Уходи, уходи, скорее уходи... — иступленно шептала она. — Сейчас старуха вернется. Мне с ней ругаться нельзя. Завещание перепишет. Я ведь только за этим приехала. Но я жду тебя вечером. Бабка спит крепко, не помешает. Ничего не ешь. Я буду кормить тебя икрой. С ложечки...

Естественно, что вечером, ровно в десять, я был у ее дверей.

Но ее не было дома. Так сказала сердитая старуха. А дальше я следил за ча-сами.

Ее не было дома в десять тридцать.

И в одиннадцать ее тоже не было дома.

В половину двенадцатого я пожалел о том, что ничего не жрал. Ухмыльнулся.

В одиннадцать сорок пять с легким сердцем сбежал по лестнице вниз.

Она стояла в подъезде, темном подъезде, рядом с закутком, в котором хранятся коляски и санки, курила и тихо смеялась. Дверь на улицу была приоткрыта, и я успел заметить, что снова крупными хлопьями полетел снег.

Но побрел не в белый снегопад, а следом за ней по серой лестнице вверх.

Забыл сказать: она держала меня за руку.

— Ты знаешь... — начала она на кухне.

Но я сразу перебил ее. Я как-то сразу перебил ее:

— Ты же не курила, ты бросила курить, — выпалил я.

— Тебе бы мои проблемы... — процедила она сквозь зубы.

И я тогда подумал, что наш разговор меньше всего на свете похож на разговор двух влюбленных.

— Извини, икры нет, — продолжила она после некоторого молчания. — И шампанского тоже нет.

— У меня дома есть изюм и рис, — говорю я ей.

— Хи-хи-хи, — отвечает она желчно.

А я-то и не шучу. И вот задумался.

— О чем? — спрашивает она.

— Как бы тебя развеселить.

— Прочти что-нибудь из Лермонтова.

— Давай лучше расскажу, что задумал...

И не рассказал, потому что она лишь вежливо пожала плечами.

Да и есть ли что рассказывать? Если честно, то нет. И завтра будет неловко. Ну придут они. Ну наполнят бокалы. Ну посмотрят на меня. А дальше? Стану я неловким. Забормочу что-то. Руки у меня задрожат. Тьфу.

Я обвел кухню блуждающим взглядом. Наконец взгляд мой наткнулся на нужный предмет. Я вскочил и вытащил из кухонного шкафчика хрустальную салатницу.

— А спорим, что я выжру полную...

— Оливье? — брезгливо поморщилась она.

— Водяры!

Она задумалась. Потом оживленно махнула рукой:

— А давай!

...Помню — водка тяжело отдавала средством для мытья посуды со вкусом лимона. Потом я, кажется, упал. А она вскочила. Начала бегать, кричать: «Что я скажу бабке? Что я скажу бабке?». После, как всегда, моя возлюбленная кое-что придумала. И я даже успел посодействовать ее плану. Ведь у каждого человека должен быть план. Конкретно: я дал накинуть на себя куртку, вышел из ее квартиры и кубарем покатился по ступенькам вниз. Первые десять ступенек помню, а дальше что-то все более и более смутно.

Метрах в пятидесяти от ее дома заснеженный овраг. Смотрю со стороны, а она меня мертвого туда через ночь на саночках везет. Тихо-тихо скрипит снег под полозьями этих саней.

Тихо-тихо.

Константин Гадаев

Меж третьим и четвёртым перегоном

* * *

Непроходимый дождь.
Зарылась местность в дождь вся.
Просвета и не ждѣшь.
А ждать начнёшь — заждѣшься.

Живи себе внутри
себя, судьбы, потѣмок.
Пока что говори.
А как потом? Потом как?

Нет никаких потом.
Закончилась эпоха.
Невкусный суп с котом.
Небесной кровли грохот.

Оптимистическое

Более лучше мы жить скоро будем.
Более лучше сидеть и стоять.
Выучат более лучшие люди,
как же нам более лучшими стать.

Более лучшие стройки построим.
Более лучше посеём-пожнѣм.
Более лучшие школы откроем.
Более лучшие бомбы взорвѣм.

Более лучшим здоровьем попышем.
Вырастим более лучших детей.
Более лучшие книги напишем,
полные более лучших идей.

Об авторе | Константин Лазаревич Гадаев родился в Москве в 1967 году. Учился на филфаке МГПИ. Служил в армии в Забайкальском военном округе. Сценарист и режиссер нескольких документальных фильмов и циклов программ о литературе. Автор книг стихов «Опыт счастья» (2005), «Июль» (2006), «Сквозь тусклое стекло» (2011), «Пел на уроке» (2014), «ВОКШАТСО» (2014). Предыдущие публикации в «Знамени» — № 8, 1996; № 12, 2001; № 7, 2010; № 8, 2012; № 9, 2013; № 12, 2014.

Нашему более лучшему Господу
более лучшие песни споём.
В более лучших больницах и хосписах
более лучшею смертью умрём.

* * *

Свет зелени, свет неба, свет воды,
свет тишины, свет музыки, свет слова,
давно не существующей звезды
свет... и т.д. Ну и по кругу снова.

Води смычком. Учитель терпелив.
Свет снега, детских глаз, вечерних окон...
Пиликай этот простенький мотив,
лови его в пространстве одиноком.

Там-трам-пам-пам. Свет ветра, свет коры.
Тари-ра-ра. Свет липовый, кленовый...
Гори, моя сверхновая, гори
последним светом... И по кругу снова.

* * *

Мчал двухколёсный мой Пегас
почти что без усилья.
Несли туда, где запад гас,
ветровки красной крылья.

Переливался небом плёс.
Поблёскивали спицы.
Мир стал большим. Из-под колёс
выпархивали птицы.

Ещё газку я подавал.
Душа летать училась.
Пространством время бинтовал,
чтоб кровью не сочилось.

И набирал я высоту.
Шин шелест обрывался.
Мир, погружённый в красоту,
в полёте открывался.

Я этот воздух встречный пил.
Дышал вечерним светом.
Кольнувший колокольни шпиль
мне был на всё ответом.

Он с ветром выжимал слезу
и пробивал на жалость,
уча любить то, что внизу
любить не получалось.

Пожар в окошках на закат,
трубу котельной, пристань...

У каждого своя тоска.
 Всяк сам собой не признан.

В коросте кровель городок,
 глядишь ты, и спасётся.
 На первый наскреби глоток,
 а дальше понесётся.

Такую песню пропоёт,
 что мало не покажется,
 что жизнь — пусть задом наперёд —
 сама собой расскажется.

* * *

Попытки припомнить маму —
 живую до изумления:
 как вместе ходили в баню,
 в женское отделение.

Как незнакомая тётя
 обмоталась простынкой:

?

И мама сказала: .

Как шрам от младшего брата
 невъжившего я трогал.
 Как — лёгкие — шли мы обратно,
 и мамой пахла дорога.

Время

Сцепленье оржавелых шестерён,
 зубцы в зубцы, со скрежетом и скрипом,
 доносятся из тьмы со всех сторон
 людские стоны, возгласы и хрипы.

Оборонить трепещущую жизнь
 не в силах наше жалкое геройство.
 С какою целью пущен механизм
 тупого смертоносного устройства?

Похрустывает чьими-то костями,
 полязгивает ножницами стрелок...
 И вот, кто были только что детьми,
 нуждаются в присутствии сиделок.

А тиканье всё громче, всё грубей,
 почти не слышно музыки прекрасной.

Тик-так! Тик-так! Убей его — убей!
 Всё, чем он жил, нелепо и напрасно...

.....

Прищурясь на свету, едва дыша,
 теперь уже лишь Господу пригодна,

поворотится к вечности душа,
помедлит и почувствует — свободна.

Переулоч Хользунова

Малость солнца в гаденьком декабре.
Дореволюционная архитектура.
Призраки юности, курящие во дворе,
так и не оконченной alma mater.
18 почти. Не дают отсрочки.
Строит глазки с параллельного курса дура.
Ветерок доносит обрывки мата.
Сердце выстукивает: три точки — три тире —
три точки...
По левую руку — Военная прокуратура.
По правую — Анатомический театр.

* * *

Писателишка разве что поддатый,
воображеньем явно небогатый,
ероша вдохновенно волоса, —
придумать мог фамилию Солдатов,
чтоб написать о гибели солдата
от дедовщины в доблестной СА.

Но он не станет этого писать.
Всё это было с кем-то и когда-то.
Забыты и лицо, и смерти дата...
Вот только он и вправду был Солдатов.
Солдат Солдатов. Что ещё сказать?

* * *

Был под лопатками твоими тёпл песок.
Был под коленями, чуть позже, мягок мох.
Безлюдный берег был. Прибрежный был лесок.
Я оторваться от тебя никак не мог.

В одно мешались крики чаек и твои.
Ещё мы страсть не отличали от любви.
Мы не чужие в этом мире. Мы свои.
По морю юному плыви, любовь, плыви.

Мы не чужие в этом мире. И пока
ещё плывут над этим морем облака,
мы не умрём наверняка, наверняка...
Так я шептал тебе. Прости уж дурака.

* * *

Хотел бы я остаться неофитом
нелепым, пылким, неосведомлённым,
любовью первой во Христа влюблённым
и уж совсем не православным с виду.

Во сне кудрями к поручню прильнувшем.
 Как у Эль Греко, заключённым в кокон
 учеником, ещё не обманувшим
 надежд. Красивым, юным, одиноким.

Меж третьим и четвёртым перегоном
 расслышавшим сквозь грохот под землёю,
 как прокатилось по пустым вагонам:

!

* * *

Стыд не в тренде. Устал кукарекать кочет.
 Я не с Ним. Я с вами, ребята, с вами.
 Это кто там строем шагать не хочет?
 Это кто там пошевелил мозгами?

Отстоим в боях наше правое дело!
 Бесполезно их вразумлять словами.
 Что-то там говорил Он про кровь и тело...
 Что? Клянусь, не помню. Я с вами, с вами.

Пусть судимым, битым, распятым будет,
 кто нарушит строй! Виноваты сами.
 Хороши на марше сплочённые люди!
 Я не с Ним. Я с вами, ребята, с вами.

.....
 В блеске лат и копий прошла когорта...
 Отвернулся Пётр и плакал горько.

На платформе

Только чиркнул зрением боковым
 по лицу случайному в электричке,
 проходящей с грохотом роковым, —
 в тот же миг в руке загорелась спичка.

Неужели — я? Двадцать лет тому,
 на свиданье мчащий к тебе в Хотьково.
 Ох, навряд ли грезилось мне
 превратиться в дяденьку вот такого.

И пока вагоны мимо неслись,
 язычок в ладонях за жизнь цеплялся,
 обнажая обугленный хрупкий смысл,
 обжигая замёрзшие пальцы.

* * *

Не обольщайся. Музыка тверда.
 Она и не таких творцов смиряла.
 Чтоб выстоять, испытывай всегда
 сопротивление материала.

Есть видео: работает отец.
 Зубило, молоток, массивный камень.

Дашь слабину — и музыке конец.
Скульптура обернётся истуканом.

Не самочинствуй. Музыка тверда.
Скупа её спрессованная память.
Ей ровней стать не пробуй никогда:
очнёшься в темноте, скрипя зубами.

Она годами ждёт. Как тот гранит
(к нему отец так и не подступился),
что на могиле мир его хранит,
врос в землю и до срока затаился.

* * *

Когда и как слетел и лёг,
кристаллизован, чист, легок,
не уследил, не спраздновал...
Куда я так опаздывал?
О чём таком душа пеклась,
где ум искал ответа,
пока бесшумно ткань ткалась
из холода и света?
Кто вспомнит — посреди двора
чертановского киндера,
что блёстки с криками «Ура!»
лопаткою подкидывал?
Как стягивал, блестя звездой,
цигейковую шубку
ремень солдатский... А с тобой
судьба сыграла шутку.
Но с этим мальчиком навек
ты честным словом связан,
и, как ни морщись, первый снег
не пропускать обязан.

* * *

Прожектором соседней стройплощадки
был вечерами стол мой освещён:
портфельный скарб в привычном беспорядке,
том Тютчева, не читанный ещё.

Пока угрюмо «Химия» листалась,
под inferнальный скрежет, гул и вой
по стенам недостроенным шаталась
тень сварщика с квадратной головой.

Шеренги свай с торчащей арматурой.
Бетонных плит паренье на тросах.
Монтажник, в ночь кричащий с верхотуры,
спиной к луне чернеет в небесах.

И вот читаю, отложив тетради:
Счастлив, кто посетил сей мир...
И застываю, отрешённо глядя
в пустые окна будущих квартир.

Александр Кабаков

Под снос

рассказ пьющего человека

Большую часть своей жизни я посвятил размышлениям о том, почему она, моя жизнь, так сложилась, как сложилась. То есть я не жил, а думал о жизни, но поскольку никакого другого содержания в моей жизни не было, то получалось, что я думаю только о своих мыслях, а мысли эти состоят в том, что я о них думаю.

При этом я вот кто: мне пятьдесят шесть лет, и меня только что выпроводили на пенсию из милиции, то есть из полиции.

И вот я сел на кухне за отвратительно грязную клавиатуру моего ноутбука, в котором курсор совершенно самостоятельно прыгает из строчки в строчку, выкинуть давно пора эту рухлядь.

И начал эти как бы записки о моей как бы жизни.

Ничего себе внутренний миру отставного мента?!

Ничего себе первые пассажи его мемуаров?!

Прямо Джойс какой-то, а?

Джойс не очень идет бывшему ментовскому полкану.

Как, впрочем, не шел бы и действующему. Бывшему даже как-то ближе.

Отправленному на пенсию не только по выслуге, а, прямо скажем, в связи с непрерывным, упорным и незаурядным даже по ментовским понятиям пьянством — правда, тихим. Единственная беда — мешающим исполнять даже не очень обременительные обязанности начштаба райотдела внутренних дел. Стакан, еще стакан... И только вздрагиваешь, просыпаясь от опасной близости своей мусорской отечной рожи к поверхности служебного стола... И надо как можно быстрее уйти от греха подальше, на ходу неразборчиво сообщив дежурному: «Командир спросит — я в управлении»...

Однако ж согласитесь, что действительно очень странный мент пишет вот это — то, что вы читаете. Не мент прямо, а, как сказано, Джойс. Или, на худой конец, Пруст какой-нибудь.

Сейчас все объясню.

Происхождение и краткая автобиография:

Папа — действительно профессор, доктор юриспруденции, специалист по наполеоновскому, кажется, праву, неведомо зачем содержавшийся советской властью, и неплохо содержавшийся, — квартира на Восстания, дача в Пахре, кубометры павловской мебели красного дерева, обшитого полосатым шелком, черный, хотя не персональный, а частный, автомобиль «Волга» ГАЗ-24, шофер и домработница. Быт героя научного труда. Конец шестидесятых.

Мама — вы будете смеяться — тоже профессор, только в консерватории, история искусств, тоже почему-то необходимая трудящимся, хотя какие уж там трудящиеся, студент если не коган, то резник... Мама ж, однако, была из дво-

рян, тоже сомнительно, но не так противно коллегам, как если бы и она была коган. Ведь где искусство, да хотя бы и его теория, там же и борьба идей, в основном по пятому пункту.

Да, а папа-то как раз из самых что ни есть трудящихся, из крестьян Саратовской губернии, деревня Татищево. Так что и не поймешь, откуда взялась голубовато-белая борода клинышком, круглые серебряные очки, постоянно съезжавшие на кончик носа, и привычка сидеть, поместив между колен тяжелую суковатую палку с медными заклепками, сложив на ее набалдашнике руки и оперев на них полную глубоких знаний голову. Столп науки. Начало семидесятых.

А мама ходила в английском костюме. Всегда. И коротко стриглась. Так что сзади, если, предположим, фигуру ее ниже пояса что-нибудь заслоняло, можно было принять историка искусств за некрупного мужчину. Потом уж, растлив жизнью свое воображение, сопоставил я маменькин стиль с широко известными консерваторскими нравами.

Спали они, сколько я, поздний ребенок, помнил, врозь, по своим кабинетам, так что прислуга каждый вечер стелила на диваны простыни, а утром убирала их в корзину, стоящую в кладовке...

Вспомнил имя домработницы, но приводить его здесь не буду, поскольку не привожу никаких фамилий и даже имен, оставшихся в той моей жизни. Фамилии главных героев известные, что ж их полоскать. А имена второстепенных не имеют значения.

Ну, теперь понятно, почему ментяра так пишет, словно гимназию кончал? У нас в доме и говорили так.

А вот каким образом сын членкора попал в ментуру и, считай, всю жизнь в ней оттянул от звонка до звонка — это остается пока непонятным, верно? Сейчас продолжу объяснение, как только смогу.

Наливать надо граммов по тридцать-сорок, чтобы одним глотком, а если сразу полстакана, то может не в то горло пойти... Да.

Итак, продолжаю.

Учился я в той известной школе в переулке, куда водили через Садовую всех детей нашего дома. Учился хорошо, читал много и все подряд, но вел себя так, что временами и сам удивлялся — откуда эти черти во мне взялись и что ж они так бушуют? К пятому классу был не последним человеком в банде шпаны, подчинившей себе весь район вокруг зоопарка, и даже серьезные местные мужики, державшие Пресню, приветливо скалили стальные зубы, ручкаясь с приبلатненным пацанчиком. Финку завел в тринадцать, в пятнадцать — роман с учительницей английского, отчасти поддавшейся обаянию юного разбойника, отчасти же просто испугавшейся безоглядного и опасного напора. Учительницу директор спровадил в другую школу, с моей матерью говорил час, пока я в пустом школьном коридоре учился вытаскивать трефового туза из любого места колоды. Выйдя из директорского кабинета, мать прошла мимо меня, как мимо пустого места, и правильно сделала.

Я же без стука вломился к директору и молча показал ему перышко с канонической, в стиле ретро, «пластигласовой» наборной розово-зеленой рукояткой. Перо вынул из петель, собственноручно пришитых к изнанке школьного серого кителька... В общем, англичанку в школу не вернули, больше я свою первую женщину не видел никогда в жизни. Но и меня окончательно оставили в покое, бдительно следя лишь, чтобы не было у негодяя всех пятерок и таким образом исчадие ада не могло претендовать на медаль.

Все это, как нетрудно догадаться, совершенно не помешало мне поступить на юридический, тем более что и экзамены я сдал действительно хорошо — при том что хватило бы одной только папиной фамилии.

Но уж в университете я окончательно распоясался. Пьянство, девицы — в основном, как было принято, из «инязаморисатореза», карты сутками, опять пьянство... Денег мне отец и мать давали немного, исключительно на необходимое по их мнению. И стипендию я не получал, поскольку семья была обеспеченной... Короче, я нашел себе доход: стал посредником между уголовной пресненской средой и фарцовщиками, собиравшимися перед знаменитой комиссионкой возле планетария. Комиссионка специализировалась на японской и европейской электронике, часах и фотографической технике. Суммы там крутились огромные, я обеспечивал сосуществование: уголовники не трогали и даже крышевали — тогда и слова-то такого не было — фарцу, а спекулянты добровольно платили дань. Отношения между купцами и рыцарями, известные с древних времен...

И все шло отлично. Я обзавелся часами Seiko на полупудовом стальном браслете, югославской дубленкой, аргентинским кожаным пиджаком из «Березки» на Сиреневом бульваре, джинсами Montana — в общем, полным набором. В моей комнате, при ледяном неодобрении родителей, утвердился огромный, совершенно марсианского вида двухкассетник Sharp. Отдадим должное моим вполне благонамеренным, но безразличным ко всему ответственным квартиросъемщикам: естественный вопрос, где я взял на этот агрегат три академические зарплаты, не был задан. Я допускаю, что он им просто в голову не приходил, хотя скорее, конечно, был из этих ледяных голов сознательно изгнан. Думаю, что они — ну, хорошо, пусть подсознательно — просто с нетерпением ждали, когда мною вместо них займется наконец государство и на какой-то срок избавит их от неприятного соседа... На всякий случай у меня было заготовлено объяснение: я уже не катал в буру по пятаку, а играл на бегах, и играл, быстро войдя в среду беговых жучков, успешно. Пользовался уважением среди богемных знаменитостей, регулярно угощая в буфете коньяком известных писателей и актеров, — словом, был вполне легальным мажором, удачливым игроком, а для посторонних еще и академическим сыном, посторонние-то не знали о принципах моих воспитателей. И не отличался от других таких же, слонявшихся между ВТО, ЦДРИ и ЦДЛом. Были нас десятки, если не сотни, и не гнушались нами лауреаты и космонавты...

Уф-ф!.. Пора. Вот и естественный перерыв для восстановления сил. Все же насколько водка натуральной коньяка — особенно в наши фальшивые времена!

Кончилось тем, чем и должно было кончиться.

Попал в облаву у планетария, пришло письмо в университет.

Я, между тем, уже перешел на четвертый курс, учился не то чтобы отлично, но вполне прилично и твердо рассчитывал на адвокатуру: кто ж из великих мэтров не возьмет к себе на стажировку сына N., тем более и самого по себе неглупого парня?

Все, натурально, накрылось в ту же неделю.

За аморальное поведение, несовместимое и так далее, в одно касание выперли из комсомола. Без формулировки причины предложили расписаться в приказе об отчислении студента четвертого курса юридического факультета такого-то с правом восстановления. «С правом восстановления» — все еще действовала батюшкина фамилия. На третий день пришла повестка в военкомат, и вот ровно через неделю после окончания вольной жизни я уже ехал к месту службы — как оказалось потом, в Рязань, в школу сержантов и впоследствии в комендантскую роту. Кто и как додумался идеологически сомнительного призывника определить на такой участок борьбы за морально-политический облик Советской армии, не представляю. Впрочем, в армии я постоянно сталкивался с идиотизмом, а иногда — с вредительством без умысла.

Вначале я был плохой солдат. Служба моя проходила по принципу «через день на ремень», то есть через сутки я ходил в караульный сержантский наряд

то часовым, то разводящим. Четыре часа спишь, не снимая сапог, на вонючем матрасе. Еще четыре часа, сидя в караулке, клюешь носом. И еще четыре — на октябрьском ветру, февральском морозе, в медленно остывающем ночью июльском пекле, во тьме, брызгающей искрами временной слепоты...

В ночных караульных сменах я стал тем, кем я стал.

Воспоминания скребут душу. Как у всякого советского мужчины, у меня армия — фундамент биографии, основа личной мифологии.

Ну, немножко. А-ах... Передохнуть — и дальше.

Лишь к концу первого года в армии я понял, что есть только один способ жить и выжить там, где мне предстоит жить и выживать.

Несмотря на мое весьма буйное детско-юношеское прошлое и закалку среди отпетой пресненской шпаны, боевые друзья чморили меня по полной.

С одной стороны, я был «москвич», то есть ЧМО без всяких причин, от рождения, и аббревиатура эта так и расшифровывалась — «человек московской области», чмо. Москвичей вся страна ненавидела, ненавидит и будет ненавидеть, в армии и тюрьме это проявляется особенно резко. Били меня не сильно и только в сержантской школе — там я был салабоном, так что и претендовать ни на что не мог. Но в решающий момент я хватал табуретку, в каптерке — лапу для ремонта сапог, в кухонном наряде — пятилитровую поварешку и несколько раз пускал это оружие в ход, так что слыл припадочным, и меня не дожимали. Однако, когда из школы нас выпустили в части младшими командирами, я понял, что репутация опасного истерика больше помогать не будет — наоборот, такого при первом же подходящем случае утихомирят бесповоротно, и чем решительней буду сопротивляться, тем бесповоротней. В караул мы ходили со штыком, с двумя снаряженными обоймами в подсумке и одной воткнутой в СКС. Неучтенных патронов было — завались... А в карауле мы охраняли гарнизонную гауптвахту. Устроить побег с оружием какого-нибудь за поножовщину арестованного стройбаговца-туркмена, не понимающего по-русски, да на него и повесить... В комендантской роте народ подбирается обычно решительный и полностью бессовестный. К тому же в моем призыве большая часть была из пролетарско-хулиганского донбасского города Попасного. «Попасный город опасный», — с удовольствием повторяли они. Дрались умело и зло.

Это все было — с одной стороны. А с другой — был ротный, ненавидевший, как все, москвича за то, что москвич, но еще и сверх того. За четыре курса юридического при его двух, да и то заочного педа. За отца-профессора — изображая простодушный интерес, расспросил про пятикомнатную квартиру, «Волгу» с шофером, дачу... и, не дослушав, скрипнул зубами, встал и ушел. За приходящие в посылках — нечастых, но все же — горький шоколад «Бабаевский», копченую колбасу «Брауншвейгскую» и журнал «Иностранная литература», подписка на который в армии была запрещена. За все, одним словом.

И вот однажды, стоя ночную смену в карауле и всерьез всматриваясь в тени, скользящие во тьме, — последний конфликт с сослуживцами сделал страх выстрела из темноты вполне обоснованным, я понял, как жить между начальством и народом, не принадлежа ни тому, ни другому. Как стать необходимым начальству и недостижимым для простолюдинов. Путь к этому был обозначен на плакатике, приклеенном замполитом к двери ленкомнаты. Это было объявление о наборе в высшую школу милиции. Предпочтение отдавалось имеющим незаконченное высшее образование, в первую очередь юридическое, и отслужившим не менее половины срока действительной службы. Не замполит, а ангел-хранитель мой приклеил эту бумажку с розовощекием, в ярко-синем мундире ментом — впрочем, немного смазанным при печати.

Вот и все.
И ни разу я не пожалел.

Погоны удержали меня от безвозвратного ухода в мелкий криминал, куда я посматривал с невинного детства.

Погоны удержали и от рывков в карьеру. Я наблюдал за своими соучениками по юридическому, теми, кто всплыл на поверхность, и радовался своей мусорской безвестности.

Адвокаты с гонорарами, фантастическими и по нынешним, не только по тогдашним советским временам... Но бешеные деньги из общака взвинчивали адвокатскую гипертонию, а «мерседесы», списанные из дипкорпуса, жгли задницы кожаными сиденьями, и дачи обшивались ворованной вагонкой. В нашей стране адвокат всегда считался союзником бандита, да многие такими союзниками и были. Все они ждали либо ножа в подъезде, либо закрытого процесса, а я раз и навсегда решил устроить свою жизнь так, чтобы избежать и того, и другого...

Судьи жили между райкомовским звонком и взяткой — иногда настоящей, а иногда спровоцированной... Можно было жить и по-другому, но тогда ты становился таким же чмо, как москвич в армии, — все люди из Гниловска, а он, подумаешь, из самой Москвы...

Еще можно было уйти в науку, в ученые правоведы второго поколения... Но я отдавал себе отчет в том, что и по крепости задницы мне до папаше не дотянуться, и по реальному таланту — вытаскивать из книжной пыли отчетливый, да еще и угодный начальству смысл.

А тут еще...

Нет, надо эту бутылку дожать, чего тянуть... Уф. Да пока ноги ходят — в круглосуточный на углу. Слава свободному рынку! Сохраняем текст — и быстро, быстро, встал и пошел, боец!

Так вот — только не надо слез. Перед кем делать вид?

Год, который был первым в моей армейской службе, на пятом месяце стал последним в существовании вышеописанной семьи: самолет Ил-14 Москва — Адлер рухнул где-то на Украине. Там много было больших людей — артисты, писатели и прочая, бархатный сезон...

Меня отпустили на похороны. Как раз пришла посылка от уже мертвых, я ее всю и отдал старшине, кроме «Иностранки». В самолете всю дорогу читал «Женщину в песках» Кобо Абэ, здорово отвлекся.

Хоронили в закрытых гробах. Я на кладбище не поехал. И на поминках сидел тихо — все устроила домработница. Выглядела она так, будто сама умерла. В квартире было полно незнакомых важных людей, некоторое время я угадывал, кто из консерватории, а кто из академии, потом бросил — слишком просто. На меня никто внимания не обращал — я успел сменить форму на свою гражданку, вполне мог сойти за какого-нибудь аспиранта из богатеньких. Незамеченным и выбрался за дверь, пошел в одиночестве поминать моих странных родителей — именно что родителей: родили да тем и ограничили свое участие в моей жизни. Поминал в шашлычной, которая как раз тогда переехала от Никитских ворот на Пресню. Напился до полного беспамьятства, однако каким-то чудом к середине ночи добрался домой. Домработница дотащила до тахты, села рядом на стул, широко расставив ноги под ситцевой синей в мелкую розочку юбкой — только край этой юбки я и видел, остальное уплывало. Между прочим, была она старше меня лет на семь всего... Кажется, договорились, что она останется жить в этой квартире сколько захочет, один гость на поминках пообещал помочь ей с продлением прописки. Заснул я, как умер — просто все исчезло. Утром по какому-то наитию сразу влез в тот ящик отцовского стола, который

был нужен, — там, в глубине, громоздились пачки по десять тысяч тех еще рублей, сто на сто. Одну взял себе, остальные вбросил в карман фартука домработницы, как она ни сопротивлялась.

По воинскому требованию взял билет на ближайший поезд до Рязани, поймал приличного на вид ханыгу, дал ему четыре десятки, он вынес две узкие бутылки молдавского — солдат в вокзальный ресторан не пускали. Всю сдачу оставил за честность ему и, еле не падающего от благодарности, отпихнул.

За ночь пропил с дембелями и вербованными рыбообработчицами, начавшими еще в Калининграде долгий путь во Владик, каким-то образом почти тысячу, но остальное уцелело, не ограбили. В Рязани успел нырнуть в такси, уйдя из-под носа вокзального патруля. Пару часов передремал в ленкомнате — жадный старшина пустил за последнюю бутылку. Там, проснувшись, и увидел румяного милиционера на двери.

И все решил.

Нет, силы кончились... Взять сразу две, чтобы так не мучиться потом... Последние десять капель... Дверь запереть... Что ж меня так водит-то?!

Задремал... Да, все хуже удар держишь, товарищ полковник.

Она была старшим преподавателем на кафедре марксистско-ленинской философии, восемь лет разницы в мою пользу. То есть в ее, как постепенно выяснилось.

Так и сказала: «У нас роман не получится, либо женимся, либо забудь, ночь прошла — и конец». К тому времени я уже знал за собой неодолимую слабость к таким женщинам, крупным и властным, — видимо, по контрасту с моей кровной мамой, с ее обликом невысокого джентльмена в юбке. Доктор Фрейд всюду орудовал в моей пустой душе, и я охотно ему подчинялся.

Жизнь шла — да и прошла, незаметно, как похмельный выходной день.

Ну, еще по одной — и спать. На службу не вставать, конечно, но подремать надо. Вон уже светает... Все, последняя.

На следующий день после того, как мне исполнилось сорок лет, я простился в морге Боткинской с дожившей, слава Богу, в относительном покое домработницей. Кажется, хоронил в том самом платье в розочку... Царствие небесное. Только ее я и не сдал марксизму-ленинизму, по всем прочим линиям капитулировал безоговорочно.

На условиях, назначенных победителем.

И чего она взбесилась? Домработницы-ровесницы, к которой ревновала всегда, уже не стало. Живи себе, диссертацию высиживай. По интимной части ее интересовали только двадцатилетние аспиранты, так я этому не мешал, партком мешал...

В общем, разошлись без суда — ей не рекомендовалось как идеологическому работнику, а мне как офицеру милиции. И без того звездочки падали на плечи с опозданием... Да мне и ни к чему была свобода, регулярное употребление родного напитка избавило меня по крайней мере от практического интереса к дамам. Так чего разводиться, если потом не жениться? Слава Богу, детишек Он не послал.

А фамильные мои хоромы разменяли.

Мне — узкая и длинная, как вагон, двухкомнатная в бурой четырехэтажке, приткнувшейся позади социалистического небоскреба. По легенде, в этих сравнительно скромных условиях жило некогда начальство охраны, сторожившей покой нашей Башни Избранных. Я, как дурак фантику, был рад, что остаюсь, в сущности, на своем месте. Тот же огромный гастроном с колоннами для стилия и шпекачками в продаже, когда повезет, та же вареничная на другой стороне, та же рюмочная, дверь в которую находили только местные.

Я и сейчас здесь, в своей двушке, перекрытия деревянные, выпиваю. Ну, за здоровье.

А ей, некогда вселившейся в профессорский рай из панельной малогабаритки с видом на металлобазу... Вот решил на письме не материться, не привык, так ведь не удержишься! Ей пришлось впору тоже двухкомнатная — но сорок жилых метров, доходный дом на Ордынке после капремонта. Сейчас миллионы стоит, точно...

Ну, и доплата, а доплата за пятикомнатную в высотке была порядочная, вся, конечно, ей. Мы же не кто-нибудь, мы знаменитую фамилию носим, к тому же мы офицер и джентльмен. Любимая шутка пошлых идиотов — гусары с дам денег не берут.

Будь здоров, мент. Дурак ты оказался дураком. Будь здоров.

Сдавая свою шикарную ордынскую да получая проценты с той доплаты, ловко вложенной, да какую-никакую пенсию... В общем, прекрасно живет марксистка-ленинистка в полюбившейся ей за последние лет десять Болгарии. Море, теплынь... А скучно интеллигентному человеку не бывает, говорила она мне снисходительно.

А мне бывает! Мне, например, без круглосуточного за углом будет скучно.

Какой-то грохот на лестничной площадке, наверное, опять бомжи в подъезде дерутся... Или очередной капремонт начинают. Чего-то было на той бумажке, да я не прочел... Нет, это не на площадке, это у соседей... А их чего-то в последние дни не видно... Может, съехали, весь дом за последнюю неделю съехал...

И тут я все вспоминаю.

Поездки со смотровыми ордерами в толпе соседей куда-то на выселки... Заказ грузового такси и подъем в грузовом лифте обломков окончательно рассыпавшейся в переезде подобия мебели... Какая-то бумажка, в которой велела расписаться тетка из ЖЭКа, какая-то дата...

«Вниманию жильцов! Снос здания начнется в воскресенье, 22 октября. Просьба к этому времени вывезти из освобожденных квартир мебель и все другое имущество. ДЭЗ»

Кажется, сегодня.

Нет, не на лестнице этот грохот, это снаружи раздается второй удар — будто великан трахнул великанским молотком в стену.

Вылетели стекла, один осколок попал в лицо, кровь залила глаза.

Многовато оказалось — две бутылки на одного за вечер. Идти надо бы, а ноги не идут.

Перебрал.

Меня тащит по лестнице соседка, я ее раньше видел много раз, но никогда не обращал внимания на то, что она весьма и весьма фигуристая баба. Крови много вытекло, видно. Голова кружится. Да, приятная баба.

Вырубаясь.

Она вытащила меня на улицу, и тут дом рухнул. На его месте поднялась огромная куча мусора, а над ней облако пыли.

Опять вырубаюсь.

В «скорой» она поехала со мной, еле уместившись на откидном боковом сиденье.

В конце концов, подумал я перед тем, как потерять сознание в очередной раз, если будет настаивать, завяжу пить.

Или хотя бы ограничусь.

Владимир Рафеенко

Пиво и сигареты

рассказ

...волонтеры помогут выехать. Сказала, не поеду! Пойми, мы за тебя переживаем! Я переживаю, уточнил Силин. Вот и переживай себе спокойно. Люда переложила трубку из одной руки в другую. Даже ухо заболело от этого разговора. Ты эгоистка, сообщил Силин. Только о себе и думаешь! Точно, Людмила откупорила очередную бутылку пива. Сделала длинный глоток, пропустив некоторую часть текста. Снова прижала трубку к уху.

...в последний четверг месяца. Ты, надеюсь, это понимаешь? Еще бы, подтвердила она. Но это мой город. Почему я должна уезжать? Но ты каждый день можешь погибнуть! Обстреливают центр, а ты находишься именно в центре, дура ты гребаная!

Нет, Силин, давно уже не гребаная. У нас с патриотами все сложнее, а сепаратистам я не даю... Прекрати! Да ладно тебе. Она тихо засмеялась. Меня не убьют, Силин, пока в Z можно купить пиво и сигареты. Не поеду я в твой Крым! Шел бы ты с ним сам знаешь куда. Знаю-знаю, быстро заговорил Михаил, у нас разные убеждения. Но сейчас речь не о них. Оставайся хоть сто раз украинкой, господь с тобой! Речь идет о территории выживания!

Речь идет о том, Силин, что ты ушел к моей подруге, закашлялась Людмила, а потом уехал с ней в Крым. Восемь лет коту под хвост. А я ведь, Силин, тебя любила. А ты оказался ничтожной жалкой сукой. Люда покачала головой так, будто осознала этот факт только сейчас.

Не начинай! Да бога ради... Это ты мне звонишь, деньги тратишь. Не нравится, не звони. А если я брошу Светку, ты приедешь ко мне? Ты сделаешь, что? Люда поставила бутылку на пол. Взяла медленно тлеющую сигарету из пепельницы и затаилась. Брошу Светку! То есть мы уже практически распались. Силин заговорил быстрее и сбивчивее. Она завтра уезжает к родным в Ростов. Я остаюсь один. Нашел работу в газете. Снимаю у милой такой старушки комнату с видом на море. Представь, кисейные занавески раздуваются. Ветерок. На горизонте рыбачьи лодки. Море из окна как на ладони. Ливанский кедр, сосна и лавр. Не хватает только тебя.

Ты все врешь, Силин. Людмила сделала такую затяжку, что половина сигареты провалилась внутрь себя самой. Нет больше ни моря, ни лавра. Нет, не вру. Работы много, а платят мало. Да и цены страшные, просто страшные! Он засмеялся. Но ничего, мы выживем, Людка! Главное, позвони, человек ждет, и

От автора | Последний написанный мной роман, образующий вместе с романом «Демон Декарта» диологию, называется «Долгота дней» и состоит из двух частей. Одна — собственно романное тело. Вторая — новеллы, автором которых является один из персонажей романа. Романное тело представляет собой сказку о войне. Собрание новелл, напротив, выдержано в духе реализма. «Пиво и сигареты» — в числе центральных новелл романа.

скажи, что согласна. О деньгах не думай, я все оплачу. Да пошел ты! Людмила прикончила бутылку, аккуратно поставила ее у батареи. Резко поднялась с дивана. Голова закружилась. Прислонилась плечом к стене. Ощутила прохладу и биение пульса под ключицей.

Раннее утро. Из-за плотно задернутых штор яркое солнце. Трубка в руке жужжит родным ненавистным голосом. Она вышла на балкон. Тут же где-то ухнуло. Били по центральным проспектам. От Городского сада в небо шел густой черный и едкий дым. Слева горел бизнес-центр. Город разрушали вдумчиво и методично. Люда не знала наверняка, кто это делает, но ей казалось, что она знает.

Суки, прошептала Людмила. Уселась на разошедший старый стул и снова приложила трубку к уху. ...Не слышу твоего дыхания. Последние минут пять, говорил Силин, ты наверняка меня не слушала. А может, не слушаешь и теперь. Но это все равно. Люблю тебя, Людка! Люблю, как никогда и никого! Да, конечно, я виноват. Но ты сама нас познакомила. И потом, что это было? В сущности, маленькая смешная интрижка. Она была и закончилась.

А здесь у нас, заметила Люда, снова закуривая, все только еще начинается. И шел бы ты, Силин, со своей любовью. Не бросай трубку. А я и не бросаю. Она пожалала плечами. Мне тут поговорить не с кем целыми днями. Так что на безрыбье и хрен собеседник. А что ты делаешь целыми днями, работы ведь нет? Пью, Силин, пиво. Впрочем, я уже рассказывала. Пью пиво, читаю, смотрю фильмы. Сегодня ночью смотрела ретроспективу работ Терри Гильяма. Ты любишь «Короля-Рыбака»? Ты же знаешь, что не люблю. Вот поэтому ты и мудака, Силин. Она печально покачала головой.

Думаю, добавила после некоторого молчания, после этой войны мне придется лечиться от алкоголизма. Если, конечно, выживу. Посмотрела вниз. По противоположной стороне улицы шел старик. Он шел медленно, зачем-то ощупывая рукой стену дома, и плакал. Слезы текли по его морщинистому подбородку. Второй рукой он держал красную сетку. В ней лежал пакет желтых макарон, подсолнечное масло в пластиковой бутылке и, кажется, пачка печенья.

Слушай, Силин, я пошла, сказала Людмила в трубку. Тут старик идет, видно, заблудился. Идет и плачет. Старенький очень. Хочешь, звони вечером. Дала отбой. Взяла ключи со стола, открыла дверь. Спустилась по гулкой лестнице. Пахло пылью и солнцем, бьющим в разбитые окна лестничных пролетов. Ветер оказался неожиданно сильным, принялся хватать за подол юбки, тянуть в разные стороны, валить вбок и толкать в спину.

Протяжный свист. Сильный взрыв в двух кварталах. Она машинально присела, прикрыв руками голову. На глазах выступили слезы, и принялся дергаться правый глаз. Но нужно было встать. Старик присаживаться не торопился. Все так же шел, на ощупь определяя свое местоположение в пространстве и времени.

Дедушка, что с вами, Людка тронула его за рукав. Вы что, потерялись? Мне по этой улице дом семь нужен, сказал он, доверчиво улыбаясь. Его мокрое от слез лицо было полно надежды. Седьмой дом! Где-то тут. Я там живу со старухой. Так вы уже прошли мимо, проговорила Людмила, рассматривая его мокрые брюки. Он только что обмочился и, судя по всему, не первый раз за этот день. Сладковатый, приторный тяжелый дух. Пришлось бороться со спазмами, внезапно подкатившими к горлу. Хорошо, что давно уже ничего не ела, кроме чипсов. Прошли арку. Зашли во двор. Старик осмотрелся. Заметил знакомую детскую площадку, громадную клумбу, заросшую петуньями. Древний, сто лет как пересохший фонтанчик был присыпан песком, глиной, кусками битого кирпича.

Дверь в квартиру не заперта. Людмила прошла в комнату с распахнутым настежь окном, с внушительным слоем пыли на полу. Остатки еды в тарелке. Ленивые мухи кружатся над засохшим куском печеночной колбасы. Сухари в сетчатом мешочке, подвешенном на гвоздик. На стене коврик времен двадцато-

го съезда КПСС с вытертыми коричневыми оленями. У низкого диванчика стул с большой чашкой мутноватой воды и лекарствами. Из-под него выглядывает утка. Рядом стоят мохнатые почти новые тапки. Видно, старушка иногда поднимается, но вряд ли ходит без посторонней помощи.

Сухонькая, востроносая, она задорно улыбается. Светятся черные пуговицы глаз. Здравствуйте, я вашего супруга привела. Черт старый, чего не сделает, только б с молодухой потрындеть, засмеялась старуха. Старик тоже заперхал, обнажая удивительной кривизны зубы и красные слоистые десны. Смеясь, скупно подергивал морщинистой шеей, покрытой темно-коричневыми пигментными пятнами. Невеселые глаза его при этом слезились. В уголках застыл то ли гной, то ли сон.

Вот и хорошо. Он ведь, как Сашеньку нашего сыночка при бомбежке убило в прошлом месяце, так стал забывать. Сына убило? Да, старушка не прекращала улыбаться. Мог уехать с фирмой в Киев, но остался с нами, чтобы доглядеть. Вот и убили его, когда в магазин пошел. Кто убил? Задав идиотский вопрос, Людмила почувствовала отвращение к самой себе и села на стул напротив.

Да Бог его знает, кто. Фашисты, должно быть. Старушка засмеялась. По телевизору все говорят о фашистах. Все думаю, как так, немцы сюда вернулись? Вроде не дураки они, понимать должны, что здесь ловить нечего. Она задумалась. Я оккупацию девочкой встретила. Мы, восемь душ детей и мама, как раз спрятались в подвал, когда разбомбили наш дом. Наутро выбрались, от него остались две стены. Забор догорает, и малина черная стоит. Ветер, дым, а немцы, человек двадцать, курят у старой церкви, смеются да в небо поглядывают. А на Покрова снег пошел. Так и жили.

Старик тяжело вздохнул, понес сетку на кухню. Оттуда донесся шум текущей воды. Людмила посмотрела в окно. Из-за городских прудов поднимались клубы черного дыма. Запахло растительным маслом, вылитым на раскаленную сковороду. Старушка вздохнула. Никак не пойму, откуда фашисты? Сталин умер. Хрущев умер. Брежнев умер. Мао Цзедун и тот умер. Говорят, Фидель Кастро и тот себя плохо чувствует...

Он тоже умер, сказала Люда, только об этом никто не знает. Ну, вот и я говорю. Все умерли. А фашисты, понимаешь, остались. Посмотри на них! Правда, дед, сколько ни ходит, на улице ни одного не встречал. Старушка задумалась и подрагивающей рукой стала поглаживать потрепанный корешок лежащей рядом с ней книги.

Так как же вы живете? Людмила слотнула сухую слюну, царапавшую ей глотку. А вот так и живем. Старуха опять засмеялась. Денег немного еще оставалось похоронных. Да гуманитарную помощь получает дед.

Но он же забывает дорогу домой? Что есть, то есть! Старушка задумчиво посмотрела в окно. Старые мы. Вот и забывает. Так как же он ходит? То есть как он возвращается? Так, видишь, старуха пожевала губами, адрес у него на подкладке пиджака записан — улица такая-то, дом семь. Я ему чернилами навела. А добрые люди всегда находятся!

Дня три тому до вечера где-то прошлялся. Думала, сгинул. Ан нет! Привели в шестом часу трое вооруженных. Решительные такие. Новороссы? Да кто их знает, сказала старушка. Все на одно лицо. Может, новые россы, а может, и не очень. Невеселые такие. Привели деда, потом до утра в кухне пили водку, жарили картошку и пели песни. Даже я подпевала, чтобы не скучать. Они ехали тихо в ночной тишине, сухо сообщила старушка и пожевала губами. По широкой украинской степи. А утром ушли. И хорошо, что ушли, потому как кричали сильно и матерились, а я ни того, ни другого не люблю. Один совсем мальчик. Пришел сюда ко мне ночью, стал на колени и плачет-плачет. Прямо заливается. Говорю ему, чего ты, милый. А он отвечает, страшно, бабушка. И жить, говорит, страшно, и умирать.

Ладно, пойду я, Людмила почувствовала, что ей не хватает воздуха. Решительно поднялась с места. Павлович! — закричала старушка, неожиданно звонким молодым голосом, утку! Старик зашел в комнату, нимало не чинясь, поставил старухе утку. Она, продолжая посмеиваться, громко испортила воздух. Старик засмеялся. Ты прямо пушка у меня, Марья Степановна! Настоящая гаубица!

Запахи готовящейся пищи смешивались с прочими, создавая убийственное благорастворение. Людмила, придерживаясь за стену, вышла из квартиры, пошла по ступеням вниз. Ее вырвало прямо у подъезда. Отдышавшись, утирала рот листьями черемухи, бурно разросшейся во дворе. Нашупала в кармане немного денег. Дворами прошла к ларьку на углу Маяковского. Шурка, сидящая в ларьке, посмотрела хмуро, поздоровалась, приняла деньги, выдала четыре бутылки черного просроченного пива и две пачки сигарет.

Совсем худая ты стала, Людка. Так это ж хорошо? Где ж хорошо, кожа да кости! Ты кроме пива что-нибудь ешь? Сигареты. То-то и оно. Вот возьми, протянула сверток. Да бери, кому говорю! Тут котлеты куриные и хлеб. Для себя брала, да с утра поджелудочная хватает. Поголодаю до вечера. А ты бери. Спасибо, сказала Людка, точно зная, что никакой поджелудочной у Шурки нет. Но кушать хотелось отчаянно. Приняла теплый маленький кулек, прижала к груди и, сосредоточенно глядя перед собой, пошла по проспекту домой.

В сумерках обстрел усилился. В окнах домов мерцала черная пустота.

Силин позвонил в двенадцать вечера, когда страх и тоска стали особенно сильными. Ну, будь же ты милосердна, Людка, сказал он пьяным жалким голосом. Что ж мне теперь делать? Самому, что ли, за тобой приезжать? Ведь глупо это, Людка, глупо! Убьют меня, и так мне и надо. Но что ж ты со мной делаешь, паскуда эдакая?!

Хорошо, Людмила закурила, медленно выпустила дым из ноздрей, скажи волонтеру, что я еду. Только с условием. Что такое, оживился Силин. Со мной едут двое стариков. Каких еще? Пьяный Силин соображал туго, недоуменно сопел. У Людки сердце болело от этого сопения. Ничего не понимаю! Моих стариков. Старых стариков, Силин. Очень старых и больных стариков. Он ходячий, она лежащая. Или они едут со мной, или мне от тебя ничего не надо! И, сухой буду, пообещала она тихо, сейчас же выкинула в окно этот сраный мобильный телефон.

Хорошо, закричал Силин, хорошо! Пусть двое стариков! Хоть четверо! Из телефонной трубки пахло ливанским кедром. Хрен с ними!

В эту ночь пиво в ее организме беспрестанно превращалось в чистые, как родник, слезы. И они лились себе и лились, покуда в доме не закончились сигареты и опять не настал рассвет.

* * *

Через три дня в пяти километрах от выезда из Z, между двумя полями, одно из которых было свекольным, а второе неизвестно каким, потому как урожай уже собрали, микроавтобус, в котором ехало двенадцать человек и шофер, обстреляли из минометов. Водилу выкинуло через лобовое стекло, сопровождающий сумел выскочить в последний момент, что-то крича и матерясь. А пассажиров убило одной общей миной производства СССР. Еще через минуту какой-то снайпер от скуки снял волонтера. Водила еще минут сорок сидел среди свекольной ботвы, перемешанной с грязью, и плакал, размазывая красные слезы по свекольным щекам. Он был сильно контужен. Ему чудилось, будто кто-то зовет его по имени, и плачет, и пытается что-то сказать.

Андрей Баранов

Продаю гараж...

* * *

Говори, говори!.. Хоть стихами, хоть так — говори!..
 Говорение жизнь облекает в изящную форму.
 Эти умные мальчики могут трещать до зари
 про Пелевина или, к примеру, с прононсом «Платформу»
 на цитаты растаскивать — мякиш багетный крошить
 воробьям из окраин парижских — с Далмации, Польши,
 и тем паче — с Урала. Им кажется, что говорить —
 это больше, чем жить. Это больше, значительно больше,
 чем брести на трамвай по запёкшейся бурой листве
 и молчать ни о чём, не продумывать фразы и позы.
 Жизнь, конечно же, есть — это неоспоримо! В Москве...
 А у нас — безъязыкость, которая даже не проза.

* * *

Горечь ли это с торф ных болот горло, как рану открытую, жжёт —
 или не только она?..
 Август кончается, солнце — к концу, гладит, как старая мать по лицу.
 Мама, налей мне вина.
 Вот я вернулся... Но сколько прошло? В Яузе сколько воды утекло,
 тёмной, тяжёлой воды —
 и рассосалось по топям и мхам... Ветер шумит по сосновым верхам.
 Где мои нынче понты?..
 Где мои дерево, сын мой и дом?.. Ветер гоняет листы над прудом.
 Мама, где папа?.. Напой
 детскую песенку. Папка наш там, где не штормит и трава по холмам
 стелется. Баюшки-бай.
 Баюшки-бай, привыкай. Всё пройдёт, эта болячка корой зарастёт,
 болюшки нет — только то,
 красное, терпкое... Надо терпеть, шёпотом детскую песенку петь,
 чтобы не слышал никто.

Об авторе | Андрей Геннадьевич Баранов родился 18 декабря 1968 года в Сарапуле (Удмуртия). Окончил Литературный институт, РЭА им. Плеханова, аспирантуру Литинститута. В 1990 году выпустил первый стихотворный сборник, а после 2003 года — несколько книг стихов под псевдонимом Глеб Бардодым. Под тем же псевдонимом публиковался в «Знамени» (№ 6, 2007). Последний, пятый сборник стихов «Поиск по имени» вышел в 2008 году в издательстве Филимонова за авторством Андрея Баранова. В 2004–2014 годах работал директором Ижевского филиала «Билайн». Сейчас живет в деревне Яромаска на Каме.

* * *

Отец оставил после себя верстак,
 Всё у него было, мать говорила, не так:
 верстак в гараже, а гараж — целый час пешком,
 если не через лог по глине, а в обход с батожком.
 Квитанции скрепил, сложил в тетрадку. Заплатил налоги и спит... Он знал, знал,
 что приду перебирать стамески, трогать его халат,
 вспоминая, как точил в нём, паял,
 вертел какую-то деревяшку, гладил шершавыми заусенцами, не говоря почти,
 лишь смотрел вопросительно: ну как? пойдёт? — сквозь припудренные очки.
 Вот они, с дужкой на проволоке, на толстых стёклах — пыль... Если их протереть,
 там твои увеличенные диоптриями глаза, и в них дрожит жизнь,
 а не стекленеет смерть!
 Слеза дрожит, от моргания катится в уголок... «Мать-то где?.. Как она?»
 Нормально. Только одна...
 Через час придут. А надо успеть ещё ходки три.
 Разобрать верстак. Рассовать бумаги. Не смотри на меня так, не смотри!
 Разобрать верстак. Открутить тисы. Открутить часы, лет на двадцать аж.
 И очки в футляр. А футляр в халат. А халат в сундук. А сундук на дуб.
 Продаю гараж...

* * *

Без пяти шесть в репродукторе начиналась жизнь, шурша мышино,
 сквозь занавеску дрёмы я слышал, как она возилась в бумажных обоях,
 в коробке с луковой шелухой.
 А в шесть занавеску срывал «Союз нерушимых...» —
 и я просыпался в холодном саманчике, окружённом зимой.
 «Пионерская Зорька» рассказывала о хороших ребятах и больших задачах,
 о пушистых зверятах, о добрых делах, о светлой дал ...
 Они где-то были, да, они где-то были — а как же иначе?
 Они точно — были, пусть и не здесь, на краю земли
 у моря, замёрзшего солёной коркой... «Зорька» горнила,
 Борька с хрюком в корыто совал пятак,
 пламя плясало на потолке, радио новости говорило.
 И всё правильно было.
 А иначе — как?..

* * *

Учитель труда пропадал в мастерской:
 к урокам пилил заготовки,
 заказ исторички точил — поварской
 набор из толкушки-шумовки.
 Я был его сыном. Любил приходить,
 рукою по шкуреным доскам водить,
 и, если он — молча и трезвый,
 я тоже строгал или резал.
 Но чаще, весёлый, он ставил кино,
 оно у него было только одно,
 и все его час сорок восемь
 я выучил в первую осень.
 Трещал аппарат и светил на экран
 из дырки в его кабинете.
 С ним пили Русаныч-физрук и Толян,
 закрывшись: ведь школа и дети...
 Я слышал, как он говорил за спиной.

О, как говорил он за этой стеной!..
 И фразы сверкали как фазы —
 так больше нигде и ни разу...
 И час сорок восемь хотел я продлить,
 чтоб мог он смеяться и мог говорить,
 покуда, ускорясь, бобина,
 пустая, не встанет бессильно.

* * *

Чем городок задрипанней и меньше,
 тем больше вдоль дорог нестарых женщин
 с картонками про баню и ночлег.
 По двести с койки. Чайник дам и плитку.
 Удобства и машина — за калитку.
 Печь протопила...
 ...Ветер, дождь и снег.
 Да, печь бы кстати. Едемте, мамаша!
 Ей сорок восемь. Варикоз и кашель.
 За стенкой муж. Со службы. Не будить.
 Нам — только спать, не чувствовать, не быть...
 И там, в небытии, такая темень,
 что крыльев не видать — лишь тени, тени
 мышей летучих, окна облепив,
 пицат в щелях и бьются! и не могут
 их фары отогнать! Доро... дорогу!
 Держи дорогу! Ров! Гора! Обрыв!
 И под ноги бросается разметка,
 и то, что не разведала разведка,
 бьёт по колёсам! Россыпью стекло
 холодных звёзд... и жжёная резина,
 тишь и покой, сочащийся бензином.
 И свет. Тепло и свет... Свет и тепло.

* * *

В маленьком турагентстве пахнет кожей, кофе и чем-то ещё, поди пойми...
 Я вот понял чем: ночными сборами, сумками, кофточками, купальниками,
 последними стирками, холодной машиной,
 которая постепенно прогревается, и вот уже можно скинуть шапку и расстегнуться.
 Ведь до Перми
 пилить и пилить. Спи. Дорога длинная...
 Наша дорога длинная, тёмная-тёмная, а порой её нет — замело.
 Шаришь по обочинам: «Кельчин ». Где оно — Кельчин ? И вообще — где это?..
 Холмистое поле, сугробы с трубами... А где-то светло
 и жарко. Но там нас нету...
 А где нас есть? Оттуда мы уехали, а туда ещё далеко.
 Спи, ещё далеко... Овраги и горки, повороты, неизвестные перекрёстки, лесок, озеро.
 Баба с фермы шла и пролила молоко:
 вон, замёрзло и светится ноздревато на срезе бульдозерном.
 В инеее переезд и будка, пути занесло.
 Обходчик знает, что метель сильнее лопаты, но ждёт состава. За тёмной,
 мокрой спиной белеет дорога...
 Знаешь, раньше я думал: есть добро и есть зло.
 А теперь знаю: есть только тепло, его немного...
 Тепло есть, но до него ещё ехать. Куда?.. Куды...
 Кудымкар, 30 км. Может быть, там тепло? Вряд ли... Хочешь обратно —
 чтобы вдвоём, в квартире,

Медведев на Первом, на России Путин?.. Я вот тоже — нет! Спи, я недолго... 0,5 воды и полный бак. Ну как — я быстро?.. Нет, ещё нескоро. Ну два... Или три. Или четыре... Уже синее. Снег перестал. Через час рассвет.
Ты проснулась?.. Вот зеркало, вот твоя расчёска, вот шапка.
Зачем нам Египет — ты знаешь?.. Я вот тоже — нет.
Ну да — там рыбки и жарко...
А тут — жалко.

* * *

Бедуин кутается от хамсина, покачивается на грязном верблюде.
Береговая полоска до Табы от самой Нувейбы — на терракотовом блюде мусор: пластик, стекло, бумага... А за шоссе с кистей в досаде стряхнул комья гончар: красные горы, колючки, мёртвый анчар...
Здесь не ступали туристы. А чего смотреть? Камни, песок да глина.
Сгнившие половики для ночёвок, в кострищах недогоревшие пальмы, какашки верблюда и бедуина.
А если на пути оазис — Хилтон какой или Холидей Инн — обойдут его горами верблюд и его господин.
Зимой смеркается рано. Полшестого не различить ушей верблюжьих — не то что дороги.
Кемел шипит и трясёт башкой, но — опускается на колени, складывает задние ноги.
Ветер с Акабы развеивает халат и холодит: зима...
Хочется кушать, а — нема, шиш!
Верблюду — колючки, господину — гашиш.
Гашиш — карашо! — говорит Абдель и погружается в словомысли.
Их причудливый ход понятен, даже если не знаешь слов.
Они медленно бредут по высохшим руслам сознания, вдруг переходят на рысь, а с рыси — в верблюжий галоп.
А потом устают, идут шагом... Наконец, встают. Потопчутся и ложатся.
Раздувают огонь, переворачивают полешки, растирают траву в порошок.
Укрываются драным одеялом, и сами себе снятся,
и во сне шевелят губами: карашо, карашо...

* * *

Петляй меж ветел и сиреней,
вращай послушную педаль,
велосипед, мой лёгкий гений! —
преумножающий печаль...
На берегу на месте нашем
два полотенца под зонтом,
и мальчик с девочкою мажут,
смеясь, в китайский бадминтон.
От Ярославки злой и знойной,
от эха в стенах и ушах —
махнуть с обрыва... там спокойно —
как в детства старых гаражах,
где папа молча крутит болтик,
где рыбкой вспыхивает кортик
и тень, как у ручья в логу
ещё нехоженых америк.
Никто, никто,
никто не верит...
И только ждёт железный велик
один на тёмном берегу.

Руслан Киреев

Письма из рая

фрагменты книги

АНДРЕЙ БИТОВ

Битов любит играть с временем и делает при этом удивительные открытия. «28 января умер Петр (речь о Петре Первом). 28 января умирал Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает “Двенадцать”, перегорая в них». И все это происходит в Петербурге, родном городе Андрея Битова, который разглядел — не без доли мистического страха — эти трагические меты времени.

В другом произведении он устами своего героя прямо говорит о времени и сравнивает его с морем, которое ему «необходимо переплыть, а плавать он словно разучился». И дальше: «Барахтаясь в море времени», этот молодой еще человек, в котором легко угадывается автор, тоже молодой (двадцать шесть было, когда писал эту вещь), рассуждает о том, что «прохождение времени можно видеть только взглядом назад». Как точно! Вот только я это понял много позже — по настоящему, быть может, лишь теперь, за этими страницами...

Битовский рассказ «Дачная местность» (или «Жизнь в ветреную погоду»), где герой барахтается в море времени, я впервые прочел через десять лет после его создания, в 1974 году, когда наткнулся в «Новом мире» на большую статью Виктора Камянова о современной прозе. Это был мартовский номер, статья называлась «Доверие к сложности». Моей персоне уделено в ней немало внимания, но особенно привлек меня пассаж, где авторитетный критик сравнивает моего героя с героем Битова. «Герой “Дачной местности” был занят уточнением своего духовного статуса и упорно смотрел ... Герой Р. Киреева смотрит

. Ему важно найти отклик или пусть отголосок в ком-то другом».

Этот «отклик или пусть отголосок» я, подобно своему давнему персонажу, ищу, кажется, до сих пор, Битов же, по-моему, совершенно не озабочен этим, он самодостаточен, ему не нужна поддержка извне (уж эстетическая — точно), хотя, уверенно путешествуя в своем метафизическом времени, в реальном сплошь да рядом попадает впросак.

Став заведовать кафедрой творчества в Литературном институте, я немало сил положил на то, чтобы вернуть туда Битова, в свое время изгнанного из института за участие в «Метрополе». Андрей не отказывался, но и не говорил твердого «да»; не хотел, понял я, связывать себя пусть не очень обременительной, но

От автора | После публикации в «Знамени» и выхода отдельным изданием мемуарного романа «Пятьдесят лет в раю» работа над ним продолжилась, поскольку продолжилась жизнь. Один из новых фрагментов был опубликован в четвертом номере «Знамени» за 2015 год. Теперь — черед следующих...

службой. Тогда я предложил ему вести семинар на пару с кем-нибудь — это гарантировало ему полную свободу. «С кем?» — спросил он. Ответа у меня не было, но через день или два я нашел его: Леонид Бежин. Андрей Георгиевич с энтузиазмом согласился. Боясь, как бы мастер не раздумал, я попросил его написать заявление. Он тоже согласился, хотя с меньшим энтузиазмом. Похлопал по карманам и, обрадованный, не обнаружил ручки. Я дал ему свою. «А бумага? Где мы возьмем бумагу?» Разговор этот состоялся в сквере на Пушкинской площади, мимо шныряли школьницы, одна из них, остановленная мною, вырвала из тетрадки лист. «А стол? — обречено произнес творец “Пушкинского дома”. — Я не умею писать на весу».

До института отсюда было десять минут ходу, но я понял, что расстояние это в данный момент непреодолимо, и, повернувшись, подставил своему собеседнику спину. Это Битову понравилось. Ему вообще нравятся озорство, игра, выдумка: не зря с таким азартом участвовал в установке в Питере памятника Чижиху-Пыжиху или пел под джаз черновики Пушкина... Итак, заявление с просьбой принять на работу было под мою диктовку написано (я стоял, согнув плечи, и не только не шевелился, но даже, сдается мне, не дышал), Битов был заполучен, однако в институте появлялся редко. Зато каждый его приход, всегда неожиданный, становился праздником для студентов. Но это — для студентов, а вот для отдела кадров — испытанием. Им мало было заявления, им требовалась еще трудовая книжка. Старательно охотились они за игнорирующим их штатным сотрудником — тщетно все, и тогда они наседали на меня. Делать нечего, я звонил Андрею Георгиевичу, он отвечал: «Ищу», — и действительно искал — пять, десять, пятнадцать минут, а я терпеливо ждал у трубки, пока в ней не начинали звучать в отдалении какие-то голоса, смех, позвякивала посуда... Мастер, плавно переместившись (у него была легкая, неслышная поступь), пребывал уже в _____ времени, а я, скучный чиновник, оставался в своем, один на один со все более звереющим отделом кадров. Вольный человек, он не признавал каких бы то ни было ограничений, а если они вдруг возникали, грациозно перемахивал через них. И в переносном смысле слова перемахивал, и в самом что ни на есть прямом...

Помню, как в 1996 году приехали на дребезжащем микроавтобусе в Ясную Поляну на первые, ставшие впоследствии традиционными Толстовские чтения. Уже в дороге начали пить водочку, а когда потянулись пригороды Тулы, я попросил остановиться на пару минут возле магазина и, большой в то время любитель и знаток пива, запасся дюжиной бутылок. Поселили нас в пансионате, и уже через четверть часа я вышел с бутылкой на солнышко. Было самое начало сентября, и солнце, даже заходящее, светило по-летнему тепло. Гляжу, Битов на лоджии, в маечке... Жестом приглашаю его к своему пенистому, местного производства свежайшему напитку, и он тотчас перемахивает через перила, довольно высоко, несмотря на первый этаж, отстоящие от земли. Легкий, грациозный, а ему тогда уже шел шестидесятый... Кто бы мог подумать, что минет десять лет, он после сложнейшей операции на мозге обретет «дырку в голове, точно пулевое ранение», и «проскочит» рак (как это точно — «проскочить» рак; впрочем, у Битова нет неточных, не единственно возможных слов) — кто бы мог подумать, говорю, что через десять лет он превратится в старика, осторожно, по чуть-чуть, передвигающего ноги! Но вкуса к жизни не утратит.

Это у него наследственное. Когда-то он написал о своей матери, что она всегда гордилась своим профессионализмом. И вот, после семидесяти пяти, «ее профессией стала жизнь». Не просто жизнь, а жизнь активная, разнообразная, веселая... Вкуса к жизни писатель Битов не утратил, и что с того, что ноги едва передвигаются — разве это мешает поплавать в бассейне! Именно там, в бас-

сейне, в раздевалке, мы, полуголые, и встретились с ним в пансионате «Липки» на очередном Форуме молодых писателей. Он пригласил меня в сауну — я не решился, хотя ни дырки в голове, ни «проскоченного» рака у меня не было. Не решился... Он же после бассейна с сауной не погнушался рюмкой-другой коньяка, а после отправился играть в бильярд. День на том не кончился. Далеко за полночь общение продолжалось с бокалом в руке за стойкой, и здесь больше всех, глубже всех, интересней всех говорил Битов — хотя без былой запальчивости.

Тогда, в Ясной Поляне, он поделился с собравшейся в конференц-зале публикой, что начинает день с того, что открывает наугад три книги: Библию, Пушкина и — еще что-нибудь (в ту яснополянскую неделю это был, естественно, Толстой), выхватывает взглядом по фразе, и эти три фразы становятся для него камертоном наступившего дня.

Тогда же он признался, что не читает газет (подозреваю, что и телевизор не смотрит), но тем не менее, сколько раз убеждался я, прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в мире. Или, во всяком случае, о самом главном. Удивительным образом считывает эту информацию с лиц окружающих его людей (а его всегда окружают люди), выуживает из случайно услышанных обрывков разговоров, высматривает в сумятице и красках улицы. Это для него, если угодно, образ жизни, а образ жизни — вещь для Битова чрезвычайно важная. Неслучайно именно так — «Образ жизни» — названа одна из его книг.

Приоритеты налицо: сначала образ жизни (не только и не столько своей, сколько вообще), а уж потом — образ художественный. Великий книгоочей, блестящий интерпретатор литературных текстов, тончайший стилист, он никогда не был рабом слова, пленником формы, демонстратором писательского мастерства, пусть даже и филигранного. И в этом он, бесспорно, продолжатель пушкинской традиции: сначала — и прежде всего — жить, а уж потом писать. Я этому так и не научился.

Не потому ли и отношения со временем у нас разные? Я не опаздываю никогда и никуда, но говорю сейчас об этом отнюдь не с гордостью, а с чувством подавленности. Мой педантизм оставляет мне мало воздуха, я задыхаюсь, вырваться же на волю — с помощью хотя бы благословенного спиртного — становится с возрастом все труднее.

Да, у Андрея Георгиевича свое время, и что с того, что подчас это оборачивается казусами. Была у меня одна студентка, до этого два или три семестра проучившаяся у Битова, в конце концов навсегда сгинувшего из института. (Трудовую книжку забирать не пришлось — он ее так и не отыскал у себя.) Студентка тихая, субличная, робкая, талантливая. Но со странностями. То лекцию пропустит невесть почему, то явится на зачет и молчит, потупившись, хотя, как выясняется через день во время пересдачи, которой добилась мать, все прекрасно знает.

Мать опекала ее постоянно. Частенько звонила мне домой, но, оказывается, не только мне, а и первому наставнику дочери Битову. Я узнал об этом случайно: Андрей позвонил мне и осведомился своим рокошущим баском, тогда еще не попорченным раком голосовых связок: как дела такой-то? С дипломом...

Я опешил. Диплом странной девочкой был защищен, причем с отличием, полтора или два года назад; тогда-то, надо думать, мать на всякий случай и побеспокоила его, попросила замолвить словечко, он пообещал и вот, пусть с запозданием, но сдержал слово. Этот человек, повторяю, живет в своем собственном времени, в котором что значат какие-то полтора или два года! Века — вот единица измерения. Века... Оттого-то и пишет «Воспоминание о Пушкине» (таков подзаголовок большого цикла его статей о поэте). Оттого-то и сочиняет рассказ «Человек, который видел Баха», причем рассказ отнюдь не фантастический.

«По приблизительным расчетам, — говорит автор о своем герое, — ему было триста лет».

Мне куда меньше, но то, что я имею право сказать о себе: «Человек, который видел Битова», овекает меня ветерком вечности.

АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК

Мы родились с ним в один день — 25 декабря, но он на четырнадцать лет раньше. И еще одно совпадение: оперативный псевдоним его отца, расстрелянного энкавэдэшниками в 1937 году, — Киреев.

Впервые судьба свела меня с Александром Евсеевичем, когда я был студентом Литературного института, а он работал заместителем главного редактора журнала «Молодая гвардия». Это был 64-й год. Мой однокурсник Эдик Крылов принес в этот журнал мой рассказ. «Модная тема» назывался он и с молодой дерзостью покусывал тех, кто спекулировал на и впрямь тогда широко эксплуатируемой теме культа личности. После триумфа «Одного дня Ивана Денисовича» таких запоздалых смельчаков развелось множество.

В отделе рассказ решительно отклонили, но Александра Евсеевича это не смутило, как не смутила и моя молодость. «Толковый рассказ, — сказал он твердо, коренастый, рыжеватый, лысеющий, в мохнатом свитере. — Завтра же передам главному». Главный принял сторону отдела...

Второй раз судьба свела нас в 1971 году, когда проходило московское совещание молодых писателей. По итогам совещания три человека рекомендовались в члены Союза. Меня среди этих трех не было и не могло быть, поскольку повесть «Лестница», которую я обсуждал, выпадала из всех тогдашних канонов. Руководитель семинара Юрий Бондарев считал, что я зря потратил время на эту чернуху: вещь о тринадцатилетней падшей девочке и о притонах не будет у нас востребована никогда.

Был уже напечатан общий список, который лег на стол Рекемчуку. Александр Евсеевич как секретарь московского отделения курировал работу с молодыми. И курировал не формально — лично просмотрел все обсуждавшиеся на совещании работы. Все! А кое-что и прочитал. Внимательно... И собственноручно вписал мою фамилию. Не по алфавиту, в самом низу, и потому меня принимали последним. Было ли у него какое-нибудь объяснение с Бондаревым — не знаю.

Минуло несколько лет, и к моему незримому покровителю, теперь уже члену редколлегии журнала «Новый мир», попала рукопись моего романа «Апология». Александр Евсеевич написал чрезвычайно щедрый отзыв, оговорившись, что «это отнюдь не комплименты, не славословие — пора, наконец, даже в хмуrom жанре внутренней рецензии воздавать должное мастерству, когда оно в наличии».

А спустя годы мы наконец познакомились — когда я пришел работать в Литературный институт, а он здесь уже профессорствовал. Вот тут-то при случае я и рассказал ему о наших предыдущих контактах, одном личном и двух заочных.

Александр Евсеевич внимательно выслушал меня, серьезно, даже строго глядя мне в глаза (это был все тот же взгляд, каким он почти тридцать лет назад смотрел на меня в «Молодой гвардии»), подумал секунду-другую и выдохнул: «Не помню, Руслан Тимофеевич. Ей-богу, не помню». И даже как-то смутился.

А ведь память у него отменная. Просто очень многих поддержал на своем веку, за многих сражался, а уж сколько рукописей рекомендовал к печати — не счесть. Последние годы это все больше ученики его по Литинституту. Но и с учениками воюет — неистово и неустанно воюет, предостерегая их от опасностей

легкого успеха, от лености и трусости. Он стал грузноват, одутловат, мало что осталось от рыжих волос, но бывшая сила осталась. Это тот случай, когда нет противоречия между духовным самосохранением и самосохранением физическим. До восьмидесяти в бассейн ходил и играл в теннис...

«Самый крупный, самый мощный — весь в свисающих складках ноздреватой брони, в рыжих космах шерсти, горбатый от старости, лобастый от ума — наверное, вождь или пророк, — поднял к небу округлые бивни, воздел хобот — и трубит, трубит тревожно, взывая к остальной братии...»

Это из его автобиографической книги «Мамонты».

И это, сдается мне, автопортрет.

АНДРЕЙ ВОЛОС

В Кижях мы с Волосом были в среду 11 июля, а во вторник 11 сентября в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы. Ровно через два месяца. Это (что через два месяца) подметил именно Волос со своей цепкой памятью и добавил, заикаясь сильнее обычного: «Вот вам, Руслан Тимофеевич, и Хуррамабад».

«Хуррамабад» — название книги, за которую аккурат в 2001 году, незадолго до нашей поездки в Карелию, Волос получил одну из самых престижных премий. А тремя годами раньше, за нее же — другую, не менее престижную. Но о премиях — после.

Что такое Хуррамабад? Город. Мифический город, которого, разумеется, нет на карте. Это город тюркских сказок и песен, беспечности и веселья, счастья и радости — словом, живое воплощение лада, что я безуспешно искал всю жизнь, однако не нашел не только в себе, не только в собственных сочинениях, но и в сочинении Андрея Волоса со столь поэтичным названием. Причем у Волоса я искал его не только как читатель, но и как редактор, так как несколько новелл из этой книги готовил к печати.

Книга-то трагическая. О кровавых событиях в Таджикистане в начале девяностых годов, после распада СССР...

Это время и это место — — Андрей Германович Волос знает не понаслышке. Здесь он родился, здесь рос, здесь напечатал в журнале «Памир» свои первые стихи, о чем до сих пор вспоминает с благодарностью. И здесь же прочел Большую Советскую Энциклопедию, второе издание, в пятидесяти одном томе.

У меня — третье издание, там всего тридцать томов, и я никогда не читал их сплошь, просто залезал по мере надобности, он же — именно сплошь. «Том за томом, — сказал он, — по принципу ковровых дорожек. — И добавил: — Увлечательная, доложу вам, вещь».

Началось его запойное чтение — не только энциклопедии, а всего, что попадалось под руку, с семи лет. У Волоса нет литературного образования, нефтяной институт закончил, но столь начитанного, столь знающего и любящего книгу человека я среди писателей встречал не часто.

В Карелию нас командировал фонд Филатова для работы с молодыми писателями. Пора белых ночей уже миновала, но и в двенадцать, и в час, и в два было светло, по набережной гуляли люди, почти все с пивом (мы не представляли исключения), жарились шашлыки, и звучала, причем довольно громко, музыка, но она не мешала нашим беседам. То была наша первая совместная поездка, но не первое совместное пребывание на одной, скажем так, территории: в шестом номере «Нового мира» за 1990 год, задолго до Петрозаводска и Кижей, были опубликованы подборки наших рассказов. Моя — маленькая, его — большая. Из этой большой мне запомнилось одно парадоксальное на первый взгляд суж-

дение, которое я разыскал сейчас и процитирую дословно: «Достичь цели можно только тогда, когда она совершенно недостижима».

Что имел в виду тридцатипятилетний геофизик Андрей Волос, когда писал это? Литературный успех? Но как, чем измеряется он? Читательским вниманием? Но в годы, когда Волос начинал, читательский интерес к серьезной литературе — а он делал литературу серьезную — стремился к нулю. Тиражами? Но какие тиражи у той же серьезной литературы? Премиями? О, премий в постсоветской России расплодилось множество, и вот с ними-то Андрей Германович работать умеет.

Есть, например, Букер, а есть (вернее, был — сейчас нет, умер) Антибукер, на который он представил рукопись «Хуррамабада» и, обойдя самого Виктора Астафьева, стал победителем. Потом рукопись превратилась в книгу и принесла автору уже государственное признание, то есть Государственную премию, которой в таком возрасте редко кто удостоивался. Потом — премия «Москва–Пенне». Потом — журнала «Новый мир». Потом... Тут я ставлю многоточие, поскольку уверен, что премии будут еще и еще, ибо, не станем забывать, «достичь цели можно только тогда, когда она совершенно недостижима». Не знаю как относительно других, но применительно к Волосу эта максима очень даже справедлива.

Не только в литературе... Не только в премиальных марафонах... Когда обстоятельства заставили его заняться обменом квартиры, то он настолько дотошно изучил это архисложное, на мой взгляд, искусство, что стал на некоторое время профессиональным риелтором, а после написал об этом роман под названием «Недвижимость». Хороший роман. Крепкий. Я внимательнейшим образом прочел его три раза, поскольку редактировал эту вещь, тоже, кажется, отхватившую какую-то премию.

Много часов провели мы с ним над рукописями — и его, и чужими (вели мастер-класс в Липках), и я всегда поражался, как быстро и точно схватывает он не только литературную реальность, но и реальность как таковую. То бишь жизнь...

«Свойство гениальности в отношении к жизни, — написал он однажды, — присуще далеко не каждому, но в житейской практике встречается довольно часто».

Не знаю, как насчет «часто», но случай Волоса — именно тот случай. Рассказ же, откуда я выписал приведенные только что слова, называется «Гений жизни» — к его автору этот образ относится в полной мере. Хотя на гения он не похож ни капельки — ни тихим говорком своим с легким заиканием (при этом он отличный рассказчик), ни манерой одеваться, напрочь отторгающей галстуки и прочие аксессуары, ни полным отсутствием снобизма. Наше общение в Петрозаводске с молодыми писателями началось с того, что Волос прочел им несколько своих стихов.

Он убежден, что писателем становятся по ошибке, ибо «желание стать писателем возникает в детстве, когда человек ничего не знает об этой профессии».

Бог весть, прав ли Андрей Германович, но если и прав, то его ошибка дала превосходные всходы. О чем, впрочем, он распространяться не любит.

...В Кижии из Петрозаводска мы плыли на «комете». Подсевший к девушке Волос потягивал из банки пиво и, наклонившись к своей спутнице, что-то проникновенно говорил ей. Потом отправился в буфет и для нее тоже купил баночку.

Я не последовал его примеру: моим соседом оказался седобородый батюшка, и при нем я не дерзнул предаваться пусть слабому, но все же алкоголю. Это при моих-то так и не сложившихся отношениях с Богом!

А у Волоса? Сложились ли у него? Мы никогда не говорили с ним на эту тему, но мне привелось редактировать для журнала некий его текст, из которого я сделаю сейчас еще одну, теперь уже последнюю выписку.

«Мне всегда казалось, что Бог — это та черная неизвестность, что окружает человека... Зачем Ему, при Его могуществе, мы могли понадобиться? Во-первых, следить за всей этой земной суматохой необыкновенно хлопотно. Во-вторых, для удовольствия, связанного с любованием плодами собственного труда, Он мог бы создать и что-нибудь более привлекательное».

Мне кажется, этот иронический пассаж свидетельствует об отсутствии каких бы то ни было терзаний по поводу несостоявшихся отношений с Небом. Да и пытался ли он когда-либо наладить их? Зачем, коли в душе и без того лад?

МИХАИЛ БУТОВ

«...До смерти надоело таскать из одной бессмысленной точки пространства в другую свое тело, ничего хорошего уже не обещающее, свою деревянную голову, скуку, депрессии (становящиеся не то чтобы глубже — но безысходнее), свое бесконечное — и напрасное ожидание трансцендентных подсказок, исковерканную в детстве личность, психологические проблемы, страхи и попечения».

Михаил Бутов сделал — публично — это горькое, это отчаянное признание в 2007 году, когда ему уже стукнуло сорок один, пик же формы, жизненной и творческой, пал, по собственным его словам, на 95-й. Именно тогда он пришел работать в «Новый мир» — на год, меньше чем на год, раньше меня.

«В это время я переживал кульминацию своего интеллектуального развития, способности концентрироваться на вещах, да и немалый духовный подъем. Ангел не отлетал от меня ни на минуту. Рюмка водки не отупляла, а придавала жизни... О своем будущем и тем более о деньгах не думал вовсе, потому что преисполнился абсолютного доверия к судьбе и бытию, которые, разумеется, должны были предполагать для меня, талантливого, не склонного (еще) к излишества, депрессии и истерическим проявлениям, молодого счастливого папаши, исходы во всех отношениях успешные, а вовсе не диабет, артроз, гастрит, дистрофию сетчатки, хронический стресс и неуверенность в завтрашнем дне».

И вот что, оказывается, произошло за двенадцать лет, причем произошло на моих глазах — первые три года сидели даже в одном кабинете. Он писал тогда роман «Свобода», долго, трудно, мучительно писал, чуть ли не каждый день объявляя, едва переступив порог редакции, что бросает, потому что изнемог, потому что бездарен, потому что слова, сволочи этикие, не слушаются его.

И все-таки он эту вещь завершил...

Роман стал лучшей публикацией «Нового мира», о чем свидетельствует годовая премия журнала. И вообще лучшим русским романом года, о чем свидетельствует теперь уже другая премия, на сей раз Букеровская. Бутов воспринял ее — и принял — спокойно, очень достойно, как нечто само собой разумеющееся, хотя это был первый его роман, а его автор, в свою очередь, был самым молодым лауреатом этой в то время самой престижной и самой денежной премии.

Затем — десятилетнее молчание, если не считать двух небольших рассказов, нескольких эссе и перевода романа Сэмюэля Беккета «Мерсье и Камье». Устал? Погрузнел — не только физически (в одном из текстов он упоминает «недобрым словом свою комплекцию»), но и духовно? Мне так не казалось. Помню, как после одной редакционной вечеринки, когда, по традиции, я, уже веселенький, стал зазывать коллег к себе домой, чтобы продолжить, он, единственный из всех, с легкостью поднял свое грузное тело, и мы потащились на другой конец Москвы, в мое благословенное Бибирево.

Как славно говорили мы тогда на кухне! Как славно говорили мы, потягивая коньячок, на лестничной площадке, ибо, воспитанный человек, он отказался курить в квартире! Как славно распрощались за полночь, и как удивился я, когда спустя полтора часа он снова позвонил в дверь, поведал о конфликте с милицией, не пустившей его в метро, после чего я, обесточенный, завалился спать, а моя жена до утра отпаивала его кофе и беседовала с ним о музыке, в которой Миша Бутов знает толк не меньше, чем в литературе. И о которой так хорошо пишет.

На другой день мы встретились с ним в редакции, и он в память об их совместном ночном бдении послал моей жене сувенир с трогательной благодарственной надписью. Ну как тут повернется язык сказать, что этот человек тяжел на подъем!

А куда девалась вся его грузность, когда, помню, на работу к нему являлся в сопровождении жены маленький сын! Грозный ответственный секретарь весь расплывался, и, глядя на него, видели, какой он счастливый отец. И какой у него счастливый сын... И как замечательно находят они общий язык... Об этом — рассказ «В карьере», но не только об этом. Именно тут я нашел ответ на вопрос, почему молчит столь рано и столь щедро увенчанный лауреатскими лаврами писатель Бутов.

Вскользь упоминает автор некий «ерундовый наборчик: два-три серьезных поступка, важных события, несколько ярких впечатлений» — наборчик, который поначалу представляется «всего лишь прологом к чему-то грядущему, значительному», а на поверку оказывается «полной судьбой, и прирастать ей дальше как-то уже нечем, кроме повторений и неизбежного горя».

Признаться, даже мне не видится будущее столь мрачно, а ведь я живу на свете на добрые четверть века дольше его.

«Как тесную арестантскую одежду, учишься чувствовать свои пределы, за которые не пройти и выше — не подняться».

Вот он — искомый ответ. К чему мне остается прибавить, что все когда-то бывает в последний раз. Миша Бутов понял это, кажется, раньше меня. Гораздо раньше...

Все когда-то бывает в последний раз, в том числе и жизнь, так стоит ли тратить ее на писание каких бы то ни было текстов, пусть даже и весьма недурственных!

АНАТОЛИЙ ШАВКУТА

Нагрывший в 90-х годах рынок поначалу его обласкал, но не на литературном поприще, которое он на время оставил, а в бизнесе. Монтажник по профессии, которой он, между прочим, всегда гордился, равно как и своими нелитературными друзьями, он каким-то образом обзавелся в начале девяностых гостиницей, стал важным, перестал пить — а вот уж он-то пил крепко, до обрыва, с которого лишь чудом не срывался. Его предпринимательский успех не был случаен, великолепный организаторский дар прорезался не вдруг — он всех нас удивил им еще в советские времена, когда предложил издать сборник под названием «Мой лучший рассказ», причем лучший — по мнению автора. Хорошая идея, но надо знать советскую издательскую систему, чтобы понять, насколько трудно было воплотить эту идею в жизнь.

Шавкута воплотил. Догадываюсь, чего ему это стоило, сколько он обошел инстанций, сколько писем написал и по каким телефонам звонил, но этот уникальный в своем роде сборник лежит сейчас передо мной. Распутин и Битов, Маканин и Екимов, Лихоносов и Ким — три десятка авторов, и каких разных, в

разных живущих городах... Со всеми он нашел общий язык, всех убедил, что в книге не будет некачественных текстов, соседство с которыми способно скомпрометировать тексты качественные, и слово свое сдержал. Но это не все. Сборник еще не вышел из печати, а Анатолий Дмитриевич уже носился с новой идеей — на сей раз идеей четырехтомника, под придуманным им общим названием «Современная московская повесть». Грандиозный проект. Грандиозный, но нереальный — все мы были убеждены в этом. Сейчас, однако, и этот четырехтомник лежит передо мной...

Такие вот организаторские способности. И при этом собственных книг издал немного, к тому же — все небольшие, в бумажных обложечках. Одно дело — пробивать других, хлопотать за других, доказывать художественную состоятельность других, а иное дело — говорить о себе.

Этого Анатолий Дмитриевич не любил. Да, собственно, ему и не надо было говорить за себя — за него говорили его тексты, короткие, емкие, с живыми героями и живыми словами.

«Красоту жалко», — назвал он один из своих сборников, и я до сих пор слышу интонацию, с которой он произносит эти два слова. Он действительно из числа тех людей, которые чувствуют красоту и которым красоту жалко.

В Америке, в штате Нью-Мексико, нас повезли в дом-музей некогда жившего здесь русского художника Николая Фешина. Домик небольшой, под экспозицию выделены две или три комнаты, но Шавкута так долго стоял возле каждой работы, с таким восторгом рассматривал их, что пропустил чай, который устроили хозяева для нашей маленькой делегации. Зато, единственный из всех, получил в качестве компенсации каталог выставки.

Это обрадовало его как ребенка. И еще как ребенок радовался он, когда купил в Вашингтоне за сто с лишним долларов — немыслимая сумма для валютного бюджета советского человека! — детскую швейную машинку. То была многократно уменьшенная копия настоящей машинки, которая, как и взрослая, выполняла множество операций.

Своих детей у Шавкуты нет, машинка предназначалась племяннице, и он предвкушал, какое ошеломляющее впечатление произведет на русскую девочку этот заокеанский подарок. Никто из нас не посмел осудить его за транжирство, хотя сами мы свою скудную валюту тратили на вещи куда более утилитарные.

Шавкута не мог так. Деньги не держались у него — ни русские, ни американские. Вот и свой гостиничный бизнес, приваливший ему в начале девяностых, потерял чуть ли не в одночасье — скорее всего, по пьяной лавочке. В этом состоянии он вытворял подчас вещи невообразимые.

В Америке он не пил. Абсолютно. Хотя возможностей представлялась масса, он, светло и немного растерянно улыбаясь своим круглым лицом, довольствовался соком. Сдержал-таки слово, что дал тогдашнему руководителю Союза писателей Владимиру Карпову, который отважно — не зря носил Звезду Героя — за него поручился.

Вернувшись в Россию, отвел душу за все трезвые американские дни, после чего на дверях ЦДЛ появился очередной плакат: Шавкуту не пускать.

Неистовое саморазрушение останавливало лишь отсутствие денег. Жил он от пенсии до пенсии и однажды подробно, с каким-то даже вдохновением рассказал мне, как у него получается это. Закупает в день пенсии по специальному списку продукты — крупы, комбижир, овощи, консервы, даже специи, вплоть до лаврового листа, причем в дело, с гордостью поделился он со мной своими кулинарными хитростями, идут даже отходы. Из картофельной кожуры, например, получают великолепные оладушки.

При этом он писал стихи. Писал прозу, кое-что даже печатал. Царский подарок сделали ему его бывшие коллеги-монтажники: скинувшись, издали увесистый том прозы. Автор раздарил почти весь тираж, но кое-что удалось продать. Подходил на улице к интеллигентного вида человеку и — с ходу: «Мужик, купи мою книгу!». Причем заранее держал ее открытой, на своем фото, чтобы потенциальный покупатель мог, сверившись, убедиться, что ему не вешают лапшу на уши.

Кто-то покупал, а кто-то вел писателя распить с ним бутылочку. Но пилося Анатолию Дмитриевичу все труднее, все чаще закусывал не колбаской с огурчиком, а лекарствами, причем по специальной, самим им выработанной методе. Это был целый ритуал. Он поведал мне о нем подробнейшим образом — вдруг пригодится! — со вкусом поведал, мастерски, будто очередной рассказ писал.

Я слушал и вспоминал название его лучшей, пожалуй, книги — «Красоту жалко». За нее он получил в свое время премию Антона Чехова.

БОРИС ЕКИМОВ

Екимов о смерти говорить не любит. Однажды я на правах ровесника заикнулся было о том, что, дескать, пора нам, Боря, подумать о скором уже конце, но он замахал на меня руками: «Ты что! Ты что это! Скоро арбузы пойдут... Ты знаешь, какие у нас арбузы?! А помидоры!».

У нас — это на Дону, в городе Калаче, в котором я ни разу в жизни не был, но который отлично знаю по его рассказам и повестям. И о городе знаю, и о его окрестностях, и о таких не похожих друг на друга людях, которые населяют их. «На многие километры все свое: земля, вода, небо». Екимов не выделяет слово «свое», даже, по-моему, не замечает его, но для меня оно — ключевое.

Да, он не любит говорить о смерти, но в название своей поздней повести вынес пушкинские слова, полемически оборвав строку: «Предполагаем жить... и глядь — как раз — умрем». Повесть так и называется: «Предполагаем жить» и увидела свет как раз в тот день, когда ее автору в Доме русского зарубежья вручалась литературная премия Солженицына. В связи с этим, собственно, я и выступал, но это уже во второй раз, а в первый — в связи с другой премией, имени Юрия Казакова, за лучший рассказ года.

Будучи председателем жюри, хорошо помню, что он был тогда единственным из многочисленных соискателей, по поводу которого не велось споров. Ни среди членов жюри, ни в комментариях прессы... Я вообще не знаю ни одного человека, которому была б не по душе проза Екимова. По-моему, это случай уникальный. И дело здесь не в том, что Борис Петрович старается угодить всем, — напротив, он вовсе не озабочен тем, чтобы кому-либо понравиться. Читателям ли... Редакторам... Критикам... Членам различных жюри... Его независимость отнюдь не напориста, она тиха и даже чуточку иронична — лишь слегка покривится, если с чем не согласен, да выразительно гмыкнет, но от этого выглядит еще тверже. Я говорю не только о независимости литературной, но — прежде всего — человеческой.

Когда в девяностых годах обрушился книжный — да и журнальный тоже — рынок и писатели оказались на мели, Борис Петрович, тогда уже признанный мастер, чьи произведения входили в школьную программу, пошел работать разъездным корреспондентом в районную газету. Не принялся ныть, как многие его собратья по перу, а взвалил на себя журнальную поденщину, как всегда, спокойный и, как всегда, подтянутый.

А двумя или тремя годами раньше я был свидетелем той же екимовской независимости, когда с группой писателей мы оказались в Америке, в экзотичес-

ком штате Нью-Мексико. Все, в том числе и я, грешный, жадно бросились любоваться этой самой экзотикой, а Екимов вместо этого попросил показать ему простую американскую больницу. Хотя, насколько знаю, об американской больнице, вообще об Америке, как, впрочем, и о Москве, например, никогда не писал. Место действия его сочинений неизменно, ибо является и местом его постоянного жительства. Но из своей южной российской глубинки он внимательно следит за всем, что происходит в мире, за всем, что делается в литературе, и здесь выказывая полную независимость суждений. Так, являясь в 1997 году членом букуеровского жюри, до конца боролся за дебютный роман тогда еще совсем юного Антона Уткина, не боясь остаться не только в меньшинстве, но и в полном одиночестве.

То не было разовым эпизодом. Молодых он поддерживает страстно и последовательно, где только не отыскивая своих подопечных. То в задонских степях, то в городке Мезень, что в Архангельской области. И если его просят написать напутственное слово (а я, работая в «Новом мире», просил), то делает это незамедлительно.

Мы привыкли видеть Екимова в хорошем расположении духа, но это когда на людях, когда же наедине с собой, наедине с бумагой, то накатывает разное. Удивляется вдруг, что, поднявшись чуть свет, идет к яблоне и без устали ест нападавшие за ночь прохладные плоды. Прежде не замечал за собой такого. Может, соскучился — в прошлом году не было урожая. «А может, просто хотенье или старость: душа почуяла, что ей недолго осталось».

И тут же обрывает себя: «Нет, не будем об этом ни говорить, ни думать. Будем жить, пока нам дано, и радоваться по-детски счастливо и ненасытно всему...»

Счастличик!

Юрий Малецкий

Как я побывал в Мадриде

« ... »;

« ... »

(1952 . . .),

« ... », « ... », « ... » ..

1986 — . . . 1977 . . .

« ... »

« ... »

(« ... »),

« ... »

« ... »

« ... » 2016 ..

Это пребывание, о котором не нужно напоминать дважды, до того врезалось оно мне в память. За пару дней я прожил целую малую, но бесконечно малую жизнь. А это стоит иной жизни конечной, пусть и большой.

Я исколесил более половины континентальной Европы, и, если бы меня спросили: тебе еще чего-то хочется увидеть на континенте? — ответил бы: да, ответьте меня в Мадрид, пустите в Прадо, чтобы я увидел Веласкеса «Менины» и «Пряхи», — и потом можете и Мадрида не показывать, а везите прямоком до Бреста, а там уж я по шпалам.

На ...летие один друг взял да и подарил мне дешевый билет до Мадрида и обратно. Три неполных дня. В дьюти фри я обнаружил вещь небывалую: «Джек Дэниэлс. Сингл баррел. Сильвер. Алк. 50%». За 20 евро. Трудно представить, прав-

да? А правда. Я ее прихватил в переметную суму — и в Мадрид. Самолетом это очень недолго. Мой билет по горячей линии кормежки не предполагал, но я могу долго не есть, если есть что пить. И отпил граммов сто тридцать «Джека Дэниэлса. 50%». Серьезно, меньше ста пятидесяти граммов, у меня на это глазомер поставлен. Ну, на случай вдруг прорезавшегося аппетита, чего от себя не ожидал, по дороге на самолет прикупил еще колбаски с хлебушком.

Я полетел в город, чье название связано с его арабским происхождением — (от арабского слова «majra» — «водный источник»). При добавлении частицы it («обилие») получается слово «majer-it», обозначающее «источник полных вод». Это название, данное городу арабами, связано с водными богатствами подземных пластов города, щедро питавшими как сам город, так и близлежащие окрестности. После отвоевания города христианами его название получило кастильское звучание и произносилось в Средние века как «Magerit», превратившись впоследствии в «Madrid» (эта, скажу вслед поэту, «цитата-цикада» из Википедии, что бывает, увы, не всегда, представляется мне добросовестной, так почему бы ею не воспользоваться?).

Я хотел, я желал в «Мадрит», где все, стоило вспомнить город, в котором не был, насквозь пропахло лимонами и лавром. В бесконечной кишке мадридского аэропорта, пройдя все, что можно и чего нельзя, я получил карту с крестиком на остановке метро «Банко ди Спанья», откуда до Прадо следовало пять минут идти пешком, предупреждение: музей уже закрыт, но все равно, если вы так хотите, то отсюда до него нужно добираться вот так, и такая-то остановка. Мне казалось, это рядом; билеты на метро в малом Мадриде все стоят один евро; я шагнул на эскалатор.

Когда-никогда все должно случиться, случилось и это: я вышел в ночь на «Банко ди Спанья».

Темная ночь быстро переходила в черную-черную ночь. Все созвездия на вороненом небе висели низко и были видны, как лампочки на тысячи тысяч вольт. Был конец марта; запаха лимонов я не учуял, а вот лаврового дерева — пожалуй. Вперед и вверх вела улица Алкала. Сбоку были какие-то роскошные сады.

Я шел и думал, что сравнительно недорогую гостиницу в конце марта я сниму в любом случае. Времени — всего полвосьмого. Мне бы только снаружи увидеть Прадо — а там и в отель...

Я шел вверх по Алкала, затем свернул зачем-то — из любопытства — вправо. Там пошли переулки, напоминающие арабские кварталы в Париже. Я зашел в какой-то более-менее «белый» бар, взял стаканчик красного. «Где ближайший отель?» Бармен усмехнулся: «Это зависит от того, есть ли у вас хотя бы 100 евро». — «За одну ночь на одного?» Молчание. Я понял — вопрос чисто риторический. Я решил, что он шутит, вышел, сел на скамейку. Кругом стояли дома, напоминающие отели. Но это были крепости: каждое окно было закрыто плоскими, как школьные линейки, чугунными решетками в виде ромбов. Я нажимал кнопки звонков, но никто не отзывался. Становилось холодно, все холоднее, и я начал понимать, что такое юг Европы в точке Кастилии: это когда днем жарко, а ночью — наоборот. Чтобы согреться, вынул заветную «Джек Дэниэлс» и отпил добрый глоток. Все-таки 50% — это 50%. Покуда не мешает, 50% жить помогают. Я откусил сухой испанской колбасы «чоризо», которой обзавелся не помню как и где по ходу, кусок испанского хорошего белого хлеба — и подобрел. Хорошо, Бог с ним, с Прадо, найду ночлег, а там завтра...

Я увидел огненную надпись «Отель Кармен». Ура. Подошел и позвонил. Подождал. Чугунная решетка сузилась, раздвигаясь. «Сколько стоит одна ночь в вашем отеле?» Меня впустили. Черно-седая женщина с орлиным носом сказала: «Есть две комнаты. Одна 65 евро — вторая 55». — «Покажите». Та, что дороже, была

убога, но туалет и ванна были внутри. Вторая была убога не менее, но удобства — снаружи. Я сказал: «Беру за 65». Она дала мне ключ. «Плата вперед». А если вторая? Тот же самый ключ. «Плата вперед». — «Да... но как же это — один и тот же ключ? Тут что — у всех одинаковые ключи?» Не знаю, что ей показалось в моем вопросе, — но что-то недоброе, — хотя с какой бы стати? — только она выдрала ключ из моей руки и заорала, чтобы я убирался — это я понял и без знания испанского. Я пытался сказать, что беру любую из комнат, но все это было бесполезно: она орала и орала, чтобы я убирался, убирался, убирался! Это воронье злобное карканье буквально выдуло меня из двери, которая тут же захлопнулась и покрылась чугунной ромбовидной решеткой.

Я вернулся на ту же скамейку. Чем я ей насолил? Может, она приняла меня за полицейского? Или бандита? Вот уж ни на того, ни на другого я не был похож. Отпив еще глоток, начал соображать.

Что дальше? Я встал и обошел еще несколько таких же хат или малин под названием «Отель». Звонки молчали. Свет не загорался. Двери не открывались.

Я вернулся. Откусил колбасы и хлеба. Мне показалось, ночь запахла-таки лавром; дай срок, запахнет и лимоном. Ночь пахла лавром все сильнее. Было уже девять вечера. Кругами в темном, едва освещенном тусклыми огнями пространстве ходил мусорщик. Он улыбнулся, мы начали разговаривать на разнообразных языках — в основном на языке жестов. В итоге я понял: нехороший это район, и тут ходят нехорошие ребята, и если у меня есть что грабить, то лучше тут не сидеть...

В самом центре Мадрида, даром что за углом и грязновато. Не может быть.

Рядом ходил какой-то паренек. Потом подошел. Разговор завязался на скверном английском.

— Откуда?

— Из Мюнхена. Германия.

— И что? Ищешь отель?

— Ну да. Не слишком дорогой.

— Пойдем. Я тут знаю кое-кого.

Но, куда бы мы ни шли, кого бы он там ни знал, все отельчики были полным-полны.

— Но уж вот этот всегда открыт.

Я подошел. На отеле было крупно написано: «Samara».

— Ты сходи, — сказал я, — я устал. Да и толку не будет.

— А я говорю — будет.

— Вот и сходи, если вправду хочешь помочь.

Я обнаглел от холода и усталости, но чувствовал свое какое-то право так говорить, поскольку оно обеспечивалось моей готовностью помочь другому, если бы мы поменялись местами.

Через три минуты он возвращается.

— Откуда ты знал, что нет мест?

Я и не знал. Просто чувствовал спиной. Это название моего родного города. А в родных местах даже в чужих странах ты хуже чужого.

— Ишь ты.

Мы еще погуляли. Нигде ничего ни за какие. Этого не могло быть, но так и было.

И тут он с интересом стал разглядывать мою сумку. Из нее торчало горлышко «Сингл баррел. 50%».

— Выпить хочешь? На, согрейся.

Он отпил. Потом как-то странно посмотрел на меня.

— Закусить? — Я вынул «чоризо».

— А хлеб есть?

Я полез за хлебом; и тут произошло двойное действие: он стал тянуть мою сумку на себя, видимо, думая, что я не из самых бедных туриков, раз так пью и закусываю. Я же, еще не поняв, что происходит, вытащил большой составной китайский нож — если сложить, там были и вилка и ложка, я хотел отрезать ему хлеба, но для этого достаточно было вынуть половинку с ножом. А, надо сказать, такие вот дешевые «обеденные» китайские ножики довольно велики — если туда входит, пусть компактно, столовая ложка. И тут он слишком открылся в своих намерениях — меня просто-запросто ограбить, а я, может быть, случайно, пытаясь отрезать краюху хлеба, направил большое лезвие ему в живот, и он вдруг куда-то растворился.

Я слишком устал, чтобы анализировать происшедшее, не то бы испугался. Я еще никого не резал ножом, да и в этот раз не собирался. Он меня неправильно понял, но из этого следовало только, что ему уже приходилось такие действия понимать правильно.

Мусорщик подошел, посмотрел на меня с уважением и сказал, в основном на языке жестов, вставляя меж ними кое-где слова, в которых, если очень захотеть, можно было распознать английские — или похожие на них:

— Ты — мачо. Но все равно уходи отсюда. Он может прийти не один.

Я уже понял, что в этом городе соблюдают правила, и вернулся на улицу Алкала. Тут было принято курочить людей только в закоулках, отходящих от центральных улиц, а не на самих центральных улицах.

Но где же все-таки Прадо? Этой мыслью я пытался отогнать другую, может быть, и второстепенную, но все же: где я все-таки буду ночевать?

Я дошел до Пуэрта-дель-Соль. Это был резковатый подъем — холмистый город, ничего не поделаешь. Улицы же широкие и какие-то не длинные, а длинные. Тут было много отелей, но не в моем вкусе. Я давно успел заметить, что вкусы изменчивы, и прежде всего в зависимости от цен. Напутственная фраза бармена: есть ли у меня хотя бы 100 евро за ночь, подтверждалась с лихвой. 100 евро в некоторых отелях вызывали вежливую улыбку, поднимавшую цену едва ли не в разы.

Что же это за город? С ума сойти. В Париже, даже в Риме (а в нем разве что дождливые зимы не сезон, да и то — Рождество) в конце марта я, успокоясь и побродив со вкусом, не запросто, но и без большого труда мог найти клоповник (что мне надо-то было? Пусть даже две звезды с удобствами частично в коридоре) за 50 евро за ночь. Но этот город!

Все было закрыто, все в чугунных сетках-ромбах.

Хорошо, подумал я. Хорошо, злой город. Перейдем на класс выше. Зайдем в отель четыре звезды. Пусть 100 евро за ночь, пусть одна ночь, а вторая в аэропорту до утра, а уж третья в самолете, но я попаду в Прадо.

И я прочесал отель за отелем, в которые раньше не заходил, но заметил. Увы, мест не было, хотя цены колебались от 150 до 200 евро.

— В Мадриде в любое время года бронируют номера за два месяца, — ласково сказал мне один портье. — Вы не знали? Очень жаль.

Я вышел на улицу. Одна из девушек, сидевшая за барной стойкой, пошла за мной. Вся в черном, черноволосая и черноглазая, с ресницами, замазюканными черным до неба, пахнущего теперь не лавром и не лимоном, а ее, назовем это, парфюмом. Юбка ее была коротка, насколько ее можно было назвать юбкой.

— Дорогой, я найду тебе место, где можешь переночевать. Возьми мне двойного виски без воды, и я тебя отведу.

Я уже был в поддании и просто показал ей своего «Джека Дэниэлса». Видимо, она разбиралась в напитках и поняла, что ее ждет кое-что получше простого скотча.

Мы пошли. Она сделала хороший глоток, но не учла, что 50 это не 40. Ее шатнуло.

Мы шли по темным закоулкам Мадрида, пока я не изнемог, и тут она постучала в окно. В ответ раздалась злобная брань.

— Это моя мать. Она меня не пускает. Вчера пустила, а сегодня нет. — Это тоже было сказано на языке жестов плюс пара английских слов. — Прости, дорогой. Дальше ты пойдешь один. Буэнос ночес.

И пошла куда-то за угол; может, там жила ее тетка или подруга. Но мне там места не было.

— Хорошо, скажи хотя бы, где вокзал.

— Аточа? Вниз пятнадцать минут до Банко ди Спанья, а там направо еще десять минут. Целую, мучачос.

То есть я возвращался к исходной точке, потратив на это полтора часа пешего ходу вверх-вниз.

К этому моменту моя кожанка промокла от пота и начало знобить изнутри, снаружи тоже не грело. Мадридская ночь наступала быстро; я отхлебнул виски, думая согреться, — и согрелся, но ноги начали отказывать. Вот в чем беда спиртного, любого, но пятидесятиградусного особенно — помогает в одном, но затрудняет другое. Пешеход на дальнейшее расстояние не должен пить крепких напитков; он вообще пить не должен; но понял я это только сейчас. Я уже не шел, а ковылял, и моя легкая поклажа стала очень тяжелой.

Но вот и Банко ди Спанья. Итог: я прогулялся по ночному Мадриду, толком ничего не увидев (этот город не очень озабочивался подсветкой, так, слегка, помадридски, дон-хуански, чтобы за углом дуэли проходили без особых вмешательств полиции), потратив на это три часа (и это после всего, что связано с полетом и тэпэ, всегда нагоняющим усталость), гуляя при этом вверх-вниз по сильно холмистой местности. Вообще-то я освежился, но освежиться и отдохнуть — как выяснилось, вещи разные. Оставалось провести ночь на вокзале, сидя, а я не умел спать сидя, даже когда отказывали ноги. Но это еще ничего; однако надо было пройти еще десять, а то и пятнадцать минут, а ноги отказывали все более, мстительно наказывая за каждый согревающий глоток. Я взмок изнутри и был заморожен снаружи. Но разница температур холодного пота и почти что инея сверху была невелика. Жарило только в желудке: если долго пить, особенно то, что пил я, и почти не закусывать, начнется невыносимая изжога. Я стал согбен, как горбун, закулемавшись в самого себя. Кто и зачем занес меня сюда?

А кругом одни сады, парки и дворцы. О, Испания! О, Мадрид! Ты весь пропах лимонным дезодорантом и лавровым листом из супа-лапши.

Хромая на обе ноги и сгорбатившись под рюкзачком, в котором и было-то то, что осталось от этой бутылки, куска колбасы и куска хлеба, зубная щетка и тюбик зубной пасты, карманный детектив любимого Д.Х. Чейза и пара белья (а как стало невыносимо тяжело), — пошел вниз, к вокзалу Аточа. Пахло лимоном и лавром. Стояла черная тихая ночь, и, ей-богу, лучше бы пули свистели в темноте между этими садами, парками и дворцами...

Я шел все вниз и вниз. Пот изнутри стал ледяным, тогда как снаружи все ледяным и оставалось. Я встряхивался, чтобы рюкзак не так оттягивал спину, и вытирал грязным уже давно платком пот со лба. Я останавливался и все равно глотал 50% отраву в упорной надежде, что она принесет второе дыхание.

И тут слева, за кипарисами или еще чем-то густо-зеленым, на фоне очередного белого дворца я увидел белую скульптуру. На меня сквозь туман моих смежающихся от последней усталости очей глядел сидящий белый каменный человек.

И это за ними я приехал семь верст такого киселя хлебать!

Вот к кому и куда вело и привело меня имя моего соседки Диеги! Я и хотел-то в первый день только выпить со статуей Веласкеса и поклониться. Не могло же тут не быть его памятника. И вот он, передо мной. Так иди же. Вот он, тебя дожидается. И у меня было что выпить и какой молчаливый тост сказать. Но моя сухая, обожженная почти бутылкой 50% спирта глотка, мои натруженное сердце, отравленная печень, желудок на грани прободения — больше не могли пить. Я мог только упасть здесь от изнеможения. Будь ты проклят, Диего Родригес де Сильва-и-. Вот сейчас — сил больше нет — я упаду перед твоей статуей и замерзну насмерть. Вот это и будет поклонение и любовь по-испански.

Но я знал, что не могу себе это позволить. Мне подарили Мадрид на два дня — и не мог же я плюнуть на этот подарок.

И я пошел вниз к вокзалу. Еще минута, вторая, третья. Шагай, шагая, шагаю, марш-марш. Марш левой-два-три. Встань в ряды, камерадо, к нам.

И когда я не мог больше шагать, я взмолился: каудильо Франческо Франко и ты, геноссе рейхсмаршал Геринг, вы, обогащенные наукой и техникой современного точечного бомбометания, пустите десяток тонных бомб на эту белую точку среди кипарисов, пока мирные люди спят, кроме меня, бездомного побродяги; раздолбайте к чертям собачьим, отправьте в свои черные испанские тартарары всех этих Сурбаранов и Эль Греков, Тицианов и Рубенсов, Дюреров и ван дер Вейденов, Босхов и Брейгелей, а главное — Веласкеса, всех этих богов живописи, которые могут все, кроме одного — найти ночлег бездомному замерзающему бомжу; но пусть не тронет этот бомбовый удар ни одного живого человека, ни ребенка, ни женщину, ни старика, не нарушит их мирного сна, пусть эти бомбы будут с глушителями, чтобы люди спали — пусть и Эль Греки, и Рибейры, и Рубенсы летят враскоряку на все четыре ветра, но останутся целы, и только меня, замерзающего побродягу, пусть пришьлет насмерть тяжелой «Сдачей Бреды» Веласкеса. И накроет сверху парой его огромных конных портретов — Филиппа ли IV, министра ли внутренних его дел Оливареса — все едино, лишь бы потяжелей. И для надежности двумя досками Дюрера «Адам» и «Ева». И для пушей надежности дощато-тяжелым триптихом Босха — отзывающимся в этом краю на горделивое погоняло дон Эль Боско — «Сад наслаждений» — в свернутом виде — так, чтобы по позвоночнику. Чтобы раз — и ах. Чтобы впечатать меня в асфальт, где, вдохнув напоследок запах Веласкесова волшебства сверхжизни, смешанный с мертво-резиновым запахом асфальта, я больше не буду. Ничего не буду. Потому что не будет самого меня, да в общем ничего и не было и нет, разве что я сам, но больше не буду. Поверьте, это было тяжело. Тем-то Веласкес и отличался от меня, что ему не было тяжело сидеть на морозе. Потому — кто он и где я?

Но каудильо не ответил мне, и рейхсмаршал молчал, молчала и вся эта ночь, густая, как гуталин, пропахший лимоном и лавровым листом. В такую ночь, как эта... А тем временем я все равно брел, просто потому что стоять и лежать не мог, а сидеть было не на чем; даже не брел, а влачился, как любой из слепых Брейгеля, кроме первого, который уже свалился в яму; только держался не за палки, как они, а за воздух; я влачился, понимая, что и моя яма неизбежно недалека, она меня поджидает, и когда я, наконец, упаду в нее, то уже не выберусь, а буду околевать, как пес, коченея во все набирающей холода роскошной ночи, все более пахнущей лимоном и лавром. Я шел, и из меня лилось нараспев:

Я к физической смерти готов опять,
Мне в физической жизни только жизнь и мешает,

Но
 Мы поедem с тобою на «а» и на «б»
 Посмотреть на такую бэ,
 Что нам умереть мешает.

Но не было ни трамвая «А», ни «Б». Не было ни Чистых прудов, ни деревни Грязь. Иди. Иди и не смотри; только дыши. Breathe, как учат Pink Floyd, и ты, завернув за видимую светлую, окажешься на Dark Side of the Moon и не умрешь, но жив будешь. Дыши. Иди. Дыши.

, и мадридский ветер повеял на все четыре ветра, и то была привокзальная площадь, а за ней сам вокзал Аточа. Там я мог хотя бы откинуться, хоть привалиться к чему боком, полулежа. Успел только понять, глядя на табло, что Севилья, откуда севильский обольститель прибыл в Мадрид, в четырех часах скорой езды от меня, следовательно, снова и снова, я и вправду в Испании — ну и, снова и снова, что, собственно? Вопрос не: где ты? вопрос: где ты будешь спать? А если поехать спать сейчас — путем, обратным Дону Жуану, по дороге в Севилью, говорят, красивее ее нет города... но в это время нет такого поезда, в это время никакого поезда нет... да, зато есть зал ожидания, и здесь я, наконец, заночую там, где чисто, тепло. В Севилью командируется Дон Жуан. Ему остается перекемарить сидя каких-нибудь четыре часа. Тут, должно быть, есть даже скамейки.

Зал был пуст; стульев навалом. Зал ждал меня. Я сдвинул четыре специально приготовленных для меня стула и лег посреди пустого, великолепно освещенного зала.

Свет не мешал мне; я входил в сон, отворивший мне дверь.

Но не успел войти. Кто-то довольно грубо расшевелил меня, так что стулья раздвинулись и я провис над полом. Чтобы открыть глаза, потребовались уже не существующие во мне силы; до сих пор думаю, что их открыл за меня сам Господь.

Человек в здешней полицейской форме спрашивал меня о чем-то. Когда в такой форме и в этой, как ее, типа треуголки, на голове, — когда такие спрашивают, надо отвечать. Но я не говорил по-испански и не понимал, чего он от меня хочет. Мне оставалось только на своем дырявом английском (а я уже успел убедиться, что во многих местах, например, в Италии, полицейские, кроме как по-итальянски, не говорят — и не понимают) спросить: «Это ведь вокзал?». О счастье, он ответил по-английски же и не лучше меня, так что я его понял: «Да. И что?». Я вспомнил пару слов по-испански. Кто бы мог подумать, что именно слова «Зал ожидания» окажутся поэтичнее всего, что написали Мачадо и Лорка... «Но тут же написано: Вход воспрещен».

Далее воспоследовала ломано-обломаная conversation на уродливых осколках нескольких языков, общий смысл которой я попытаюсь, тем не менее, донести ниже. Итак: «Тут же написано черным по белому, испанским по испанскому: Вход воспрещен». — «И что? Я приехал в Мадрид на два дня всего, только для того, чтобы увидеть Веласкеса в Прадо, и был уверен, что уж в марте найду место в отеле среднего класса всего на одну персону всего на две ночи. Ведь это нигде не составляет труда. И вот я хожу уже почти шесть-семь-восемь часов по вашему прекрасному городу — и не могу найти ни одного свободного места. Разумеется, если бы мне был по карману сингл в «Хилтоне» или «Шератоне»... — «Вы и там не нашли бы места. Прежде чем ехать в Мадрид, надо навести справки. Тут всегда сезон. За два месяца можно заказать все что угодно — от двух звезд до пяти. Но в

день приезда... Такой у нас особый город». — «Ну вот, я и добрался из последних сил, вслепую, до последнего — зала ожидания. Ведь он для ожидающих, верно? Кто-то ждет ночного поезда, а я буду ждать утренних поездов». — «В том-то и дело, что тут, как видите, сеньор, никто никого не ждет. А вы задумывались — почему?» — «Мне не до того. Кому я тут помешаю?» — «Никому». — «Тогда спокойной ночи». — «Нет. Мне вас жаль, но сейчас, сеньор, вы должны уйти отсюда». — «Но куда?» — «Не знаю, и мне очень жаль». — «Но почему?» — «Так бы сразу и спросили. Вы что, сами не видите — идет ремонт здания вокзала, и ночью ни один посторонний не имеет права даже входа сюда, а уж ночевать...» — «А если я не уйду?» — «Буду вынужден применить силу». — «Хорошо! Тогда ведите прямо в жандармерию. Я высплусь там». — «В жандармерии вы не выспитесь. Там очень много полицейских и нет лишних диванов. Мы и сами хотим выспаться. Поймите, это железнодорожный район. Вы, может быть, не помните, но здесь несколько лет назад взорвали сто девяносто одного человека». — «Хорошо, ведите в камеру. Я лягу на полу». — «Вам это не понравится. Там сидят люди, которые вряд ли вам по нраву. Вы им тоже можете не прийтись по нраву. В общем, это место не для вас. Да и для того, чтобы поместить вас в камеру, вы должны совершить правонарушение, чтобы я вас задержал». — «Например?» — «Например, ударить меня. Или оскорбить полицейского злобной бранью. Но тогда мы можем задержать вас на дольше, чем вы рассчитывали пребывать в Мадриде...» — «Нет-нет, я не умею браниться по-испански. А бить полицейского... Вы были довольно любезны». — «Ну вот. И шагайте отсюда. Давайте я вам помогу. Вот, и сумка на плече. Кто знает, может, где-то и отель для вас найдется. Желаю счастья».

Разумеется, я понял из этого разговора только главное и восстанавливаю его по смыслу. Но главное я понял. Этот город против меня. Он не любит меня. Он ненавидит меня всеми фибрами своей гордой души. Словно я какой-нибудь там Наполеон. Мне тут не пасаран. Мне тут не встать где лечь.

Выбираться отсюда, как оказалось, надо было по обочине справа, то есть вверх; я даже и не понял, как я вошел в вокзал прямо; а вверх идти я уже совсем не мог. Но я вышел наверх. Там стояли такси — и был бар-кабак. Я зашел: это было единственное место, где было тепло. Так тепло, как в бане. Все пахло пивом, табаком и копченым мясом. Оно висело под потолком плосковатыми бурыми окоороками-хамон и красноватыми колбасами.

Я увидел сквозь дым пустое место в углу и привалился к окну. Заказал пачку сигарет и кружку пива. Автоматически отметив, что местные сигареты в Испании из черного табака чуть не втрое дешевле, чем везде в ЕС. Я не понимал уже, холодно мне или жарко, и думал, что пиво после виски меня освежит. Никогда не думайте этого, особенно если смертельно устали, но виски еще действует самой сильной и страшной своею — похмельною частью. Когда похмелье уже сегодня — пиво освежает на две минуты, и сушит горло, и отнимает все, что осталось от ног и затылка, на все остальное время. Я сидел, сторбившись и сторбившись над своим горбом, то есть сторбившись дважды, иначе не могу это описать, и курил, и понимал, что дело мое — вот только этот черный горький табак. И тут хозяин принес мне кувшин холодной воды со льдом и на вопрос «сколько?» (этот вопрос я знал на всех языках Европы) ответил: «Нисколько. Это просто холодная вода, сеньор, а вы себя плохо чувствуете». Я кивнул, вложив в кивок столько благодарности, сколько мог. Испания есть Испания. От меня валило паром — но и здесь стоял пар, — и никто не собирался различать его оттенки. И все же спать я здесь не мог, что можно — то можно, а чего не положено — того нельзя. Славные времена десятых, когда Сутин, Модильяни и Эренбург спали вповалку в «Ротонде» у милостивого хозяина, не подвергаясь проверке полиции и удивлению расходящейся под утро публики, прошли. В полуобморочном состоянии я набрал по мобиле германский номер сына. Ему даже

в это время глубокого сна не надо было ничего объяснять — он очнулся от забытья, поняв, что это серьезно, зевнул и пробормотал: «Так. Ты подходи к каждому такси и давай мою трубку. Кто-то из них мне скажет, какой отель имеет свободное место по твоим деньгам».

После десяти проб все оказалось фуфлом: меньше 150 никто не обещал. Да еще за проезд — тоже не мелочь. Да еще это было непроверенным предположением, чтобы узнать наверняка, надо было ехать — а там нет свободных номеров, и хоть волком вой, а за пустышку таксисту все равно плати по счетчику.

Все. Умер. Надо только похоронить в тепле — отогреться после смерти. Будь что будет. Сейчас войду куда нельзя. Туда, где не ждали. В первый же отель на вокзальной площади — и пусть они делают со мной что хотят. Дальнейшую «дорогу жизни», пятьдесят метров до второго, а потом еще целых двадцать пять до третьего отеля я не переживу и после смерти.

И я вошел.

— У вас есть одно место на одну ночь?

— Да. Но только на одну ночь.

— Прекрасно. Сколько?

— 89 евро.

— Я плачу. До?

— До 11.30.

— Прекрасно. Плачу заранее. Мой номер?

— Такой-то.

— Прекрасно. Ключи?

— Вот. Этаж такой-то.

— Буэнос ночес.

— Буэнос ночес.

Я все же смог раздеться, но на душ сил не хватило. Я зарылся в сладкую пестину и сладчайшее одеяло — и...

Я встал. 10.35. В обычное время я бы задал себе после смертельной ночи еще часа два, но время — его было так мало для двух дней, и оно лучше меня знало, что уже и так поздно — и оно звало меня, и я вылетел из кровати и привел себя в кое-какой порядок. Я увижу Веласкеса, но где сыскать вторую койко-ночь?

Ладно. Я сменил майку и рубаху; куртку сменить было не на что — разве мог я думать, что она так промокнет от пота? и потом — пока тепло, а там я разложу ее на скамеечке и чуть просушу. Пусть, пусть, пусть я простужусь, но не в ней же... Я упаковал ее в кипу газет, чтобы не так пахло потом, сунул в рюкзак, спустился к портье. Там стоял другой, сменный.

— До которого часа я мог бы оставить у вас вещи? Я хотел бы забрать их как можно позже. И если бы вы порекомендовали мне здесь, неподалеку, где бы я мог переночевать еще одну ночь...

— Сеньор, но вы можете переночевать в вашем же номере.

— Как? Но мне же было ска...

— Сеньор, ваша комната свободна еще на ночь.

— Что вы говорите?!

— Это будет стоить 75 евро.

— Плачу заранее. Вы уверены?

— Безусловно.

Вчера это стоило 89. Сегодня 75. Вчера было сказано: только на эту ночь. Сегодня оказалось, что номер свободен еще на ночь. А может, и на неделю? Ну, город. Избушка сама собой — точнее в зависимости от характера портье и его взгляда на вещи — поворачивалась то передом, то задом. Просто терем-тере-

мок. Я волк-волчище, из-за куста — хватище! В Германии, даже в Италии я не встречал ни одного кошкина дома.

Я вышел. Теперь все изменилось. В рубашке было тепло. Я зашел позавтракать. Все стоило копейки: омлет, ветчина, кофе. Спешить было некуда. До Прадо — я знал уже — семь минут хода. Заправился фундаментально, всерьез и надолго, благо это было вполне по деньгам. Закурил сигарету из черного табака, правда, с фильтром. Сигареты из черного дешевого (сейчас старые, бесфильтровые «Галуаз» или «Житан» стоят дороже всех «Мальборо» и «Данхилл» — но это бьют рублем за вред здоровью), почти махорчатого табака тем и вкусны, что отдают свой полный резкий вкус и беспонтовый натуральный аромат. Смягчающий все фильтр съедает кайф наполовину. Но фильтр можно и отломать — вкусно и дешево.

Расплатившись — за эти гроши я хотел объесться, чтобы хватило до вечера, но потом подумал, что с набитым животом меня не тронет и Веласкес, и съел как раз в меру, правда, в высшую. И пошел за угол, вверх наискосок. Там — со вчерашней жуткой ночи я знал — находился Прадо. А вокруг него и рядом, в его роскошном парке справа, — несметная куча народу. Это были экскурсанты, и считались они по группам, и для них — отдельная касса, а для одиночки — отдельная. Я был в этих делах достаточно опытен и шагнул прямо к ней. Заплатив 7 евро — мелочевка по сравнению с музеями Италии, я вошел.

Это был дворец в классическом стиле, построенный к 1819 году, но изнутри — тесное помещение о трех этажах, внутри которого не надо было ходить по пятку изукрашенных цветными мраморами и росписями плафонов лестниц, заходов и переходов. Словом, дворец-сарай. Пахло пылью, ей-богу, в величайшем королевском собрании картин — пахло пылью. Но это не мешало, скорее наоборот. И потом это была только картинная галерея, и тебе не грозили ряды античных скульптурных копий с более ранней античности, как в Лувре или Эрмитаже. Ты мог войти и перейти прямо к делу. Но Боже мой, сколько дела предстояло тому, кто — я уже знал — доберется до Веласкеса на втором этаже! Я не мог оторваться и от первого, и от начала второго. То меня забирал лучший автопортрет Дюрера, то колоссальная коллекция Рубенса; то Тициан, которого было столь же немерено; то Рибейра, которого я — знаю — всегда недооценивал, а тут оценил. То Сурбаран, которого я всегда любил за истинный испанский католицизм: пламень подо льдом, — и за не столь уж робкие попытки сезаннизма за двести пятьдесят лет до Сезанна. То Эль Греко, которым надо только не объедаться, чтобы понять, что он гений, единственный минус которого, что он всегда похож только на себя, но уж слишком — только на себя и только.

Я оценил все, что мог, но оценка и любовь — разные вещи, а любовь тянула меня на второй этаж все дальше, все ближе к Веласкесу. И когда он пошел, все его громадины конных официальных портретов и та же гениальная «Сдача Бреды»... наконец сами «Пряхи», с точки зрения чистой живописи, может, лучшая картина в мире, искрившаяся таким светоцветом, какого ни у кого не было, даже у Тициана, даже у Веронезе, даже у самого Веласкеса. Я даже и тут застрял ненадолго — я знал, что в следующем зале, полукруглом зале, где будет и «Вахх», и «Кузница Вулкана», окруженные вещами, восхитительнее которых быть не может: портретами карликов и дурачков, — вот тут будут они, менины-фрейлины...

Я с детства, с художественной школы родного города, знал, что лучше не бывает. «Где же картина?» — задал тут свой риторический вопрос Теофиль Готье. Глупое французское бонмо. Итальянец Лука Джордано, младший современник Веласкеса и художник не самый великий, но далеко не заурядный, назвал «Менины» «теологией живописи». Да. Это по делу.

Это была именно картина, картина картин — сравнить ее с жизнью было нельзя. Это была другая жизнь, иной мир, высвеченный в этом мире.

Человек предвосхитил лет на триста реализм XIX века, модерн и постмодерн, бия почти всех одной левой. Потому что он, живописуя, как никто, и живописуя до самозабвения, не переставал мыслить, как его современники Декарт и Спиноза. Я вцепился глазом в полотно, пытаюсь обнаружить, откуда лучше всего зайти сюда на огонек. Полотно впустило меня ровно настолько, насколько хотел его автор — и насколько на века отмерил и мне, и другим, желавшим зайти в картину. Собственно, это желание как простейшую возможность и имел в виду Готье, декларируя свое бонмо.

С самого начала делалось ясно: «на огонек», «на чаек» и на все такое приятельское сюда не только не заходили, но сама эта возможность зайти пресекалась и отбрасывалась задолго до попытки зрителя — просто тем, что не могла даже мыслиться, даже подразумеваться всеми теми, кого мы здесь видим, прямо или отраженно в зеркале — всем их *modus vivendi*; всем способом видеть вещи такими, какими они их видели; всем прицелом мыслить мыслимое и немислимое. Самое мыслимое при мадридском дворе — это заведенный механизм. Самое немислимое — это свобода. Самая большая степень свободы — игра. Каким-то образом игра по правилам заведенного механизма оказывалась наибольшей степенью свободы.

Да, картина — это не икона. Когда попадаешь в икону, не ты, а она в тебя попадает. Она выдавливает себя в тебя, и ты оказываешься в горнем свете, в котором тебя внимательно и спокойно рассматривает Спас Звенигородского чина Рублева. Куда бы ты ни отошел, Он видит тебя бесстрастно, равномерно и до дна. Он оказывается в тебе, а не ты в нем. Он оказывается в зоне зрителя, где ты — обозримый, пронзаемый насквозь. И если совесть твоя нечиста, то ты ошутимо — палим.

Когда ты оказываешься перед картиной, ты в нееходишь, осматриваешь все кругом, и кто бы ни был — пусть Христос и Дева Мария — предметы твоего обозрения, и оценки, и чувств умиления или скорби.

А тут — живая глубокая коробочка. Это пространство. В ней десять фигур — я насчитал — девять человек и одна собака. И еще двое — в зеркале. В центре инфанта Маргарита, вокруг нее фрейлины. Слева — тот, кто это изображает, сам Веласкес. То есть изображает он как раз не их. Он пишет портреты короля Филиппа IV и его царственной супруги Анны Австрийской.

Но сначала мы понимаем — это портрет. Точнее портреты.

В центре пятилетняя инфанта Маргарита, как заводная китайская куклолка, слева фрейлина, подающая ей воду (ах, как вчера я понял — что значит подать в Мадриде холодной воды), справа фрейлина, почтительно слегка приседающая в придворном поклоне, еще правее — параллельно Маргарите, как бы уравновешивая вертикально это хрупкое создание, почти феллиниевски грузная и дородная карлица (дородная карлица, кажущаяся высокой только рядом с пятилетней девочкой!) Мария Барбола, затем, совсем уже правее, не втиснувшийся в полотно целиком карлик (это «невтискивание» было уже у позднего Тициана и стало одной из разрушительных сил, разрывающих симметрию Возрождения — и отсылающих прямо к Дега, а за ним к эстетике кино и художественной фотографии, апеллирующих к случайности и тем большей достоверности кадра). Этого лилипута зовут, между прочим, Николасо Пертусато, и он весьма забавно толкает ногой большого дремлющего пса (дурачку все можно!), возвращающего нас в центр коробочки, перекидывая мост к левой части. А там, на левом краю, большое полотно, повернутое к нам задом, а за ним — опять же сам Веласкес, пишущий... Что? Ведь он и не глядит на остальные фигуры. Куда же он глядит? Перед собой. На нас. А мы? На прострел, сквозь инфанту, вдаль картины, где в светлом проеме, привлекающем наше внимание, то ли входной, то ли выходной

двери, то ли открывая занавесь, то ли прикрывая ее, то ли выходя, то ли входя, помещается самая дальняя фигура — гофмаршал Хосе Ньюто.

Мой взгляд неотменимо обращен внутрь, вдаль, а сама логика картины, где все — не считая подающей воду принцессе менины (это неотменимое занятие, она не может его прервать) и карлика с собакой (ему-то можно, снова, он кто таков? профессиональный дурачок), — все смотрят вперед, на меня, заставляет мое зрение раздваиваться (вперед, вдаль от меня — обратно ко мне, чуть ли не ближе, чем я сам, смотрящий).

Но если они все, включая художника, смотрят вперед, то что они делают? Значит, художник пишет не то, что пред нами, — а что? или кого? Скорее второе, а то не было бы этих серьезных взглядов художника и даже принцессы. Не меня же; а кого? Взгляд мой не может же обернуться назад, за мою спину — и неминуемо опять уходит вдаль. И там, между головой Веласкеса и проемом с гофмаршалом, обнаруживается зеркало, а в нем — мужское и женское лица под алой портьерой. Разумеется, это король и королева. Вот куда они смотрят, вот кого пишет Веласкес. Это портрет королевской фамилии. Они, может быть, случайно зашли в комнату инфанты — нет, не может, случайно портреты королевской фамилии не пишут, а Веласкес демонстративно приготовил настолько немалое полотно, чтобы еще до подробного рассмотрения изображаемого предмета — внушить зрителю: ты смотришь на то, как художник справляется с самым серьезным для придворного живописца делом. Тогда — зачем остальные? Просто забавная сцена? Но зачем такой величины полотно и атмосфера общей серьезности? Хочется войти и расспросить. Но на это они не рассчитывали — и дали бы тебе от ворот хороший поворот! Между тем картина просчитана до последнего миллиметра — Веласкес не Рембрандт и не думает о том, что важно выделить главное, а фон хоть намазывать — а там и солнце не вставай. Это жесткая, по-мадридски церемониальная вещь, художественный этикет, где мелочей не бывает. И он не Вермеер, промерявший пространство при помощи камеры-обскуры. А промерил почище Вермеера. Полунаполненная дневным равномерным светом — и два потока света, сбоку створки правого окна и из проема открытой двери вдали. И где-то посередине они скрещиваются, незаметно, и это двусветие отделяет потоками воздуха пространство меж фигурами — и соединяет их светоцветом. И можно, можно пройти взглядом и, значит, собой в эту сторону, где мы, можно в противоположную от нас сторону, выйти за нее... но гофмаршал Хосе Ньюто не пустит тебя дальше, и твой взгляд поневоле вернется в клетку помещения, опять уйдет налево, к портрету короля и королевы, а от них тебе просто некуда вернуться, как прямо назад, к себе; а когда вернулся — сам встал на их место. Снова и снова, только и только на их место. Значит, ты есть король и королева, и на тебя все они смотрят? Но ты не король, не королева. Значит, эта картина возвращает любого зрителя к себе, и он — любой — и есть портретируемый? И каждый — король и королева? Но каждый — и смертен, ибо эта коробочка есть помещение жизни, от предсуществования (где находимся мы с вами) до послесуществования (смерти? не ее ли строгий свет проникает в шкатулочку из-за задника, гардины со стороны гофмаршала... и тогда это свет оттуда, из мира «вещи в себе», если хулигански промерить немецкой мыслью начала испанского духа?). Нет, придворный художник Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес, он же главный церемониймейстер королевского дворца, так и помыслить не мог и не мог в жанре «королевская фамилия», строго регламентированном, изобразить в центре не их, а другие, за исключением принцессы Маргариты, совершенно третьестепенные персонажи. Но что же это тогда? Этот «портрет в портрете портретируемых», предвосхитивший столь многое в изобразительном искусстве (и прежде всего — как с помощью изображимого явить вне-, транс- и мета-изобразимое: формат кадра, где дан двойной

портрет Тех, Которых нет в кадре, отчего Они становятся еще более — суть) на века, картина, эта коробочка, куда так, кажется, чего проще проникнуть, сосчитать шаги, — а прошел, и тебя неумолимо отодвигают назад, на место короля и королевы, где тебя просто не может быть (не положено, и все! Это пока еще вполне себе Мадрид Габсбургов, а не Болотная шалая-валяй площадь) — такое простое-бытовое и хитроумное, как китайский лаковый, невероятно как прорезанный шар, — что это?

Ну, хорошо, но если ты стал на место портретиста — показываешь только изнанку холста — ладно, ну, а теперь повернем: на самой-то картине — что? Что там? На самом холсте? Королевскую фамилию ты изображаешь, как и положено, анфас под алой портьерой... но тогда остальные — все второстепенные и даже инфанта — смотрят, согласно всему, на них. И как? Тогда все, кроме короля и королевы, повернуты к ним лицами, а следовательно, к отраженной в зеркале королевской чете затылками, спинами, то есть задом, да? И свет, освещающий королевскую чету, идет только издалека, от входной-выходной двери гофмаршала?.. Не может быть такого...

Нет, картину надо воспринимать, как она написана, со сверкающей в центре пятилетней Маргаритой. Иначе ничего не сходится.

Тогда... остается одно. Все так, как есть. Нет — только королевы с королем. Этот портрет — либо символ королевской власти, либо призрак. Либо — изображение Никого, Кто больше всех. И это либо «я», любой «я» — но говорил уже, не проходит; либо Никто, Кто — есть. Это взгляд Никого-Бога — равномерно осматривающий мир картины как целый мир; эта коробочка, в которую можно войти, но из которой всегда сосчитанными шагами приходится выйти — и включиться во Все-Ничто, лишь обозначенное божественной-несуществующе-всегда существующей четой, включающей и тебя-Никого и всего. Это рассмотрение без взгляда, отношение безотносительности... Так я сам для себя стал — фантомом.

Я совсем задурел и запил визуальное потрясение предусмотрительно перелитым в плоскую шотландскую фляжку остатком 50% «Джека Дэниэлса». После я смотреть не мог уже ничего, даже «Пряхи», равносильную «Менинам», а в передаче брызг цветоцветия, не устану повторять, и превосходящую их — а то и вообще все, когда-либо написанное маслом на холсте, и даже-даже лучшую вещь Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» в следующем зале, даже-даже-даже то, что одно могло составить музей — лучшую в мире коллекцию вышеупомянутого дона Эль Боско во главе с тем, что одно требует бинокля и часа времени: триптиха «Сад наслаждений» (ну, все по-испански развешено безо всякой хронологии, экспозиция кончается работами XV в., а начинается внизу Рафаэлем XVI в. и Риберой XVII в.) — и уже под конец (дальше шла ветхая деревянная заколоченная дверь, означающая конец экспозиции — без выхода; странный музей — в пути по нему, как по морю житейскому, то и дело вперед и назад меняются местами, хочешь выйти — пройди его заново, с переду назад; чтобы дойти до конца, необходимо возвращаться к началу) то, что, я думал, меня потрясет сильнее всего, сильнее даже Веласкеса — «Триумф Смерти» Брейгеля. Увы-увы...

Все тут кончалось шедеврами шедевров и убойными по силе вещами для того, кто хоть немного контактирует с живописью; но после Веласкеса не трогал уже и сам Веласкес. Я повернул обратно, отмечая краем глаза, что пропустил даже Гойю, обоих его «Мах», и групповой портрет королевской семьи Карла IV, и стрелку, здесь асимметрично ведущую на незаполненный третий этаж, то есть заполненный лишь наполовину — и только самым лучшим Гойей, невыносимо сумасшедшим, исступленным если не до высшего качества параноидной шизофрении, то по крайней мере до первоклассной маниакальной депрессии, — четырнадцать фресок под названием «Мрачные картины» или «Черные картины»,

перенесенных со стены на холст и помещенных сюда из его одинокого «Кинта дель Сордо» — «Дома глухого»...

Я еще приду сюда, но после «Менин» мне надо было передохнуть.

Было два часа дня. Жарко и прохладно одновременно — странная смесь, характерная для этого города. Я физически не устал — гениальная живопись взбадривает лучше любого допинга; только обалдел до крайности.

Пересчитал деньги. Маловато. Оторвал фильтр от сигареты. Похоже на курево. Заказал двойной эспрессо с каплей молока. Тут не жалели порций — и не презирали, как в Италии, того, кто не пил эспрессо на дне чашечек в двадцать граммов. Тут без слов налили полную чашку. Мне все больше нравилась Испания.

И пошел гулять. Сегодня сердце не подводило, и этот холмистый город с садами нравился мне все более. Я прошел до одной из двух главных площадей, Пуэрта-дель-Соль, сложившейся в XVIII в., куда выходит восемь улиц и откуда с нулевого километра начинается отсчет дорог всей Испании; отсюда рукой подать до второй главной, более чопорной, жесткой, ощутимо прямоугольной Плаза Майор; тут еще с XV в. начиналась «австрийская Испания». Дошел до королевского дворца и до Кафедрального собора Альмудены, посвященного Богородице, чья маленькая статуя была найдена здесь в крепостной кладке в XI в. Спустился в королевские сады — лучше ничего не видел — ни Версаля, ни Фонтенбло, ни неаполитанского грандиозного дворцового парка в Казерте, ни Петергофа, ни Гатчины — ничего. Здесь как бы просто — все заросло кипарисами и всякими другими деревьями, я их не мог отличать. Но это был шок — один человек: я и никого кругом, никому этот парк не нужен; никого! И я внизу королевского дворца, так погулять, в этой зеленой крутизне, и я покрыт незнакомой, кроме кипарисов, зеленью. Как будто я косуля, в которую никто не метится. И я ею и был. Я был животное, никому не нужное. Но зато как же я стал нужен себе, дыша этим воздухом! Единственное — где выход? Но я и его нашел. И перед выходом сел на скамейку и откусил остаток кровяной сушеной «чоризо», и преломил кусок зачерствелого белого хлеба (ох, эти счастливые, пухлые белые хлеба Франции, Италии, Испании, где не едят соприродного моего, русско-немецкого кислого ржаного, который и я не люблю, а его-то мне только и можно — в умеренном количестве), и сделал предпоследний глоток виски.

Ничего этого при инсулиновом диабете, кроме движения (а вот двигаться я больше не спешил), мне было нельзя. Ничего нельзя. Кроме счастья.

Рядом — во дворе моего отеля, надо же! — располагался еще музей королевы Софии, а в центре его — я провел мысленно несколько линий — на стене второго этажа — «Герника» Пикассо. Это семь метров в длину полуграфической, полуживописной площади, и кто их не видел, тот по репродукции и не поймет, и ни к чему описание того, что к живописи не имеет никакого отношения, но сильнейший крик я слышал только у «Лед Зеппелин» в «Иммигрант Сонг», а кто его и там не слышит, то и на здоровье... Оказалось, что мой отель в том же доме, а комната прямо на уровне «Герники», но в корпусе напротив... Но Прадо — это был сон и пусть таковым и останется в праздной и праздничной памяти моей...

Юрий Петкевич

ЖЧЦЦ

рассказ

В подъезде Кваснов наткнулся на дамочку с болонкой на руках и, умилившись, поцеловал собачку. Поднявшись на пятый этаж в старом доме без лифта, прежде чем позвонить, решил успокоить сердце и отдышаться. Наконец нажал на кнопку звонка — Тарайковская сразу же открыла, будто и она за дверью, прислушиваясь, затаилась.

В руке у нее электрические щипцы для завивки волос.

— Подержи!

Одной рукой Кваснов ухватил ее прядь, а другой расшнуровывал туфли.

— Не целую тебя, потому что поцеловал сейчас собаку!

— Хорошо, что ты сказал, — заметила Тарайковская. — Я никогда больше с тобой не поцелуюсь.

— Почему?

— Потому что ты поцеловал собаку!

Кваснов достал из портфеля флакончик духов и, хотя только что сам сказал «про собаку», тут же забыл и поцеловал Тарайковскую.

— Фу, ты, — смутился он, даже покраснел. — «Автоматом» поцеловал.

— Раз ты меня «автоматом поцеловал», — возмутилась Тарайковская, — забирай духи и убирайся к своей Ляльке!

— Не с той ноги встала?

— Да, — кивнула Тарайковская и вдруг поникла. — После обеда прилегла и только сейчас поднялась.

— Разве можно так спать? — удивился Кваснов. — Что будешь ночью делать?

— Ах, да, — вздохнула Тарайковская. — И все будет, как вчера... — Открыла холодильник. В нем пусто — разве что один огурец. — На — съешь его!

— Не хочу!

Зазвонил телефон — она подняла трубку и тут же передала Кваснову.

— Какая у тебя холодная рука! — удивился он.

— Огурец же из холодильника, — пояснила она.

— Алло! — Кваснов взял трубку и — обратно протягивает: — Разговаривай сама!

— А тебе трудно поговорить?

— Я с разговариваю каждый день.

— Тем более мог бы поговорить. — Тарайковская показала на завивку: — Ну как?

Об авторе | Юрий Петкевич — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация — рассказы «С птицей на голове» и «Майский снег» — № 7 за 2011 год.

— Ты прямо помолодела.

— За это возьми меня к себе на дачу.

— Ты не хочешь с по телефону поговорить, — заметил Кваснов, — а что будет на даче? Вы же сразу поругаетесь!

— С чего это мы будем ругаться? — удивилась Тарайковская. — Это мы раньше ругались, а сейчас...

— Ну и что могло перемениться за это время?

— Ты пришел, чтобы доконать меня? Уходи! — Тарайковская готова была ударить Кваснова, но руки опустились — и она в слезах пробормотала: — Это же надо вот так испортить настроение...

— Не могу понять — чем я мог его испортить?

— Ты сказал, — напомнила она, —

?..

— Ну и что?

— За это время годы прошли напрасно, — опять едва не расплакалась Тарайковская и показала в зеркале: — Видишь, какая я стала уродина?

Кваснов посмотрел на нее в зеркало и, увидев себя рядом, не узнал. Заглянул этому человеку в глаза и тут же отвел их, опустил. Надо бы утешить Тарайковскую, но он не находил слов, чтобы обмануть ее. Впрочем, никогда никого не обманывал, а только себя — на каждом шагу, невольно, нехотя, и вот сейчас Кваснов это очень отчетливо почувствовал и вернулся к незнакомцу в зеркале, чтобы удостовериться. Под сердцем собрался какой-то ком, где все сплелось, срослось; он мешал дышать, и Кваснов боялся глубоко вздохнуть. Вот так можно вздохнуть — и умереть.

— Почему молчишь? — пробормотала Тарайковская. — Скажи, как раньше, что я красивая...

— Ты красавица, — начал Кваснов, но таким голосом, что можно было не продолжать, и он тогда спросил: — Помнишь, как ты мне отказала?

— Как давно это было, — поморщилась Тарайковская.

— Если бы ты мне тогда не отказала, — заметил Кваснов, — и у тебя, и у меня по-другому бы сложилась жизнь, и мы вот так не стояли бы сейчас у зеркала. Разве ты не видела, что я тебя люблю?

— Я ничего не видела, — перебила Тарайковская. — Я ясно видела, что ты меня не любишь и никогда не любил.

— Зачем же я приезжаю к тебе всю жизнь? — изумился Кваснов.

— Я не знаю, зачем ты ко мне приезжаешь, — ответила Тарайковская. — Между прочим, не к одной ко мне ты приезжаешь, и теперь совсем не важно, на ком ты женился — на Ляльке, или на мне, или на какой другой женщине. В нашем ли возрасте об этом говорить? — И с раздражением она добавила: — Лучше помолчи!

Тут же Кваснов нашел себе оправдание; он ведь обманывал себя, как все, как многие, — жизнь переменилась, все поехали на машинах, не замечая, как легко обмануться, и при этой кажущейся легкой, на машинах, жизни, действительно, совсем не важно, на ком жениться.

— Да-ааа, — не смог удержаться Кваснов, — жизнь поехала куда-то не туда, а назад уже не вернуться.

Он это сказал и тут же понял, что можно вернуться, но усомнился в себе; не знал, обманывает ли в который раз себя, и растерялся. Он уже не думал о женщинах, а всего лишь о том возрасте, когда никого — ни себя, ни других не обманывают. Кваснов боялся теперь на себя в зеркало посмотреть, хотя ему очень хотелось подсмотреть, что с ним происходит, однако не пожелал увидеть рядом старуху Тарайковскую, и та, почувствовав, вдруг изо всей силы ударила его по лицу.

— Уходи!

Спускаясь по лестничной клетке, старик опять налетел на дамочку с болонкой; они уже погуляли и возвращались домой, но сейчас взбудораженный Кваснов не обратил внимания ни на даму, ни на собачку. Выйдя из подъезда, не побоялся глубоко вздохнуть; навстречу стучит каблучками девчонка с букетом.

— Где здесь Электрическая улица?

— Садись в машину, подвезу! — Кваснов не на девчонку оглянулся, а на цветы. — Чудный букет!

— Бывают почуднее, — заметила она, усаживаясь в машину.

— Тебя забросали цветами?

— Это моя работа, — ответила девчонка. — Я должна доставить букет по адресу, чтобы вручить от имени заказчика.

Кваснов свернул с асфальта — дорога запылила; по сторонам начались огородики — их разделяли жерди, колья и между ними куски жести. В огородиках прятались дощатые хибарки с заплатами из той же ржавой жести, а дорога вела к монастырской стене; за ней свинцово-черные купола. В распахнутых воротах стоял монах и обеими руками дергал за веревки, привязанные к языкам колоколов, а ногой нажимал на педаль, к которой еще одна веревка привязана.

— Какой номер дома? — спросил Кваснов у девчонки.

Она вытащила из кармана бумажку.

— Двадцать пять дробь семь.

Кваснов остановил машину. Среди яркой зелени огородов торчали голые, без кроны, гладкие стволы засохших дубов. После того как в монастыре отзвонили, по безлюдной узкой улочке проехала милицейская машина — за ней столб пыли. В наступившей тишине едва слышно что-то брнчало и постукивало; после колокола и милицейской машины эти звуки достали до сердца.

— Вот — двадцать пять, — Кваснов показал на табличку на заборе. — А где же тогда дробь семь? Пройдем дальше.

Девчонка, недоумевая, протянула бумажку с адресом.

— Здесь написано: девятый этаж.

— Неважно, что девятый, — пробормотал Кваснов, разбирая каракули, — ты написала: , а мы приехали на .

Они поспешили назад к машине, вдруг Кваснов остановился и приложил палец к губам. Посреди огородов понатыкали палок — и на них болтались пластиковые бутылки от дешевого пива, к ним еще привязаны консервные банки, и это они на ветерке позвякивали и постукивали, отпугивая птиц; при этом тоска нахлынула предсмертная.

— Чего на меня так смотришь? — спросила девчонка.

Кваснов на нее не смотрел, а сейчас глянул. Ему показалось, будто видел когда-то ее, но очень давно.

— Как тебя звать?

— Настя. — И она еще спросила: — Я — дура?

Кваснов не ответил, а Настя дулась всю дорогу, пока снова не приехали на улицу, где жила Тарайковская.

— Наверняка вот эта башня, — показал Кваснов. — Только разве может быть пятая квартира на девятом этаже?

— Может, все-таки зайдём?

— Зачем? — старик пожал плечами. — Надо просто позвонить тому, кто дал тебе этот адрес...

В те годы еще не придумали карманных телефонов, и позвонить с улицы можно было только из автоматных будок. Однако на Энергетической улице не установили ни одной будки. Настя увидела дворничиху и выбралась с букетом из машины. Кваснов взял портфель и тоже вылез. Выслушав Настю, дворничиха

провела ее в подъезд и, открыв квартиру, показала на телефон. И Кваснов вошел вслед за ними. Настя стала набирать номер. Из другой комнаты выглянул мальчик. Кваснов вытащил ему из портфеля апельсин.

— Что тебе дядя дал? — спросила дворничиха у сына.

Тот поднял на дядю глаза.

— Это я! — закричала в трубку Настя. — Здесь нет дома номер двадцать пять дробь семь... Минуточку, я запишу...

Кваснов спросил у мальчика:

— Я дал тебе апельсин?

— «Пельсин», — прошептал мальчик, не сводя глаз с дяди.

— Или ананас?

— Да, «нанась».

— Или банан?

— Да, «нанань».

Они так играли в слова, пока Настя записывала адрес, а затем, когда слов стало не хватать, Кваснов начал кривляться перед мальчиком, будто немой, — и они еще так успели поиграть... Потом, выйдя с Настей из подъезда, Кваснов заинтересовался у нее:

— Тебе со мной весело?

— Не очень, — ответила она весело.

— Почему?

— Видишь ли, — начала объяснять Настя. — Дело не в тебе и не во мне, а в чем-то другом, от нас не зависящем, а мы от этого — ни на шаг. Ничего не поделишь, — добавила она, увидев на лице у Кваснова недоумение, и сама, опечалившись, вдруг остановилась и всплеснула руками.

— Что такое? — не понял Кваснов.

— Забыли цветы.

Пришлось повернуть назад.

— Почему: ни на шаг?

— У каждого из нас есть ангел-хранитель, — пояснила девчонка. — Иногда он так близко оказывается рядом, облегает, будто кожа, и мне хочется вывернуться наизнанку, чтобы...

Кваснов нажал на кнопку звонка.

— Кто там? — отозвался за дверью мальчик.

— Это дядя, который дал тебе апельсин.

— Мама нет дома.

— А где она?

— «Ушла».

— Открой, пожалуйста, — попросил Кваснов, — нам мама твоя не нужна; мы забыли букет.

— Я не «отклою».

— Почему?

— Ты меня не обманешь, — сказал мальчик. — Ты не тот дядя!

— Тот, — заверил Кваснов.

— У тебя ничего не выйдет.

— Почему?

— Тот дядя дал мне «нанань», — сказал мальчик, — и даже, если бы ты был тот дядя, все «лявно» я не умею «откливать» новый замок.

— А куда пошла твоя мама?

— К «люлюбнику».

— К кому? — переспросил Кваснов.

— К «люлюбнику», — повторил мальчик. — А ты знаешь, что у меня в «люке»?

— Не знаю.

— «Нозь».

Настя заревела на улице.

— Если на работе узнают, что я поехала с тобой, меня уволят...

— Откуда узнают? — удивился Кваснов. — Не плачь, — начал утешать ее. — Купим сейчас другой букет или поехали ко мне на дачу за цветами! Ну, да, поехали на дачу!

Настя заревела сильнее.

— Что с тобой? Почему плачешь? Миленькая, ну скажи, — обнял ее Кваснов. — Пожалуйста! — Он вспомнил мальчика у дворничихи, когда тоже не находил слов, и, вплотную приблизившись к лицу Насте, так что в глазах все стало расплываться, начал, как тогда с мальчиком, поднимать и опускать брови и кривляться...

— Не надо, — попросила она. — Я умоляю.

— Разве можно так переживать из-за пустяка? — продолжал Кваснов, однако Настя никак не могла успокоиться, и он, сознавая, что не из-за цветов она плачет, стал допытываться: — Ну расскажи, что еще; не надо ничего скрывать — тогда и тебе, и мне будет легче. — Слезы у Насте не иссыкали, и прохожие оборачивались. — Думаешь, я не переживаю, — не выдержал Кваснов. — Открой глаза — и я сейчас заплачу!

— Все это уже было, — пролепетала она. — Уже такое было — и поэтому я плачу. Когда это прекратится?

— Это никогда не прекратится, — усмехнулся Кваснов. — Да, конечно, когда-то это все, безусловно, прекратится, но пусть это подольше не прекращается. — И он добавил: — Значит, не один я приглашал тебя на дачу?

— Не один ты.

— И ты ездила?

— Ездила, — вытерла она слезы и тут же, спохватившись, вытащила из кармана новую бумажку и, развернув ее, протянула: — Разве может быть во втором подъезде пятая квартира?

— Действительно, во втором подъезде на девятом этаже не может быть такой квартиры, — согласился Кваснов. — Ну так что — поехали на дачу?

— Я буду ждать дворничиху!

Кваснов пожал плечами, сел в машину и уехал. Никак не мог понять, кого ему Настя напоминает. Немного опущенные уголки рта с твердо сжатыми губами; попробуй подступишь, но это как для кого, а так лицо обыкновеннейшее, если бы не странная полуулыбка. Веки напряженно полусомкнуты, лишь только щель между ними, и взгляд из-под ресниц вдруг блеснет, пронизывая насквозь, — и его Кваснов не мог забыть. Невольно он заскучал и увидел, какая наступила черная ночь. Мелькавшие огни по сторонам наполняли сердце тревогой. Она все разрасталась, и вот так с ним еще никогда не было. Беспокойные мысли овладели им, и старик не заметил, как подъехал к даче.

Выбравшись из машины, Кваснов подошел к калитке, но, услышав сзади шорох, обернулся. Глаза начали привыкать к темноте, и старик заметил под липой белую шапочку, а потом увидел мальчишку, который обнимал девочку. Перед тем как поцеловать ее, мальчик передвинул шапочку козырьком назад. У Кваснова, глядя на юных влюбленных, так запрыгало сердце, что он схватился за грудь рукой. Он осознал, что у них все в первый раз, и невольно оглянулся на свою жизнь, вспоминая себя таким мальчишкой, однако не мог вспомнить первого поцелуя и ужаснулся: а , ...

Наконец сердце успокоилось. Кваснов подошел к железной калитке и несколько раз сильно дернул ее, прежде чем распахнуть. Когда оглянулся, мальчи-

ка и девочки уже не оказалось под деревом, и он так же громко, бесцеремонно стуча железом, стал открывать ворота... Однако, едва лег в постель и закрыл глаза, снова увидел, как длинная прядь распущенных волос девочки зацепилась за ремешок на шапочке мальчика, когда тот обнял ее — и она после поцелуя отступила на шаг. Так получилось, что и Кваснов недавно купил такую же дурацкую шапочку; чтобы поцеловаться — ее надо передвигать козырьком на затылок. Опять он попытался вспомнить свой первый поцелуй, однако не то что — первого поцелуя, не мог даже припомнить, какие раньше носили шапочки, — и не заметил, как уснул.

Ему приснилось, будто едет куда-то на машине. В жуткой темноте впереди зажглись фары, стремительно приближаются, но он не на дорогу смотрит; рядом сидит какая-то девчонка, и, если бы не букет, не узнал бы Настю.

— Что это у тебя на лице? От шариковой ручки, — разглядел в ослепительных лучах от фар. — Кто это у тебя писал на щеках и даже на шее? — Она пожалала плечами. — Сама нечаянно? — Девчонка кивнула, боясь разрыдаться. — Чего плачешь? Давай вытру, — Кваснов плюнул на палец и, как ребенку, стал вытирать ей лицо.

— Не надо, — попросила Настя. — Я умоляю, — губы у нее задрожали. — Пожалуйста! Если на работе узнают, что я поехала с тобой, меня уволят...

Вдруг что-то страшно загрохотало рядом, и — промчалась мимо машина. Кваснов успел разглядеть в ней в раскрытом окне вместо локтя крыло, затем, подхватившись с постели, увидел роющуюся в шкафу жену в ночной сорочке. В зеркале в створке шкафа уже сияло солнце.

— Как быстро прошла ночь! — изумился Кваснов, а Лялька добавила:

— Как жизнь!

— Что ты ищешь?

— Те ложечки, которые вчера купила.

— Я не брал.

— Еще вечером я их видела, — вздохнула Лялька. — Кто взял мои ложечки?

— Кому они нужны? — удивился Кваснов. — Куда ты их положила?

— На вторую полочку с краю.

— Вот эти? — поднялся он.

— Нет, не эти.

— Зачем они тебе?

— Почистить уши.

— А зачем две? — Кваснов опять сел, натянул штанины сразу на обе ноги. —

Почему именно эти?

— Они маленькие.

— Извини, я не подумал, — пробормотал Кваснов. — А вообще, зачем сейчас чистить уши? Кстати, — заметил, — можно одной ложечкой поковырять в обоих ушах, зачем тебе две?

— Почему это тебя так интересует? — возмутилась жена. — Помоги найти варежки.

Кваснов поспешил выйти и во дворе на свежем воздухе глубоко вздохнул. Сел в машину, включил зажигание, потом вылез, чтобы открыть ворота. Опять глубоко вздохнул, и тут — будто ножом в грудь, под самое сердце; затем ослепительной острой болью отозвалось по всему телу. «Еще раз вот так, — испугался Кваснов, — и — все...» Он распахнул ворота и сел в машину, боясь пошевелиться. Уставился на дерево за забором на улице, где всего лишь несколько часов назад целовались мальчик с девочкой, но тогда черная была ночь, а утром, в ярких солнечных лучах, словно в первый раз увидел эту липу, которую сам когда-то посадил. И тут вырвалось: «Нет, не в первый раз вижу, а, может, в после-

дний...» Сразу подступила вчерашняя тоска, когда никак не мог понять после колокола, что это еще позвякивает и постукивает на ветерке на огородах на Электрической улице, где искал с Настей дом 25/7; и сейчас вдруг ему открылось, кого напоминает она.

Однажды, когда еще учился в школе, Кваснов возвращался после уроков домой, а ему навстречу девчонка. Он и раньше ее встречал; она жила где-то неподалеку, но училась в другой школе. Кваснов даже не знал, как зовут эту девочку; ни разу не осмелился с ней заговорить на улице. Но тогда, уже пройдя мимо, Кваснов не выдержал и оглянулся, а эта девочка почувствовала и тоже обернулась. Уголки рта у нее вечно опущены, и нос повесила, и глаза из-под недетски тяжелых, может быть, от слез, век, смотрят в землю; кажется, вместо глаз щель, но тут девочка подняла голову и распахнула глаза, и — что в них? Едва Кваснов глянул ей в глаза — вдруг его всего пронзило подобно тому, как сегодня, когда, открывая ворота, глубоко вздохнул — и ему «будто ножом под сердце». Но тогда с сердцем было все нормально; юный Кваснов только испугался, однако как ни в чем не бывало, с невозмутимым выражением на лице, повернулся и пошел дальше... Сразу за железной дорогой на пустыре поставили шатер цирка, загородили забором; вход сквозь арку со стороны улицы, которая за пустырем. На арке лицом к улице буквы, а за железной дорогой Кваснов увидел их перевернутыми наизнанку: ЯЧЊИ.

Больше никогда этой девчонки Кваснов не встречал и вскоре, закончив школу, уехал насовсем в большой город. Жизнь закрутилась и завертелась; поначалу Кваснов еще вспоминал свою первую любовь, когда «будто ножом под сердце», однако вскоре появилось у него много девушек, которые сами на шею бросаются; наш герой начал встречаться то с одной, то с другой; дальше можно не описывать, но того «ножа под сердце», отчего молния в душе, никогда больше не ощущал.

Спohватившись, старик выехал на улицу. Над рекой поднимается солнце. Змейками плывет туман над водой, под мостом тонет в сумраке, в котором спряталась, умирает ночь, затем вываливает дымными клубами на простор и вдаль течет, как молоко. К перилам на какой-то невидимой нитке привязана бутылка. Иногда она сверкнет на солнце, пока ее опять не унесет под мост, и она там вертится на нитке, которая раскручивается то в одну сторону, то в другую.

Кваснов едет дальше. На буграх трава выгорела за лето, только внизу зеленые заплатки. Повсюду скомканные бумажки, обрывки газет, консервные банки, чешуя рыбы, в кустах проржавевшие кузова легковых автомобилей, и, навевая тоску, свистит ветер в горлышках бутылок. Под мостом, где гулкие звуки, показался велосипедист и пронзительно скрипит, а когда выезжает на простор, вместо скрипа остается режущий ухо писк. Кваснов вылез из машины и раздевается на берегу. Велосипедист остановился неподалеку и поднял с земли пустую бутылку, которых у него уже целая сумка. Кваснов каждое утро встречает его здесь, шагнул навстречу и уже положил руку на сердце, чтобы открыть душу, — не мог же он Ляльке рассказать, что не помнит своего первого поцелуя, но тут нечаянно у него вырвалось:

— Знаешь, друг, когда-то у меня было много женщин...

— И это, извини, с такой физиономией? — удивился тот, глядя на Кваснова. — Не верю.

— Зачем же мне тебя обманывать? — в свою очередь удивился Кваснов.

— Не знаю, — «друг» подбирает еще одну бутылку.

— И я не знаю, — пробормотал Кваснов. — Зачем ты собираешь бутылки?

Бедняга сделал вид, будто не расслышал, но не удержался и съязвил:

— Куда же теперь подевались твои женщины?

— Ты что, дружок, вообще? — покрутил пальцем у виска старик. — Ты что — не понимаешь, ? Ты что, вообще?

Еще раз покрутив пальцем у виска, Кваснов бросился в воду. Река текла не из города, а в город, из лесов, голубеющих вдали, и в этом измаранном месте, когда-то прекрасном, вода струилась чистая. Едва Кваснов прыгнул с берега, солнце скрылось за тучей. По реке поплыли расходящиеся круги с пузырями. Начинается капля за каплей дождь, и вскоре вода будто закипела. Бедняга с бутылками сел на велосипед и нажал на педали. Под дождем велосипед не скрипит. Как только несчастный оборванец спрятался под мостом, дождь перестал, а когда Кваснов, искупавшись, вылез из воды, ничего уже не напоминало о нем.

Через полчаса — выбритый, в вытуженных брюках, сияющий после купанья Кваснов заходит к жене. Она все еще в постели, но услышала, как вошел муж, и, не открывая глаз, улыбается. Кваснов, наклонившись, поцеловал Ляльку и почувствовал у себя на плече ее варежку.

— Нашла?

— Да, — кивает.

— Зачем летом варежки? — спрашивает Кваснов. — Ах, да! — достал из портфеля флакончик духов — точно такой, какой оставил вчера у Тарайковской.

Тут зазвонил телефон; Кваснов поспешил в коридор и схватил трубку. Жена наконец поднялась, шагнула за ним, но Кваснов, прижимая телефонную трубку к уху, оглянулся, и Лялька, словно тень, исчезла за стеной, открыла шкаф и опять стала рыться, а когда муж вернулся, не выдержала:

— Кто звонил?

— Будто ты не знаешь — кто, — проворчал Кваснов.

— Что случилось?

— Бессонница.

Проходя мимо зеркала, Кваснов нечаянно заглянул в него и вспомнил, что увидел вчера на своем лице рядом со старухой Тарайковской в слезах, затем прогнал неприятные мысли и, подмигнув сам себе, взял с тумбочки флакончик духов.

Лялька заметила:

— Подарил, а сам пользуешься!

— Я же немножко, — оправдывается Кваснов. — Лицо spraysнул...

— Да у тебя же лошадиная физиономия, — ухмыльнулась Лялька.

Кваснов не удержался и хлопнул дверью. Пока жена выскочила за ним — он уже в конце коридора. Скорее бы сесть в машину и уехать; даже не знал — куда, но тут вспомнил про Настю и осознал, что она все еще стоит на Энергетической улице и ожидает дворничиху, которая ушла .

Кваснов взял нож и, выйдя в сад, нарезал букет. Положил его на заднее сиденье в машине, затем сел за руль и, выезжая из ворот, опять невольно вспомнил подсмотренный вчера первый поцелуй.

Мария Ряховская

Выйду замуж за психа, йога или пьяницу

рассказ

Ольга уже собралась уходить, — как вдруг продиравшаяся вперед тетка в капюшоне резанула ее по груди фанеркой с лозунгом.

— Что за рохля! — взвыла от боли Ольга. — Тащи свой транспарант по улице, а не по чужим сиськам, труперда кособокая!

Не только баба, а и пять десятков человек, замерзших и уставших топтаться на одном месте, обернулись вслед Ольгиному пронзительному голосу.

— Пили отсюда, ветрогонка баламутная! — уже весело продолжала Ольга, мигом согревшись. — Растетеха! Колупаха! Визгопяха!

Тетка наконец обернулась, и Ольга увидела, что она в старомодных очках с зелеными фильтрами. «Слепая, что ль? Полуслепая... Не видит, куда идет».

— «Простите» — хотела сказать Ольга, но баба неожиданно заорала ей в ответ:

— Сама басалайка! Урюпа никудышная! Стоит, как пень Божий!

«Машкин голос?! Нет, показалось... — думала Ольга. — Да ее голос, ее! Как не узнать?! Хоровым пеньем в студенчестве занималась. И ругательства эти мы с ней-то и нарыли в институтской библиотеке — для курсовой».

— И орет, колупай недоделанный! Божедурка полоротая! Разлямзя! — продолжала голосить на всю площадь подружка, опуская фанерку, засовывая очки в карман и уже вовсю улыбаясь: признала Ольгу.

Ольга и не верила свершившейся с Машкой метаморфозе. Тощая шея сиротливо торчала из дырявой марлевки шарфа, как перебинтованная конечность. Где ямочки на круглых щеках? В институте была подруга знаменита вздернутым носиком и голубыми глазами чуть навывкате, над которыми легким карандашным росчерком были будто нарисованы удивленные, вверх летящие брови. Все это придавало Машкиному лицу трогательно-глуповатое выражение. «Худеть, худеть было ей никак нельзя! — с жалостью подумала Ольга. — Да еще в тридцать шесть лет! Как лицо-то вытянулось!.. Из прелестницы превратилась она в некрасивую женщину».

Об авторе | Мария Ряховская родилась в Москве. Училась в Литературном институте. Работала на радио «Свобода» и в газетах. Как прозаик, эссеист и публицист печаталась в «Октябре», «Дружбе народов», «Новом мире», «Юности», «Новой Юности», «Вестнике Европы» и пр. Всероссийская Астафьевская премия за 2012 год (цикл рассказов «Дура фартовая»). Горьковская премия-2013 (роман «Записки одной курёхи»). Премия им. Дельвига-2014 (книга документальных новостей и очерков «Россия в отражениях: Сербия, Крым, Казахстан»). Последняя публикация в «Знамени» — рассказ «Архангел Михаил» (2015, № 2).

Ах, какой завлекательной была Машка для старшеклассников элитной гимназии, где они с Ольгой преподавали после института! Газпромский сынок так увлекся ею, что увез в Ниццу кататься на яхте, — и вот уже Машкина божественная попа, обтянутая коллекционным купальником, красовалась в «Мегаполис-экспрессе». К большому сожалению учеников, после этого из школы ее выставили. Неужели же теперь она против коррупции в «сырьевой корпорации Лубянка»?..

Подойдя к Ольге, как обычно, безо всякого приветствия, Машка грубовато начала:

— И не подошла, если б я не стала горло драть? Эх, ты!.. А если нам щас словарь русских исконных ругательств издать, а? Матерные-то изданы, — а нематерные?.. В 90-е, понятно, — он был никому не нужен. А теперь пойдет на ура! У меня до сих пор курсовик лежит — на том потянет.

Машка говорила весело, но опять надела свои чудовищные окуляры, чтоб скрыть слезы.

— Что за очки такие страшные? — спросила Ольга, и сама с трудом справляясь с клочкотаньем в горле.

— Дак будут страшные... Минус девять какая оправка удержит? — отвечала Машка, шмурыгая носом.

— А зачем затемнение? Солнце и так раз в месяц выходит.

— А! Не хочу смотреть ни на что! А когда все в зеленой дымке — будто сон видишь...

Позади подруги топтался двухметровый, похожий на жердь парень, заросший моджахедистой бородой, и безразлично посматривал на Ольгу поверх Машкиной головы.

— Иван, — представила его Маша. — Пойдем к нам, а? Мы тут рядом, на Мясницкой, живем, вот прогуливались. Только мы... это... сыроеды.

Сыроеды?! Ольга поняла: совсем худо Машке, поклоннице кулебяк, — денег нет вообще — или шизофрения у парня. А скорей всего — и то и другое. И к чему сыроедам митинги? Они, наверно, непротивленцы, да и сил на протест у них нету.

Иван вяло тащился позади подруг, глядя на свои стоптаные кроссовки. Маша цеплялась за Ольгу, но каждые пятьдесят метров убегала назад, заглядывала в лицо Ивану и возвращалась хмурая. И опять начинались воспоминания, и она снова улыбалась. Было ясно: Машка и ее парень ходили на митинги от невозможности долго выносить друг друга. А еще от безденежья и одиночества — друзей, видно, не было, на кино и театр нужны деньги, а митинг бесплатный, — да еще в пяти минутах от дома. Гулять-то надо для здоровья.

Когда Ивановы шнурки совсем развязались и он присел их завязать, Машка шепнула на ухо Ольге:

— У него квартира своя, значит — не снимаю. У меня уже 730 тысяч!

Ольга вздохнула, но промолчала: облезлые «однушки» в хрущобах Капотни по семь лимонов идут...

Родом-то Машка была из крошечного городишки, где мужики круглый год ходили в синих трениках и тапках на босу ногу. И с первого своего рабочего дня она начала собирать на квартиру. В гимназическом эпизоде с газпромским сынком она приблизилась к своей мечте близко как никогда. И тут же слетела вниз, когда ее поперли: пришлось бегать по урокам, и едва хватало на аренду комнаты.

— Мне судьба судила родиться у матери-одиночки! Проводницы! — повторяла Машка не без гордости. — В самом маленьком городе России, Чекалине! Из инфраструктуры там есть только дом престарелых и похоронное бюро!

И вот годы идут — а покорение Москвы жительницей Чекалина не продвигается. Ни угла своего, ни семьи, ни ребенка. Поиски пресловутой любви, как и инстинкт создания семьи, превратились у Машки в маниакальную идею купить квадратные метры. Этой идеей были заменены все прочие чувства.

Зато у Ивана была квартира в дореволюционном доме на Мясницкой, и при взгляде на лепнину в большой комнате Машка всякий раз преисполнялась благоговения.

Сели хозяева на пол, сложили ноги по-турецки. Ольга сначала пристроилась на диван, но вскоре сползла вниз: неудобно было видеть их лица у своих колен. Маша сходила на кухню, вернулась с начищенным медным подносом. На нем пиалушки вроде как из игрушечного сервиза, в них на доньшке что-то желтоватое бултыхалось, зеленый чай, видно. На большом фарфоровом блюде красиво, как в ресторане, лежал единственный банан, разрезанный на десять частей. Иван палочки благовонные зажег перед изображением Шивы и попросил хозяйку меда принести. И не то что попросил — а приказал.

А Машка ему отказала, да еще с возмущением — мол, мы сыроеды, в гармонии с природой живем, никого не обижаем и отсюда силу свою черпаем, — и пчел мы эксплуатировать не будем!

Иван разозлился, тапки, говорит, убери со стола, — то есть с паласа, — и гневно так прибавил: Почему пол... то есть стол! — не пропылесосила, у меня, мол, аллергия на пыль!

И Машка сразу затихла и вспомнила, что он не просто Иван, а хозяин двухкомнатной квартиры на Мясницкой! Он палец вверх поднял, поучая ее, а Машка машинально взглянула, куда он показывает — и опять увидела лепнину с завитушками, и взор у нее стал возвышенно-печальный, и откуда-то она принесла сразу мед.

Когда у Ольги ноги занемели и коленку скрутило, она дотумкала, для чего эти двое на полу кушать придумали — чтоб меньше есть. Когда за столом сидишь — можно часами пищей наслаждаться, а в таком положении скорей бы закончить. Ольга проглотила банановые кусочки: в животе так бурчало, что соседям было слышно.

Прощаться стала. А Машка с Иваном так испугались ее ухода, — что заговорили разом. Машка тараторила:

— Система называется «дарсенинг». Организм тратит много энергии на переваривание вареной пищи... и чтоб энергию высвободить, надо перестать эту дрянь есть...

Иван посмотрел на пустой подрамник, стоявший у окна, в котором был будто заключен унылый пейзаж холодной, дождливой московской весны.

— Сидишь в темной комнате один — аки во гробе, — гнусавил Иван, — соседний дом пинешь. Потом с ничтожествами разными пьешь водку, чтоб твою картину на подмосковную выставку всунули, где учителя рисования выставляют! И сам же карябаешь рецензию в газету «Подмосковье» об этой выставке... Маша одна статью твою и прочтет. Абсурд какой-то. Да и какой тут свет?

Иван раздраженно ткнул пальцем в сторону окна, откуда тянулся слабый, одинокий мартовский луч.

— Главное — иметь свет внутри! — перебила его Машка.

— Что можно написать здесь? — вопрошал Иван. — В вечно сумрачном, сыром нутре этого города? Где клубятся и перепутываются, как комок паразитов, судьбы ленивых, несчастных, ищущих место посытнее горожан! Вот если б в Италии! Или на Балканах! Говорю Машке: давай сдадим квартиру, переедем!..

— Ванечка, везде хорошо, где нас нет! — перекрикивала его Машка. — Куда ни переезжай — из кармической ловушки не выбраться!

— Не под силу мне это... — сник Иван. — Безденежье, одиночество, мрак небесный. Был я и художником, и рабом, — в Америке стены штукатурил, — хватит с меня. Уж лучше сдать квартиру, уехать в Черногорию, к морю... Или в Сербию. С криком «Мать-Россия!» бегут к тебе знакомиться, зовут за длинные накрытые столы. А как много света там! — поднял голову Иван, улыбнулся. — И горы фиолетовые, и крыши черепичные. Не хуже, чем в Италии, — а дешевле в десятки раз!

На лицо Ивана будто пал отсвет балканского солнца, зато Машкина физиономия потемнела: где она жить-то будет, если они апартаменты сдадут? Как копить на возделенную «однушку» тогда? В заграничной провинции ее уроки не нужны! И замуж ей никто не предлагал, стало быть, права на благородную квартиру с лепниной она никакого не имеет.

— Живем же, хлеб жуем! — обиженно взвизгнула подруга. — По ученикам бегаю, как савраска! В следующем месяце будет еще один гаврик!

— Копейки, — отмахнулся Иван. — Я тебе предлагал вложиться в Парк Мечты! А ты что сказала? Оль, это ж золотое дно!

Он смотрел на полюбовницу умоляющим взором:

— Представляешь — юг! Курские леса. Покупаешь участок пять гектаров и сажаешь на нем сосны и ели. А когда они вырастают — ты каждое дерево продаешь за две тысячи долларов! И у тебя уже миллионы!

Ольга оторопела от наивности Ивана:

— Да кто же купит дерево в России? Да еще за две тыщи баксов! Когда его из леса принести можно?

— Ты какую елку принесешь? Метр от силы! А там сосны и ели растут до тридцати метров! Их себе на участки богатеи покупают. Московскую квартиру сдал, четыре года в Сербии пожил, денегат подкопил, участок приобрел — и жди...

— Да они сколько растут-то? До тридцатиметровой высоты? — спрашивала Ольга, сочувственно глядя на Машку.

— Ну... растут... не знаю, лет пять. Может, шесть или десять. А не хотим в Сербию — можем Машины деньги вложить.

— Дорогой, а давай я тебе огуречное смузи сделаю, — резко сказала Машка, вскочила и побежала на кухню.

Иван встал и подошел к окну, прислонился лбом к стеклу. Голос его дрожал: он боролся с подступающими слезами.

— Отец написал пять картин, две попали на выставку МОСХа. Потом головы Ленина лепил в Азии. Узбекистан, Туркмения. Все дешево, везде почет, принимали как начальника... Приехал — квартиру трехкомнатную на Соколе получил. Поменял вот на двухкомнатную эту. По полгода жил в домах творчества художников, — жизнь беспечная, художницы на все согласные...

Ольга встала и ласково коснулась плеча Ивана:

— На работу тебе надо устраиваться. Срочно. В книжный, продавцом, а? Иван мотал головой:

— Ну чем я хуже отца, ну чем?..

На кухне подруга ожесточенно дробила лед в миксере, и плечи ее сотрясались то ли от электроприбора, то ли от нервных судорог. Сунула в миксер огурец, яблоко — и вдруг резко развернулась к подруге. Лицо у нее было перекошенное.

— А? Каков?.. Мало ему, малоумному пустобреху, истории с зажигалками! Приехал из Америки в 97-м, и на все заработанные деньги купил кремниевых

зажигалок! Оптом, в Набережных Челнах! Когда и за рубль их было уже загнать непросто! Когда газовые и бензиновые в моду вошли! С тех пор и не работал... Умная голова сто голов кормит — а глупая и себя не накормит!

Ольге стало вдруг стыдно. За подругу, за себя... Хотя у нее-то дела были лучше: и квартира своя, и работа в журнале, и муж официальный. Однако без компромиссов постыдных тоже не обходилось. «Да у нас разве постыдные? — спросила она себя. — Вот во вчерашнем объявлении на Вуман.Ру: передаю любовника в хорошие руки, 60 лет, лысый, проблемы с лишним весом и потенцией, содержание 5000 долларов в месяц... Да и это не постыдное — если человек не может на еду заработать, дети! Если старик — не извращенец, почему нет? Сказать Машке. ...Но ведь Ивашка-то без нее пропадет, разлямзя!» Произнести это Ольга так и не смогла, только повторила:

— Раз-лям-зя... Слу-ушай, а давай и правда предложим рукопись словаря ругательств в издательство? Сейчас русское снова в моду входит.

Машка не ответила, а Ольга разглядывала бумажные пакетики на кухонном столе.

Семя льна, пшеница для проращивания, сныть сублимированная, 21 рубль. Ценник в лавке, видно, не сняли. Знать, всю сныть Машка скупил, — до последней. Сныть — это ведь сорняк, первым в начале мая из земли лезет, — а они едят его, да еще сублимированный какой-то!.. На куске брезента лепешки зерновые сушатся.

Ольга руку к ним протянула — а Машка как закричит:

— Не трогай, убьет! Это ! Специальная сушка дорого стоит, мы вместо нее электроковрик для ног употребляем. А изоляцию сняли, иначе не сохнут они...

«Сказать! — стучало в висках у Ольги. — Куда уж дальше!.. Лепешки из сныти на электроковрике для ног!»

Вернулись в гостиную. Иван смузи скушал, настроение его повысилось — какие-никакие, а калории. Разлегся на ковре, мечтает:

— В кумранских свитках написано: «... и Ангел Жизни Вечной войдет в вас с этой смиренной травой». Это про пшеницу пророченную сказано. «А когда Земная Мать очистит и обновит тело ваше, вы сможете вынести свет Отца Своего Небесного».

— Иисус велел не есть мяса и тщательно пережевывать пищу, — суетливо прибавила явившаяся с кухни Маша. — Когда медленно жуешь, быстро насыщаешься и пища лучше усваивается. Значит, не пойдет половина ее в отбросы. Таким образом Христос и накормил пять тысяч одним хлебом.

— ...ну, это гипербола, — поморщился Иван, — не больше пятидесяти — и то, судя по тому, какие были хлебы.

— Голод живота не пучит, а, Оль? — подмигнула Ольге Машка и продолжала: — Еще Иисус рекомендовал семидневное голодание. И «почитание» трех Ангелов: Ангела Воздуха через йоговское дыхание, Ангела Света через солнечные ванны и Ангела Воды через омовение в реке и клизмы. Знаешь, из чего Христос конструировал клизму? Из тростника и тыквы.

— Слушай, а если нам семинары по сыроедению организовать? Это нетрудно, и деньги будут! — опять воззвал Иван к Машке. — Выездные семинары? В Сербии?

— Нет, — отрезала Машка и долгим недобрый взглядом посмотрела на него. — Кармические ловушки так не работают. Из кармической ямы можно выбраться, лишь совершив что-то необычайное! Потрясти самого себя и окружающих своим поступком! Вот ты сидишь здесь, мечтаешь, — а в Донецке борется за чужие жизни Игорь Иванович Стрелков! Такой же человек, как ты! Почти тех же лет! И его называют новым Гарибальди!

— Читал его «Боснийский дневник», — нехотя произнес Иван.

— Да! Он еще и поэт, и писатель! А какие у него стихи! Не жди приказа! Не сиди, ссылаясь на покой! Вперед! Сквозь ветры и дожди...

— ...сквозь вьюги волчий вой! — подхватил Иван, у которого Интернет всегда был под рукой.

— Он не только настоящий русский офицер, как о нем пишут, но и писатель! Как и этот... второй. Его представитель в ДНР. Берязев? Березин! Фантаст. Автор десяти книг, изданных в ЭКСМО и АСТ. Он пишет: у нас сейчас настоящая Испания!.. Ты будешь с лучшими людьми нашего времени!..

— Где я буду? — обалдело спросил Иван.

— ...Сможешь подружиться с ними! А потом они возьмут тебя художником-оформителем! Сделаешь себе судьбу! Выпрыгнешь из кармической ловушки!

Не только Иван, но и Ольга остолбенела от Машкиного напора.

— Да и солнца на Украине достаточно! Не хуже Сербии! Одно плохо... Кормят там ополченцев традиционно: каждый день тушенка, суп с мясом. Гуманитарная помощь — шоколад, сгущенное молоко!

Иванов взор при словах о тушенке и шоколаде перестал расплываться в стороны, обрел осмысленность.

Ольге стало нехорошо. Она быстро пошла в прихожую: страшновато было оставаться. Но тут Машка за ней подхватила. Как в прежние годы, быстро, весело в джинсы вскочила:

— Я Олю провожу!

Повела Машка подругу в кафе через дорогу, а потом передумала и сказала: пошли в другое, тут чай плохой. Видно, опасалась, что Иван ее выслеживать будет. В кафе она полкило жареной картошки с кетчупом навернула, на спинку кресла откинулась и калькулятором защелкала.

— В Реутовской школе зарабатываю я 26 тыр, ученики еще восемь в месяц приносят. На еду у нас тратится двадцать — я наем на двенадцать и он на семь — восемь. Если оставшиеся 14 тыр умножить на два года — 336 тысяч выходит... Надо больше откладывать! А как? Ну не протяну я с ним еще два года!.. Не работает и не хочет, Оль! Полтора года его кормлю, паразита!.. Хотя... вот сыроедение это придумала и на квартире экономлю 30 тысяч, на него трачу не больше семи — восьми в месяц. Выходит все-таки с ним экономия. Двадцать две тысячи.

Ольга стала резонировать ее: и себя утrobiшь, и его! Лучше б ребенка завела.

— Ребе-о-онок? — взвывла Машка. — От него-о??? Издеваешься! И жениться на мне не собирается. Про регистрацию пять раз заговаривала — как не слышит!.. Я каждую ночь во сне вижу, как нищая вонючая старуха умирает в переходе! И это — я! Как там сказано, а? Приведи Бог и собачке свою конуру... А мне Бог судил родиться в самом маленьком городе России, у матери-одиночки, проводницы!

У Машки мелко тряслись руки, перекосило лицо. Она сняла свои окуляры, кинула в сторону:

— Видишь, ослепла я на своей словесности!

По проторенным дорожкам-морщинкам текли слезы. Эх, какие громадные голубые глаза у нее когда-то были! Уменьшились, запали будто. И вздернутый носик теперь только простил ее.

— С тринадцати лет работала, за бабушку почту разносила! С шестнадцати джинсами торговала! Когда в педу училась — всю общагу стригла! А ночью в кафе работала. Из кафе тебе на лекции котлеты таскала, помнишь? Ты ведь тоже не просто жила... В Московский пед сама поступила! Потом школа, частные уро-

ки, наша газпромовская гимназия. Мне тридцать шесть, а что я заработала? И с мужиками ужас как не везет. У Ивана такая депрессия, комплексы... Слово боюсь сказать. Чуть что — закричит, вскочит, побежит из дома. И так три раза на дню. Большая это цена за двадцать тысяч экономии! Я как полусумасшедшая белка в колесе — белка, понимаешь? Куда бегу, зачем — не знаю, бегу по инерции, — хотя впереди ничего не вижу... Я тебе еще не то скажу!..

Машка наклонилась к Ольге, горькая усмешка появилась на ее лице.

— Ты знаешь, какое объявление в газету «Из рук в руки» я подавала пять лет назад?.. «31 год, красивая, в/о. Зарабатываю деньги сама. Выйду замуж за йога, пьяницу, психа — с условием прописки на жилплощади мужа». Мне было не страшно такую объяву подать — раньше я уже состояла в гражданском браке с чокнутыми и алкашами. Йог и сумасшедший в одном лице проживал в двухкомнатной хрущобе в Кузьминках и был одержим чистотой. Для поддержания чистоты ауры он делал по утрам асаны, для гигиены тела мылся два раза в день, каждое утро делал мокрую уборку и шесть раз обливал посуду кипятком. Однажды я взяла его чашку — так он так взбесился, что выгнал меня! Через два месяца помирились, а через три он умер от сердечного приступа у меня на руках. Причем на его похороны пошла изрядная часть моей заначки! Еще полгода после того по ночам мне снились микробы в виде пауков, жуков и червяков. Он был одинокий, завещание на меня написать не успел. Квартира отошла двоюродной племяннице.

По Ольгиному лицу текли слезы. Но подруга не давала ей передышки:

— Следующий, пьяница, служил на овощебазе товароведом и был большим патриотом. Каждый вечер напивался и орал: «Едрен батон! Почему русский человек должен есть литовский сыр? Мы что, сами сыр делать не умеем? А яблоки?! Почему они польские? В России что, яблони негде сажать? Едрен батон!» Товаровед отравился алкоголем перед самым ЗАГСом, и я сбежала, чтобы не хоронить еще одного...

Машка стиснула Ольгину руку:

— Я уже ничего не хочу, ни во что не верю, хоть бы передохнуть от очередного мужика — и все! Хоть недели на две! Пожить одной, подумать, как быть. Иван был последней надеждой. Увидела его на улице, шел, улыбался своим мечтам. Цвели каштаны. Познакомились. Я думала, он художник, человек духовный, тепло будет с ним, не пусто. Ребеночка рожу... Пусть одна я буду нас кормить — даже так, да! Но он принесет с собой новое, — людей, жизнь, творчество! А будет движение — не пропадем! Но ведь он как мертвый, хоть забор подпирай! С ним я поняла: больше ничего никогда не будет. Ни-че-го и ни-когда! Весь день думаю, как бы поскорей спать лечь. Все, со мной покончено!..

«После такой-то исповеди не постесняешься предложить роль соержанки, — размышляла Ольга. — Только ведь... у Машки одна гордость в жизни, одно достижение: сама поступила в институт, сама зарабатывает. По морде еще съездит!.. Но чем любовь за деньги хуже жизни с Иваном? У него, небось, тоже проблемы мужские от голода, как у того, в объявлении на «Вуман.Ру». А его еще корми, терпи! Вишь как накинудись бабы на объявление! С десяток ответов на форуме! Сколько еще в личку?.. Еще бы и тендер Машка не прошла... Но как же Иван без нее?»

Ольга уже было открыла рот, но Машка преобразилась: разругянилась, распрямилась, глаза страстно смотрели вперед. Она продолжала подсчеты!

— 15 тысяч долларов у меня лежит с наших с тобой гимназических времен, — бормотала Машка и опять защелкала калькулятором. — Это, значит, 480 тысяч. И еще двести пятьдесят я накопила. Стало быть, если я протяну с ним еще два года — у меня будет 2 миллиона 46 тысяч.

Пропикала эсэмэска.

— Вот! Подписка пришла по квартирам. В Кузьминках на первом этаже пятиэтажки продают однушку за 4 миллиона 900 тысяч. Значит... — у Машки опять задрожало лицо, — если через два года я накоплю 2 миллиона, — мне будет не хватать еще почти 3... Или 4... Или 5... Потому что цены через два года еще вырастут.

Ольга опять хотела сказать про объявление. Но внезапно вспомнила эпизод с директором гимназии. Машка бежала по коридору с вытаращенными глазами, за ней широким шагом шел Павел Вадимыч с красным лицом, сжатым от обиды ртом. В туалете, где укрылись девушки, подруга призналась: «Не выношу дряблого тела, вот воротит, как от гнилого, — и все».

Через месяц Ольга навещала Машу в больнице. Упала она в обморок прямо в квартире ученицы.

В больничном коридоре Машка схватила Ольгу за руку, посадила на банкетку рядом с собой и час ее руку не выпускала. Тараторила:

— Уже месяц лежу! Кормят хорошо, сегодня борщ давали, котлету и пюре. На десерт — яблоко. Не хуже, чем мы в студенческой столовке питались. Помнишь то зеленоватое порошковое пюре?.. Эх, середина 90-х!.. Люби-и его-о, пока он живо-ой, — запела вдруг она. — Прорвемся! Знаешь, сколько я тут сэкономила? 40 тыщ! И еще ученик тут, рядом, образовался, на троллейбусе две остановки. Меня к нему отпускает заводделением в тихий час. Два часа в неделю! Значит, в этом месяце 46 тыщ отложу!

За спинами приятельниц загрохотала по кафельному полу больницы тележка на колесиках, дребезжали на железном столике кружки и тарелки.

— Мне усиленное питание прописали! Анемия! И эта... как ее? Аменорея. Месячные пропали. Говорят, ранний климакс: в анамнезе аборт и плохое питание.

Когда старуха в высоком голубом колпаке протянула Маше банан и кружку с клюквенным киселем, она, наконец, отпустила Ольгину вспотевшую ладонь и, как зверушка, вцепилась обеими руками в банан, очистила его и вмиг уничтожила. Было видно, что сообщение о климаксе — в тридцать шесть лет! — ничуть не расстроило Машку.

Потом она высосала из кружки кисель, чмокая и сербая. Машкины глаза бессмысленно смотрели вперед, не моргая, двигались только губы. С губ на подбородок потекла тонкая розовая струйка киселя, свесилась вниз, утонула в толстом махровом халате. Напротив банкетки на стене висело зеркало, Машка на мгновение увидела в нем себя, но ни испуга, ни удивления — вообще никакого чувства не отразилось на ее лице.

Ольга вспомнила, что последний раз была в больнице, когда умирала бабушка, и что она, уже бывшая в маразме, так же жадно и некрасиво ела, инстинктивно пытаясь остановить увядание тела усиленным питанием.

Ольга спросила Машу об Иване. «Он на Украине», — только и сказала она.

Ольга отпрянула:

— Ты... его все-таки выперла? Там же война!!!

— Война, — ответила она равнодушно. — Его товарищ уехал добровольцем в Донецк, мы ездили на вокзал провожать. Потом он рассматривал иллюстрации к книжкам Березина и Стрелкова. Сказал, никудышные. Я говорю: вот и хорошо, ты прекрасные сделаешь. Ты у меня талант! — на этом месте она захихикала. — Еще десять дней я ему мозги компостировала...

Через миг Машка забыла о разговоре и стала рыться у Ольги в сумке, по запаху отыскивая картошку фри и гамбургер из «Макдоналдса», которые любила с юности.

Ивана привезли в военный госпиталь через двенадцать дней после того разговора в больнице. В зале прощаний при морге было неожиданно много народу и пахло нашатырем. Ольга подошла к Ивану и встала возле его гроба. Машка жалась к Ваниной матери, и выражение лица у нее было испуганно-изумленное.

Она позвонила Ольге через три дня, и она почувяла, что Машкин короткий звериный испуг прошел через час после похорон. Сидя рядом с несостоявшейся свекровью, она слащаво повторяла в трубку:

— Коля и Саша говорят: пока Маша с Полиной Ивановной, мы за мать спокойны. Мать у нас не одна. мне здесь находиться и ухаживать за ней.

Через два года Ольга увидела подругу случайно в Елоховском, на Пасху. Она стояла рядом с грузной старухой в черном — Полиной Ивановной. Машка была в таком же фиолетовом полосатом китайском платке, как и «свекровь», — их продавали в переходах в ту зиму по всей Москве, — так же мелко и поспешно крестилась, как и Полина Ивановна, и на лице ее было то же привычное выражение тупой тоски, как у Ваниной матери. Она потолстела, расплылась. Подойдя, она по-русски картинно три раза поцеловала меня и, отведя в уголок, шепнула, что Ванину квартиру сдают, и ей перепадает шестьсот баксов в месяц, «

». Ведь учеников пришлось оставить — у Полины Ивановны был удар, и за ней нужен уход. Еще Коля и Саша, — « !» — дают деньги матери на питание. «И, знаешь, столько дают, « !» Я... мы все не тратим — мы ведь вегетарианцы, как Ванечка, « ». «Пирог печем с капустой, винегреты кушаем, ну и рыбку когда», — она сладко сглотнула слюну, перечисляя меню.

— У меня уже 3 миллиона 52 тысячи. , — шепнула Машка на прощание, выйдя на паперть проводить меня, и лицо ее осветилось озорной улыбкой, которую я еще помнила.

Борис Пастернак

Шесть писем Джону Харрису

ОТ ПУБЛИКАТОРА

В недавно вышедшей книге «Пастернак. Воспоминания. Исследования. Статьи» (М., «Азбуковник», 2015) Вячеслав Всеволодович Иванов так определил значение писем Пастернака последних лет:

«Огромность и необычность его <Пастернака. — . . .> взгляда на мир едва ли не полнее всего выражена в замечательных письмах разным корреспондентам, написанных на четырех языках. В них всегда сохраняется нестандартность и сути образов и способов их выражения. Удивительность мироощущения заметна именно потому, что она по-разному запечатлевается в слове на разных языках» (С. 638).

Сказанное полностью относится к предлагаемым письмам Пастернака к английскому школьному учителю Джону Харрису. Чтобы точнее понять смысл выраженного в них «нестандартного» образа мышления Пастернака, мы в комментариях даем цитаты из писем к другим лицам, в которых на разных языках Пастернак пытается определить свое мироощущение, отразившееся в романе «Доктор Живаго», ответить на вопросы корреспондента и объяснить непонимания, возникающие до сих пор у читателей и исследователей.

Итак, вернемся на полвека назад.

В 1963 году к Евгению Борисовичу Пастернаку в Переделкино, где мы тогда жили, приехали два молодых английских слависта, желающих заниматься творчеством его отца, — Ник Аннинг из Ноттингемского университета и Кристофер Барнс из Кембриджа.

Мы с Евгением Борисовичем были тогда заняты разбором бумаг, оставшихся после смерти его отца. Большую часть его архива составляли письма от разных корреспондентов, главным образом, из-за границы. Зинаида Николаевна распределила их между сыновьями и братом Бориса Леонидовича, передав для разбора Евгению Борисовичу французские письма, Александру Леонидовичу немецкие, оставив в Переделкине — английские для Леонида Борисовича. Английских было наибольшее количество. Именно их разбор мы поручили приехавшим английским мальчикам. Хотелось получить от адресатов тексты писем Бориса Пастернака.

Сбором иностранной корреспонденции занималась также в это время его сестра Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер, жившая в Оксфорде. Она дала в нескольких английских и немецких газетах объявление с просьбой прислать ей копии писем ее брата. В течение нескольких лет она собрала около сотни текстов Пастернака.

Аннинг и Барнс составили опись имен и адресов корреспондентов Пастернака и, вернувшись в Англию, разослали просьбы откликнуться и прислать копии полученных ими писем. Тогда еще не было теперешних ксероксов и сканеров, копии делались на машинке, фотографированием и какими-то другими способами, и постепенно они собрали довольно большое количество писем. Но, к сожалению, из этого собрания за прошедшие полвека в печать попало немного.

Одним из исключений стала публикация Кристофера Барнса в маленьком сборнике *Scottish Slavonic Review*, Autumn 1984, № 3, Glasgow, издаваемым Питером Хенри, шести писем Пастернака к молодому школьному учителю Джону П. Харрису¹.

Как пишет Джон Харрис, он написал Пастернаку сразу после прочтения только вышедшего по-английски романа «Доктор Живаго», без всякой надежды, что письмо дойдет.

Однако переписка завязалась, и Пастернак регулярно отвечал ему, посылая открытки без подписи, в расчете на то, что почтовая цензура пропустит их. Харрис поддержал эту нехитрую игру, рассказывая о своей семье, работе и вкладывая в конверты фотографии жены и детей в оправдавшейся надежде, что невинная болтовня неизвестного лица обезвредит старательного чиновника и оставит Пастернаку открытым путь общения, если он захочет им воспользоваться. Вероятно, это помогло его письмам, которые доходили до адресата даже во время зимы 1959 года, когда переписка Пастернака с заграницей была блокирована.

Как видно из писем Пастернака, он сразу оценил эту возможность и уже во втором письме обратился к этому «неизвестному», нагрузив его в некотором смысле «секретарскими» просьбами. Их быстрое исполнение и открытая готовность дружеской помощи расположили Пастернака к своему новому корреспонденту и пробудили к нему интерес, что следует из серьезности его ответов на затронутые Харрисом вопросы о его отношении к современной английской поэзии и из тонкого понимания отраженного в «Докторе Живаго» «поэтического приема» жизненных совпадений.

* * *

Посылая копии писем Пастернака Кристоферу Барнсу, Харрис писал ему:

(1965 .)

« »

«

»,

«

»,

26 сентября 1958

Дорогой мистер Харрис.

У меня нет намерения вступать в долгий обмен благодарностями с обеих сторон, однако я сердечно благодарю вас за ваше милое письмо. — И так как в моем положении подписанные письма в конвертах лишь изредка доходят до людей, которым они адресованы, и я обычно переписываюсь с ними неподписанными открытками, то будьте так добры подтвердить получение этой записки по адресу: Переделкино под Москвой (через Баковку), мне. форма открытки необязательна (мой ужасный английский может ввести вас в заблуждение); это только для меня и с моей стороны наиболее подходящий способ почтовых сношений.

Желаю счастья вам и тем, кто вам дорог.

« . . . » . 23

« . . . » « . . . »
) (. « . . . »
 — « . . . »², !

7 ноября 1958

Мой дорогой друг,

Я понял ваше желание доставить мне удовольствие, но мне не нужны книги в подарок, я горячо благодарю вас и прошу о двух услугах. Не удивляйтесь им, со временем все станет понятно, но пока это так же фантастически сложно, как в «Повести о двух городах» Диккенса³. Извините меня, что я толкаю вас на траты (я буду искать способ, чтобы возместить их вам, хотя вознаграждением останется ваша помощь и, соответственно тому, моя огромная благодарность). Если это не слишком дорого, пожалуйста, телеграфируйте или напишите (срочность в обоих случаях абсолютно не имеет значения) от моего имени Prafulla Chandra Das, Post Box 527, Cuttack 2, Orissa India⁴: пусть он готовит на бенгали Д<октора> Ж<иваго>, как ему нравится, не согласовываясь со мной и не извещая меня о своих делах. — Затем телеграфируйте или напишите г-ну Robert Strozier, ректору Государственного университета Флориды Tallahassee, U.S.A., что я безгранично тронут его предложением и не нахожу слов выразить свою благодарность, но надеюсь, что все будет хорошо, и я не буду связан необходимостью прибегать к его благородному и великодушному предложению⁵. И когда я начал свою открытку к вам, у меня появилась третья просьба (что за бесстыдство!). Напишите, если можно, поэту и прозаику г-ну Томасу Мертону, трапписту П.О., Кентукки США, что его драгоценные мысли и бесконечно дорогие письма поддерживают меня и делают меня счастливым. В более легкое и благоприятное время я поблагодарю и напишу ему. Сейчас я не в состоянии этого сделать. Передайте ему, что его высокие чувства и молитвы спасли мне жизнь. Я намерен упомянуть его в небольшом, нематериальном (не касающемся вещей) кратком, в несколько строчек, свидетельстве на память об этих днях⁶. — Как Вы могли слышать или читать, эти две недели у меня были серьезные испытания, и я не уверен, что буря прошла. — Простите великодушно, что превратил вас на день или больше в секретаря. Это останется для вас памятью о моем нахальстве, которое никогда больше не повторится. — Примите мои самые сердечные пожелания вашей семье и дому, которых вы так живо описали. Я абсолютно согласен с вами в том, что вы говорите о незначительности сопутствующих биографических подробностей перед реальной состоятельностью творческого труда. В моем случае я замечаю страсть журналистов только к трескотне о незначительных сторонах в судьбе и жизни etc. etc. Но я попросил Г<аллима>ра в Париже послать вам автобиографическую книжку⁷. Первые три главы, вероятно, будут вам интересны.

« . . . »
 (.
) « . . . » ,

« . . . —
(. . . «Penguin»⁸). :

12 декабря 1958

Милейшие мистер и миссис Харрис, очаровательная пара! Я бесконечно благодарен вам, дорогие друзья, что вы написали Тому и Бобу и др., как я просил, за роскошные цветы на переднем плане прекрасной фотографии с видом Дартингтона, за ваше интересное последнее письмо с удивительными успехами в русском языке и великолепным стихотворением Дилана Томаса. Разумеется, я знаю и люблю его. У меня есть две его книги: собрание поэм и сборник «Под сенью молочного леса»⁹. Жаль, что я не опередил вас и не предотвратил рождественские пожелания и дорогие подарки от вас и вашей милой жены. Я как раз хотел написать вам, что не стоит говорить о моих очень поверхностных суждениях о современных английских поэтах (из-за нехватки времени и недостаточного словаря) и о необоснованном предпочтении Одена всем другим. Я был готов написать вам сразу, как только прибыла ваша книга. Я безгранично благодарю вас обоих. Более близкого мне и приятного я не мог бы выбрать! (Мне всегда нравилась «Колыбельная» Одена «Любовь моя, склонись в дремоте томной...»). — Вы совершенно правы в своем горячем желании более творческой, личной, рожденной новой мыслью и интуицией прозы (вместо поэзии), не как «себялюбимый иностранец», как вы думаете, но в более значительном и безусловном смысле. Наше время, подводящее итог и завершающее середину века, время зрелое и поворотное, требует необычных и особых частностей эпохи, больших, чем может дать стихотворение: широчайшее историческое осмысление настоящей жизни, точнейшее изображение его простых ощущений, непревосхитимый, произвольный ежедневный взгляд в будущее. — Ничто решительным образом не изменилось в моей жизни, но, надеюсь, миновала личная опасность. В большую неопределенность, чем раньше, пришли юридические, денежные и деловые отношения, но нельзя предсказать, кто и когда приведет это в полную ясность. — Целый месяц я храню молчание, потому что напряженно и неотрывно работаю над переводом, которым занялся с намерением не слышать окружающее меня звериное гиканье¹⁰. — Я страстно мечтаю о писании новых стихов и прозы, но сейчас есть, верю, временные препятствия. Из-за границы я получил бесчисленное количество писем (однажды их было пятьдесят четыре за раз) и на часть из них надо было ответить. — Стихотворение «Уильям Уордсворт» Сидни Кейеса¹¹ прекрасно, не правда ли? Мои лучшие пожелания и поздравления с Рождеством и Новым годом всей вашей семье и вашим друзьям.

«bouteille a la mer» («
»).

«
»

: «
».

: «
<...>
»¹²,

8 февраля 1959

Дорогой друг,

Я не верю своим глазам, что появилась, наконец, счастливая возможность ответить (или попробовать ответить) на три ваши последние письма, драгоценные, содержательные и глубокие. (Как божественно восхитительны ваши малыши! Поздравляю миледи и вас с этим очарованием!)

Вы можете представить себе препятствия, мешавшие моему острейшему желанию говорить с вами, ответить на ваши вопросы, а также два месяца моих страданий оттого, что они остались неотвеченными.

Сейчас, обремененный тревогами, досадой, перепиской и так далее, я попробую ограничиться самым поразительным и интересным в вашем письме, — вопросом или даже философией совпадений.

Сделать это я могу только очень кратко, что само по себе противоречит обширности и сложности темы. Вам будет смешно не только мой неземной английский, — вас удивит также мое невежество, открывающееся, когда я привожу всякие «научные» параллели. Однако я быстро перескакиваю через существенный момент. Вернусь к вашему письму.

Вы были совершенно правы, что напомнили мне о Донне, о его чувстве всеобщности живого, о его «он это мы». И ваша теория Харриса: «Совпадения — это

Пастернака, когда он пытается выразить что-то подобное Донну... и т.д.», если и не сама истина, то близка правде, в нескольких шагах от нее. В моем романе есть афоризмы, определения, положения, но основное направление мысли лежит не в этих открытых высказываниях (мнения выражались в диалогах, авторских отступлениях и т.д. и т.п.), но в скрытой тенденции, которая пронизывает самую манеру моей передачи действительности, мои описания. Именно здесь у меня, в смене времен, стиле движения, цветовой характеристике и расстановке групп кроется невысказанная мной философия. Я скажу больше: моя философия сама по себе, в целом, более , чем убеждение. И повторяю, вы были правы, когда ссылались на Донна. В данном случае важны не отдельные различные взгляды и высказывания, а постоянное особое освещение, в котором все четко видится, живет, отражается и говорит.

Прошлый век сохранил старое рационалистическое понятие о случайности как единственной, крепко скованной железной цепи причин и следствий, предшествования и последования, связанных друг с другом. Таковы были законы логики и математики, законы природы.

Идея жесткого причинного порядка и возмездия частично повлияла на искусство. Например, высокая красота прозы Флобера или Мопассана выражается в их стиле, в фатализме их неумолимых и безжалостных конструкций фраз, как будто их романы — не свободное описание размеренно текущей и управляемой законом жизни, а принудительные предписания или письменные вердикты самих судеб¹³.

Я страшно отстал от современного знания, я невежда. Конечно, я ошибаюсь, но у меня есть ощущение, что современная наука склонна представлять свои первоначальные установления не в старых образах а priori, но в определенной форме, так сказать, статистически полученных или добытых оснований. Это не индуктивный метод, но допущение иных, воображаемых или даже невообразимых случаев, соперничающих с закономерностью и, — как я понимаю, — побежденных ее несравненной силой.

Конечно, я не могу отрицать причинной связи. Но в отличие от детерминизма великих романистов прошлого я доверяю своим собственным представлениям, а не убеждениям. Их художественной гордостью были внешние обрисовки, контуры, границы объективности, структурные построения. И это более всего подчиняется механике судьбы.

Я не могу освободиться от представления, что все то, что выражает поэзия в сравнениях и образах, все содержание (жизни и искусства), этими жестко управляемыми формами, веществом, цветом, духом и настроением, имеет другое, чуть более спокойное происхождение, более склонное к выбору и независимое. В

таким толкованием обращение поэзии к природе придает этим вещам более свободную природу, возможность выбора, преобразования или замены. Я всегда стремился от поэзии к прозе, к повествованию и описанию взаимоотношений с окружающей действительностью, потому что такая проза мне представляется следствием и осуществлением того, что значит для меня поэзия. В соответствии с этим я могу сказать: стихи — это необработанная, неосуществленная проза¹⁴.

Проза для меня — это изображение жизни, реальности, происходящего вокруг или лучше — картина и представление того, как я вижу, понимаю и истолковываю это. Объективный мир в моем обычном, естественном и жадном восприятии — бездонное и безграничное вдохновение, которое набрасывает и стирает, выбирает и сравнивает, изображает и сочиняет самое себя. Это другое, безмерно большее «я», чем я сам, едва ли как-то связанное со мной (иначе, чем с вами), но заметить — это принять в себя, и это уподобление (слова и субъекта) — важнейшая черта моего восприятия, — жизнь (не вся вообще, но более конкретная: «та, которую я изображаю») — жизнь, живая движущаяся реальность в таком понимании должна соприкасаться с самопроизвольной субъективностью, пусть даже деспотичной, колеблющейся, медлящей и сомневающейся, то соединяющей, то разделяющей частности, то заменяющей одну другой. Природа и дух самой их непрерывности стоят здесь над временем, событиями и людьми¹⁵. Частые совпадения в сюжете (в данном случае) не хитрая уловка, необходимая романисту. Это в некоторой степени характеризует свободный и причудливый поток реальности. Не автор обращается к совпадениям как плохому распутыванию сюжета (между прочим, развязки для меня совсем не обязательны, — романист, в моем понимании, нуждается в них еще меньше, чем историк), не автор прибегает за помощью к совпадениям, он описывает целое, словно «гало вокруг планеты» объективности умеренным выбором возможностей, экономящим на совпадениях, и потерей средств выразительности (как это случается с нами всеми в повседневной жизни во время событий, «предвещающих дурное»).

Но, вероятно, это тот самый древний *deus ex machina*, только в этой системе он превратился в добродетель вместо порока¹⁶.

16 февраля 1959.

Бессмысленно посылать вам такое bestолковое, непонятное письмо, написанное на непонятном языке. Но когда я смогу написать вам лучше? Препятствия и неожиданности не прекращаются, и новые превосходят предыдущие¹⁷.

1959

18

5000

« »

14 августа 1959

Отправляйтесь в Рим, дорогой друг, и не думайте ни о каком другом путешествии. Я вынужден буду под давлением необходимости отказать вам во встрече со мной, — можете ли вы представить себе такую досадную нелепость?¹⁹ Нет, давайте подождем, пока весь этот абсурд закончится. Отправляйтесь в Рим и кланяйтесь там <Жану Невселю. Via Aventina, 8>. Скажите ему, что несколько моих писем, написанных в весенние месяцы, должно быть, потеряны. Я не оставлял его сердечные приветы без ответа²⁰.

Вы меня очень обрадовали своим сообщением²¹. То, что написала вам М-м, я намеревался сделать еще прошлой зимой. И в течение полугода огорчался тем, что ничего не знал, как продвигаются эти дела. Это заслуга М-м *de les avoir surmontees*²².

Искренне ваш и вашей жены (если так можно выразиться)

Б. Пастернак

9 февраля 1960

Дорогой Харрис,
Пожалуйста, передайте своей супруге и детям мою глубокую признательность за живую доброту и заражающую красоту! Какая превосходная фотография, как и сама жизнь!

Только что получил пластинки²³. Спасибо.

Обнимаю вас. Не ждите от меня скорых и длинных писем.

Ваш Б. Пастернак

30 1960

1 . . . — 1984 . . .

2 . . . « . . . » « . . . » (1956, 11)

3 « . . . », . . . « . . . » 9 . . .

4 : Dikkens. *A Tale of Two Cities*. Longmans, Green, 1917. 24 1958 . . . « . . . », . . . Jan in the Oriya, 1959. . . : «Dedicated and presented in deep reverence to the noble poet cum novelist of Russian Literature and worldwide understanding reverend Boris Pasternak of Peredelkino near Moscow — Prafulla Chandra Das. 4 March 1960» (. . . — . 4 1960). —

5 6 1958 . . .

26 6 (1915–1968) 1958 . . . « . . . : . . . « . . . » . . .

3 1958 « . . . » («Prometheus. Meditation». Abbey of Gethsemani, 1958) : «To the Boris Pasternak a great poet and a great witness to the realities of our century from one who, separated by great distance and great barriers feels himself close to you in spirit and in though. Thomas Merton. Abbey of Gethsemani. Trappist P.O. Kentucky U.SP.» (. . . . Томас Мертон. . .). « . . . » (. . . , . . .), « . . . » . . .

- 6 1958 .
- 7 : Thomas Merton. *Six letters*. Lexington, 1973. (*The Abbey of our Lady of Gethsemani, Kentucky*).
- « 1958 . » (*Essai d'autobiographie*. Gallimard, Paris, 1958).
- 8 W.H. Auden. *A selection by the Author*. Penguin books, 1958.
- 9 Dylan Tomas. *Collected Poems*. J.M. Dent and Song. Ltd. London, 1957.
- 10 « . » . 28 1958 . : « (, ,) . » (11 . 2002–2005. .X. . 404.) .
- 11 (1922–1943) — « » (1942) « » (1944).
- 12 (1572–1631) — : John Donne. *The Sermon of John Donne. Selected and introduced by Theodore Gill*. Meridian Books. New York, 1958.
- 13 1959 . « , 20 1959 . : « (« , »), ; , , — , — » (. X. . 489). 22 1959 . : « , XIX , () — » (. . . 523).
- 14 .: « » (« » (. V. . 73).
- 15 « , , атмосферу бытия, . <...>

(. . . 523).

16 . :« —
(, “ ” (

)» ().

17

18 » 1959 . «

120

19 « »

20 1959 :« —

< > ? ?

» (. . . 488).

20

1959 .

21

22 (фр.).

«Scottish Slavonic Review 1984».

23

Андрей Арьев

Свет распада

Георгий Иванов: «Печататься ... отдельно от "прочей сволочи"»

Последней напечатанной перед войной, в 1938 году, книгой Георгия Иванова была «поэма в прозе» «Распад атома». На этом «парижская нота» и — более широко — русская поэзия первой волны закончилась: Константин Бальмонт в депрессивном состоянии остаток дней проводил под надзором в доме для престарелых под Парижем, Владислав Ходасевич уже стихов не печатал да и не писал, Марина Цветаева собралась в Москву, зная, на что себя обрекает: «Дано мне отплыть / Марии Стюарт». Ближайший к Георгию Иванову с молодых лет Георгий Адамович прославился в большей степени как эссеист, что же касается его немногочисленных стихов, то парижский сборник 1939 года «На Западе» (следующий появится почти через тридцать лет — в 1967 году) содержит и такие строчки: «Прах — искусство. Есть только страданье, / И дается в награду оно».

Казалось, Георгий Иванов мог царствовать на поэтическом олимпе русского рассеяния один, наслаждаться ролью «королевича» русской поэзии, как его иногда величали. Но не стало и «королевича»: «Распадом атома» Георгий Иванов порывал с поэзией, с искусством как таковым, ибо оно «не спасает».

Речь в этой «поэме» шла о распаде личности, как она трактовалась, по выражению Гиппиус, «со времен Христа и Марка Аврелия». Ее изданием Георгий Иванов собирался покончить с литературой — подобно Рембо, а скорее всего на самом деле осознав «невозможность» литературы в условиях всеобщей «дегуманизации искусства».

Проблема «Распада атома» — это проблема критики современной цивилизации, равно отечественной и европейской. Слагатель ивановской «поэмы» — модифицированный «антигерой» — то ли «Записок из подполья», то ли розановских «Опавших листьев». Он хоронит «пушкинскую Россию», задаваясь своевольным, «достоевским», вопросом: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» Автор «Распада атома» выбрал: «чаю пить», а литературному миру — «провалиться». Ибо «гармония» в нем оборачивается неизбывной «банальностью».

Но это декларация, тезис. Антитезис в «Распаде атома» вряд ли слабее. «Поэма» эта — о любви, об оставленном в памяти героя ее невозможном образе, всплывающем лишь духовидчески, в снах.

«Поэмой в прозе» первым — и не без сарказма — назвал сочинение Георгия Иванова Владислав Ходасевич. После долгой ссоры оба поэта по просьбе общих друзей «помирились», но внутренне друг другу оставались чуждыми. Георгий Иванов иронию Ходасевича, конечно, понял. Но и в данном случае захотел доказать: Ходасевич «...умен до известной высоты, и очень умен, но зато выше этой высоты <...> ничего не понимает».

От автора | Андрей Юрьевич Арьев родился 18 января 1940 в Ленинграде. Историк литературы, эссеист. С 1984 г. - член СП СССР. Автор более 400 печатных работ. В 2000 г. выпустил книгу о феномене царскосельской поэзии «Царская ветка», в 2009 г. - «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование», за которую получил Царскосельскую премию. Составитель, комментатор и автор вступительной статьи к «Стихотворениям» Георгия Иванова (Новая библиотека поэта, 2005; 2010, 2-е изд.). Живет в г. Пушкине, Санкт-Петербург.

Да, «Распад атома» — «поэма». Потому что есть в ней вопреки всему ее «нигилизму» малозаметное, встречное течение, слова «...о единственном достоверном чуде — том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что». Оно переводит текст в регистр «стихотворений в прозе» тургеневского — на диво! — образца. Что если и в «банальном» вновь блеснет «гармония», вновь мелькнет «игра теней и света»? Что если и Тургенев не устарел? Ведь именно Тургенева перефразировал автор, его «Молитву»: «О чем бы ни молился человек — он молится о чуде».

Целых семь лет, прошедших со дня публикации «Распада атома», Георгий Иванов «пил чай», не написав и не напечатав за это время ни строчки. Благо было на что пить. Его жена, Ирина Одоевцева, после смерти отца, известного рижского адвоката, получила наследство. Да такое, что средств хватило на покупку квартиры в Париже и виллы в Биаррице, в котором оба поэта и переждали Вторую мировую войну... Правда закончилось их «сидение» в оккупации плачевно: деньги стремительно таяли, немцы виллу реквизировали, а весной 1944 года она и вовсе исчезла — под бомбами союзной авиации. Плюс к тому квартира в Париже была разграблена...

И тут стало совсем плохо. Нагрянула нищета — в буквальном смысле. Нищета, усугубленная обвинениями в коллаборационизме, исходящими вдобавок ко всему от бывших литературных соратников.

И «чудо», заключавшееся в открывшейся поэту последней и единственной для него возможной форме существования, случилось. Начав постепенно снова писать стихи и печататься, в 1950 году Георгий Иванов издает лучший свой прижизненный сборник «Портрет без сходства». Без сходства с тем Георгием Ивановым, каким его привыкли видеть современники, и, можно сказать, без сходства с самим собой. При всей очевидности «падений» живет Георгий Иванов не ими. Их глубиной он лишь мерит свою «высоту». Существенно важно для понимания Георгия Иванова — представить уровень, на который этот «барон», как величал его Бунин, возводит перед взыскательной публикой самого себя в роли поэта.

По его собственному ощущению, он становится «последним поэтом», во всяком случае «последним петербургским поэтом». А для него только «петербургская поэзия» и существовала.

«Да, как это ни грустно и ни странно — я последний из петербургских поэтов, еще продолжающий гулять по этой становящейся все более неудобной и негостеприимной земле», — писал он в Париже в 1953 году, через сорок лет после своего литературного дебюта.

Но что значит «последний поэт», кроме сладостной торжественности именованная? Это поэт, предстоящий Богу — «у бездны мрачной на краю». По словам Юрия Иваска, Георгий Иванов был «последним поэтом» «...по призванию, по самому складу своего дарования, по опыту, отчасти, конечно, общему (историческому), но прежде всего личному (неповторимому)».

Все это может показаться граничащей с безумием самонадеянностью, о чем говорили и хорошо Георгия Иванова знавшие в эту пору люди, например, Вера Николаевна Бунина: «...самомнение невиданное: Пушкин, Лермонтов, Тютчев — Блок и ОН», — писала она 25 февраля 1948 года Леониду Зурову под впечатлением бесед с поэтом.

И через три года Георгий Иванов пишет о себе сам (в третьем лице!) Михаилу Карповичу: «Не сочтите за нахальство или хвастовство — я так „со стороны“ теперь гляжу на все окружающее <...> жизнь меня так замучила, что и на свои стихи смотрю как на что-то постороннее. <...> Если жизнь „отпустит“ когда-нибудь, я, может быть, об этом странном явлении напишу. Поэтому я вправе сказать: моя поэзия есть реальная ценность и с каждым годом то, что этот Георгий Иванов производит, лучше и лучше. Если он проживет еще лет десять — есть все основания рассчитывать на то, что он оставит в русской поэзии очень значительный след».

И оставил. Ровно этих десяти лет и хватило. Скончался Георгий Иванов 26 августа 1958 года — в «богомерзком Йере».

Если попытаться в одном абзаце определить художественную философию позднего Георгия Иванова, то она сведется к следующему:

Человек открывается бесконечному бытию, озаряется «пречистым сиянием» — в немощи, явленной перед лицом вселенского Ничто. Сознание влекло Георгия Иванова к катастрофе, к приятию грязи и тлена как органических атрибутов плачевного земного пребывания художника, к «холодному ничто» как осязаемой нигилистической подкладке христианской веры. И с той же очевидностью ему была явлена негленная природа внутренним слухом улавливаемых гармонических соответствий всей этой духовной нищете — блаженному, уводящему в «иные миры» «пречистому сиянию».

Так что не стоит особенно удивляться, что после войны оставшихся в живых и публикующих стихи в эмигрантских изданиях своих сверстников Георгий Иванов не ставит ни в грош. В том числе Сергея Маковского, бывшего издателя «Аполлона», сотрудничество в котором было для него незабываемым литературным счастьем. Того Маковского, который, кстати, и издал в Париже ивановский «Портрет без сходства». Вот, однако, характерная реплика Георгия Иванова в первом же письме к Роману Гулю, секретарю «Нового журнала», 10 мая 1953 года: «Прошу Вас как члена редакции о следующем: мои стихи напечатать не вместе с прочей поэтической публикой, а отдельно. (В хвосте — это не имеет значения.) Прошу это и потому, что приятнее не мешаться с Пиотровско-Маковскими и ко...». Владимир Корвин-Пиотровский — это тоже поэт первой волны, по возрасту даже старше Георгия Иванова.

Пожелание его строго исполнялось, ивановские стихи «Новый журнал» печатал последние годы жизни поэта в специальной авторской рубрике «Дневник». Но все равно Георгий Иванов не забывает напомнить тому же Гулю 14 февраля 1957 года: «Если Вам хочется, то пустите оба стишка, не в качестве “Дневника”, а “так”. Но уж, пожалуйста, не забудьте выговоренное мною в свое время “преимущество” печататься либо отдельно от “прочей сволочи”, либо впереди нее, не считаясь с алфавитом».

Нужно сказать, что и отношение старших литературных сверстников Георгия Иванова к его послевоенной поэзии не отличалось проникновенностью суждений. Такой незаурядный поэт, как Дмитрий Кленовский, умудрился даже и после смерти Георгия Иванова написать архиепископу Иоанну Шаховскому: «Знаю, дорогой Вадья, сколь Вы терпимы <...> и очень это ценю, но все-таки... при несомненном таланте Г. Иванова (и дьявол тоже талантлив!), я чувствую к нему глубокое отвращение... Камня в него, конечно, не брошу, но и цветов на могилу не принесу».

Эпизод знаменательный: появление стихов Кленовского Георгий Иванов как раз привезствовал, написав о нем в статье 1950 года «Поэзия и поэты»: «Кленовский сдержан, лиричен, и для поэта, сформировавшегося в СССР, — до странности культурен. <...> Каждая строчка Кленовского — доказательство его “благородного происхождения”». Правда и то, что больше Георгий Иванов о Кленовском не писал, с парижско-петербургской нотой для него было покончено.

Оставим на минуту поэтов с их ревниво-завистливыми эмоциями, но вот что пишет 2 сентября 1956 года Владимиру Маркову такой солидный историк литературы как Глеб Струве: «Я вовсе не отрицаю таланта Иванова, о “Розах” когда-то отозвался очень хвалебно в печати и продолжаю этот сборник высоко ставить, но его новейшую поэзию признать гениальной отказываюсь, ее нигилизм меня отталкивает, а в “Распаде атома”, помимо того же нигилизма, я вижу эпатаж».

По-настоящему из довоенных эмигрантских поэтов Георгий Иванов ценил только Игоря Чиннова, отчасти в память парижских сборников «Числа», в которые его вовлек.

Молодые появившиеся в русском зарубежье после войны поэты его интересовали больше, но выделил он, пожалуй, только двоих — Ивана Елагина и Юрия Одарченко. Плюс к тому некоторое время возлагал надежды на Владимира Маркова, автора поэмы «Гурилевские романсы». Муза дальше «Гурилевских романсов» их автора не увела, но понимающего критика и эпистолярного друга в его лице Георгий Иванов обрел.

Надеяться на остальных, в том числе на заслуженных ветеранов литературного дела, ему не приходилось. Об этом свидетельствует его не издававшееся до сих пор письмо к Юрию Терапиано:¹

1

(): Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Yale University Library. New Haven. MSS 301. Box 1. Folder 5.

щей графоманской галиматии. Скажите<, > что это значит? Почему бы<, > скаже<м> Вам<, > не взять Водова⁶ за пуговицу пиджака и не сказать — Дорогой Сергей Акимыч: вы делаете злое дело. Так нельзя. Пользуясь тем, что Вам, т. е. газете, на русскую поэзию наплевать, Вы отдаёте ее страницы, как никак большой и единственной сейчас русской газеты<, > на «пир» кретинов от стихотворчества.

Бедный покойный Дон-Аминадо<, >⁷ так ненадолго возобновивший печатание<, > начал, как раз с остроумного фельетона о графоманах, дождавшихся своего часа. Этот фельетон Аминадо надо бы, чтобы Зайцев⁸ и Водов перечли и выучили наизусть — это в первую голову касается именно их. И, повторяю, часть вины по этому «урону» русской поэзии падает и на Вас. Вам просто необходимо вмешаться и прекратить подобную свистопляску. И, напр<имер>, настоять, чтобы поэты приглашались бы компетентными лицами из состава редакции, а не печатались бы левой ногой, наперекор всякой справедливости. Ну, писать мне трудно физически. Вы, конечно, без особых пояснений поймете, что я хочу сказать и что, считаю, что необходимо сделать Вам, чтобы очистить эти авгиевы конюшни — загаженные всякими Угрюмовыми,⁹ Симоновыми и разной казацкой поэзией. Если Вы предпримете такие шаги, чтобы на Водова-Зайцева повлиять в должном смысле<, > не сомневаюсь<, > что «цивилизованные люди» вроде Шика¹⁰ или Померанцева¹¹ Вас охотно поддержат. Ну, жму Вашу руку. Пишете ли Вы стихи? Я кое-что пишу, но очень мало.

И.В. Вам кланяется.

Ваш

Георгий Иванов.

- 6 (1898–1968) — , , 1920 .
1925
- (1954–1968) « ».
7 (; 1888 — 1957) — , ,
, 1920 .
- 8 (1881 — 1972) — , ,
1922 . , 1924 . , 1945 .
- 9 (1897 — 1968) — , ,
1944 . , 1946 . —
: « » (, 1958).
- 10 (1887–1968) — , , ,
- 11 (1907–1991) — , , 1919 .
, 1927 . « » (, 1980)

Владимир Державин
Тонкий шёлк

Туркестан

В сухой степи морская соль хрустит,
И розовеют раковин ладони.
В пыли арба огромная скрипит,
Ревут ослы и всхрапывают кони.

По ржавым скатам ленятся гурты
Овец, изнеможённых курдюками.
Как из колючей проволоки жгуты,
Кустарники за потными шатрами.

Безвлажный вечер на пески упал.
На горизонте в сумерках угарных
Чудовищным горбом чернеет вал,
Дремучий лагерь полчищ легендарных.

Здесь смолк давно протяжный топот орд
И гром щитов воловьих пред кострами.
Завоеватель был хитёр и горд,
А всё ж убит своими же рабами.

Задолго до него здесь был другой,
Как он, ни в чём не встретивший преграды!
Сверкнул рыжеволосой головой
И сгинул сын разбойничьей Эллады.

Быть может, он воздвигнул этот вал,
И по ночам, в солончаковой скуке,
О Персии тоскуя, простирал
В прозрачный мрак обугленные руки.

Где ныне соль и серебро бархан,
Там в необъятном голубом «когда-то»
Шумел широкошумный океан
Под музыку палящего пассата.

Об авторе | Владимир Васильевич Державин (1908–1975) — русский поэт, переводчик, художник. В 1932–1936 годах жил и работал в Болшевской трудовой коммуне ОГПУ им. Г.Г. Ягоды, куда попал по рекомендации Горького. С этим временем связана работа над поэмой «Первоначальное накопление». В 1934–1940 годах печатался в журналах (в основном в «Знамени» и «Красной Нови»), в 1936 году вышла единственная прижизненная книга стихотворений. Составитель и публикатор Игорь Лоцилов. Публикатор выражает признательность А.Б. Слонимеру (Москва) за предоставление материалов.

И пенились попутные валы,
Тяжёлыми качая кораблями,
И звучных мачт упругие стволы
Под полными трещали парусами!

Хоть с лишним шесть десятков тысяч лет
Шумливая громада испарялась,
Остался Каспий — влажной мощи след —
И соль на днище высохшем осталась.

И люди по морскому дну прошли,
Воюя и твердыни воздвигая.
Но океан с нагорбленной земли
Вновь хлынет, котловину затопляя!

1928

* * *

Я помню жёлтые пески, и степь,
И россыпь юрт на пастбищных увалах...
Рогов Тянь-Шаня пасмурную цепь,
И глыбы туч на синих перевалах,
И всадников в халатах и мехах,
В остроконечных лисьих колпаках.

Там юность протекла моя, и там
Смутлянки-музы утренней порою
Пегаса моего по ковылям
Пылающим водили к водоюю.
Был звонок плеск ручья и свеж рассвет.
И конь мой ржал. И г лосно в ответ

В отгоне жеребья отзывались,
И гомон в стане утреннем вставал.
Отары отгоняли в горы з лес
За дальний дымно-синий перевал.
И время утренней еды настало,
И сало в круглых казанах вскипало.

* * *

Туман над сонной Согдианой.
Пески и камыши в дыму...
Шир ко под луной туманной
Блестит латунная Аму.

Чуть брезжит свет дороги звёздной,
Чуть плещет в камышах река...
Чу! Мерный звон в тиши морозной
Доносится издалека

На этот смутно озарённый
Бескрайний караванный путь
Как бы из дали довременной —
Доносится сквозь ночь и жуть...

1945–1946

* * *

Был двадцать градусов по Реомюру
 Мороз, когда приехал я в Челябинск;
 Мой спутник, и дорожный мой прислужник,
 Скрипучкин, скороспелый сценарист,
 На станциях бежал за кипятком,
 Чай мне заваривал.

На верхотурку
 Стаканы ставил мне
 и бутерброды,
 И приговаривал:
 — Ну как Вам, Нестор
 Иванович, чаёк, колбаска, сыр?
 Чего ещё изволите?

А я
 В гриппу хрипел, сердился, огрызался.
 — Не смейте больше называть меня
 Вы Нестором Ивановичем!

Дайте
 Ещё мне чаю. И не пустословьте.
 А там, внизу, Скрипучкин раскричался:
 — Мы с Вами — наравне.

А Вы! А Вы,
 Вы сделали меня своим лакеем!
 — Так Вам и надо! — Я сказал.

И вдруг
 В вагоне-люкс дыханье лютой стужи
 Качнуло огоньки убогих свеч.
 Залязгали заржавленные дверцы,
 И, приоткрыв их, старый проводник,
 Дорожный вор, грошовый спекулянт,
 Просунулся, спросил:

— Ну — как у вас,
 Тепло? В порядке?

Оттеснив от входа
 Проводника, в купе вошёл военный
 В накинута шинели:

— Разрешите?
 У-у! Как накурено!
 Ну что ж, закурим.

Дай чаю, дядя.
 — Нет углю, племянник!

Холодный самовар!
 — Врёшь!

Если разорвёшь
 Картинку сна, суровую увидишь
 Основу — тонкий шёлк, ворсинки льна...

И голоса внизу:
 — Что с ним? Простуда?

И на глазу — ячмень...
 — Вот я его

и вылечу!
 Давай его оттуда!
 Стакан спиртяги — только и всего!..

Скрипучим голосом скрипел Скрипучкин,
Оправдываясь в чём-то.

Я забылся...

А утром разбудил меня Урал.
Изогнутый, летящий над отвесом,
Состав скрипел, и, падая в провал,
Клоками таял дым над древним лесом.
И вот, когда, увалы обогнув,
Открытые увидел я просторы,
Огнём зелёным издали мигнув,
Открылись перед нами семафоры,
Я из вагона вышел на мороз,
Как бы в тепло нежданного уюта,
Хоть веки ветер обжигал до слёз,
И к январю зима крепчала люто.
Машина?

Не было тогда машин.
Ковровые меня здесь ждали сани.
Как древний богатырь в снегу седин,
Старинный монастырь вставал в тумане...

Огромная вечерняя звезда
Зажглась в зелёном небе над Россией.
Я ехал «инспектировать» сюда,
И делать выводы —
о чём? Какие?..

Воспоминание

Рассвет забрезжил в дождевом просторе,
Сентябрьский день в большом окне светлел,
Журчал, плескался, был жемчужно-бел,
Как пасмурно седеющее море.

В огромном доме просыпалась жизнь,
И двор, как кладезь, мглистый и бездонный,
Заговорил. Залязгали бидоны...
И окрик: «П тра, эй! Пора, садись!
Поехали!»

Со скрежетом и хрипом
Ушёл в свой рейс усталый грузовик,
А с неба падал с лепетом и всхлипом,
Струясь по крышам, по старинным липам,
Сентябрьский тёплый дождь...

Твой милый лик
Во сне печален, залегла забота
Над удивлённою дугой бровей,
И кто-то будто шепчет мне: «Ну что ты?
Куда ты? Оставайся. Всё развей
Тревожное, что молча накопилось!..
Ведь это — дар судьбы, ведь это — милость,
Любовь твоя! Куда тебе идти?
Всё потерять и больше не найти?»

Решил я бросить счастья лес цветущий.

Любимое лицо... Печать заботы
 Между бровей, беспомощных во сне.
 И тело строгое, как изваянье,
 Как бронза Аристиды Маиоля,
 И сердце, что вмещает целый мир,
 Необычайный мир, особый мир,
 Где всё живёт, шумит, цветёт и дышит,
 Где всё — любовь, надежда, вера в счастье,
 Где нет примет тоски и увяданья.
 Всё это бросить, и уйти от чаши,
 Едва пригубленной...

Всё это так.

Всё это верно. Но уйти я должен.
 В кармане у меня мандат, билет,
 И все напутствия и документы.
 И вот, как тать, неслышно я встаю.
 Боюсь спугнуть твой сон, боюсь последних —
 Не слёз, не жалоб — милых слёз последних;
 Боюсь не слёз, боюсь твоей улыбки.

Пробило шесть. Пора. Давно пора.

А за стеною радио гремело,
 И деревянным голосом певец
 Кричал Бетховена: «
 !..» Гулкий коридор
 Пел, как труба, гуденьем примус в
 И голосами женщин. Телефон
 Дряжал неумолкаемо за стенкой.
 Я собралс в дорогу. Виновато
 Понурился, разуверюсь сам в себе,
 Опаздывал я, медлил.
 Ты проснулась.
 Улыбкой осветила полусумрак
 Сырого утра:
 «Как я заспалась...
 Сейчас я вызову такси. Мы едем.
 Я провожу тебя».
 А всё во мне
 Кипело, бунтовало и кричало:
 «Не уезжай! Всё брось! И здесь останься
 Навеки!» Но ни звука на губах
 И в пересохшем горле, ни слезы
 На веках.

На перроне я сказал ей:

«Прости, родная. Я вернусь... Я скоро
 Вернусь!»

Я не вернулся. Я уехал

Как будто бы навеки. Я не стал
 Искать её следов. Так получилось.
 Так жизнь сложилась. Но навеки я
 Запомнил утро, тёплый дождь в широком
 Распахнутом окне, и сумерек,
 Редяющих в рассвете
 Неуловимое очарованье,

И круговерть светящихся молекул,
Пронизанных твоим святым сияньем.

Пробило шесть. Проснулся я и встал,
И принял душ. Съел свой привычный завтрак
(Три яйца, лимон и крепкий чай),
И укрепился телом я и духом,
Вошёл в обыденность, как в лабиринт,
Без нити Ариадны.

Но лучи
Твоей любви живой ещё мне светят,
Горя вполнеба, как столбы сполохов.

Возвращение

Я приплыл
На убогом буксире,
Шлёпающем облезлыми спицами
Несоразмерно больших колёс.

На рассвете, в тумане
На крутом берегу
Зарозовели древние башни
Стен монастырских.
Золотом тёмным сквозь дымку
Пробрезжил купол собора.

Дмитрий Дьяков

Воронежский литературный фронт

Бои местного значения вокруг постановления ЦК ВКП (б)
о журналах «Звезда» и «Ленинград»

А.А. Жданов

Анна Ахматова

Корней Чуковский

ТРИУМФ ВОНИ

Эта история о власти и литературе. Их взаимоотношения всегда были точнейшим барометром, отражающим состояние общества. Мудрая русская интеллектуалка-эмигрантка Нина Николаевна Берберова придумала такую формулу: «В реакционном государстве власть говорит личности: “Не делай того-то”. Цензура требует: “Не пиши этого”. В тоталитарном же государстве тебе говорят: “Делай то-то. Пиши то-то и так-то”. Исходя из этого, довольно легко определить, к примеру, какое общество создает вокруг себя любой человек, облеченный властью, — достаточно уловить его установку на творческие задачи, на создание текстов, отражающих проблемы современного общества.

В советском государстве партийная власть установила для интеллектуальной элиты свободу лишь в пределах, обеспечивающих реализацию коммунистической программы. Наиболее ярко и полно такая политика по отношению к творчеству

Об авторе | Дмитрий Станиславович Дьяков родился в городе Котовске Тамбовской области в 1963 году. Публицист, эссеист, литературный критик. Член Союза российских писателей. Директор Издательского дома Воронежского госуниверситета. Автор книг «Шаг навстречу» (2000), «Командармы Воронежского фронта» (2013). Публикуется в литературных журналах, альманахах, газетах. Лауреат нескольких региональных премий по журналистике. Живет в Воронеже.

проявилась в 1946 году, когда увидело свет постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», вошедшее в историю как сталинско-ждановский идеологический погром.

Вот выдержки из того постановления: «Предоставление страниц “Звезды” таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции “Звезды” хорошо известна физиономия Зощенко. Зощенко изображает советские порядки и советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостное хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Журнал “Звезда” всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения не могут быть терпимы в советской литературе...».

Конечно, это была мощно подготовленная и спланированная акция устрашения и унижения. Перед всей страной, перед всеми слоями населения власть публично изгалялась над пишущей интеллигенцией, которая только что с честью прошла через все тяжелейшие испытания в годы войны. Теперь нужно было показать обществу, что надежды времен войны и послевоенных месяцев — иллюзия. И с 1937 года ничего не изменилось. Ощущение свободы, возникшее после Победы, гордость за себя и, наконец, возможность сравнить свою жизнь с жизнью на Западе — слишком неудобный, опасный коктейль для власти.

Тот идеологический погром был еще и персональным предупреждением для интеллигенции: литературное творчество в стране в очередной раз переходит в сферу обслуживания власти. И, соответственно, все люди, публично выступающие с авторскими текстами, вновь приравниваются к холопской челяди, представителей которых время от времени следует подвергать публичной словесной порке или передавать от одного партийного барина другому.

Ну и затем — команда «фас!». По всей вертикали была устроена соответствующая кампания глумления. Чтобы никто ни в каком уголке огромной страны не мог чувствовать себя защищенным, всем приказали соучаствовать.

Не осталась в стороне от той кампании и Воронежская область.

СТРАХ

15 июля 1946 года, за месяц до выхода злополучного постановления, ответственный секретарь Воронежского отделения Союза советских писателей М.М. Сергеенко отписал на имя секретаря местного обкома по пропаганде и агитации П.Н. Соболева подробную справку о состоянии дел в областной писательской организации.

«В течение полутора лет, с половины 1942 года и до конца 1943 года, Воронежское отделение Союза советских писателей, как творческий коллектив, не существовало, — сообщил Сергеенко. — Бывший ответственный секретарь отделения В.И. Петров и его заместитель М.М. Подобедов в июле 1942 года выехали из пределов Воронежской области, фактически распустив писательскую организацию. В этот период в эвакуации находились также члены ССП М.Я. Булавин, Н.А. Задонский и О.К. Кретьева. Член ССП сказительница А.К. Барышникова не успела эвакуироваться и оказалась на территории, занятой немецко-фашистскими оккупантами. Кандидаты ССП П.Н. Прудковский, Г.Н. Рьжманов, Н.В. Романовский и Б.Г. Песков с первых дней войны находились в рядах Красной Армии. В феврале 1944 года Президиум Союза советских писателей СССР назначил меня, как единственного члена ССП, оставшегося в этот период в пределах области, ответственным секретарем Воронежского отделения, поручив мне восстановить воронежскую писательскую организацию».

И дальше Сергеенко с некоторой бравадой рассказывал о достигнутых успехах: «В настоящее время в Воронеж вернулись и творчески работают все находившиеся в

эвакуации члены ССП (за исключением драматурга Н.А. Задонского, переехавшего на жительство в г. Куйбышев). Демобилизован из армии и вернулся в Воронеж кандидат ССП П.Н. Прудковский. Приняты в кандидаты ССП творчески проявившие себя в годы войны прозаик А.И. Шубин и поэт К.М. Гусев. На рассмотрении приемочной комиссии Правления ССП СССР находятся дела о приеме в кандидаты ССП прозаика Н.И. Алехина и литературоведа В.А. Тонкова. Кандидат ССП поэт Г.Н. Рыжманов еще находится в рядах Красной Армии».

«Таким образом, — рапортовал главный воронежский писатель главному воронежскому партийному идеологу, — организационно-восстановительный период в жизни областного отделения ССП можно считать вполне завершенным. Воронежское отделение ССП снова представляет собой сплоченный и творчески работоспособный коллектив. Об этом свидетельствует и рост количества книг воронежских писателей, выпущенных областным книгоиздательством за период с 1943 по 1945 год. Если в 1943 году в Воронеже было издано только 4 книжки воронежских писателей, в большинстве брошюрного формата, то в 1944 году мы имеем уже 6 книг, а в 1945 — 8 книг объемом от 1 до 14 авт. листов. За первое полугодие 1946 года вышло из печати 3 книги, находится в производстве 1, подготовлено к печати 3. Возобновлен в довоенном объеме выпуск альманаха “Литературный Воронеж”. Годовой листаж его определен в 60 авт. листов, при тираже 10 тысяч экз. Вокруг альманаха группируется авторский актив из 25 прозаиков, поэтов, литературоведов и фольклористов <...> За пять месяцев (с 13 февраля по 13 июля 1946 г.) существования альманаха “Литературный Воронеж”, как самостоятельного издания, через редакцию альманаха и литературную консультацию прошло более 140 рукописей (из них 7 повестей общим объемом 51 авт. лист, 49 рассказов, 4 сборника рассказов, 13 очерков, 11 статей, 4 сказки, 4 поэмы, 21 сборник стихов и 32 отдельных стихотворения). Из поступивших рукописей — 19 напечатано в альманахе “Литературный Воронеж”, принято к печати 21, остальным авторам оказана через литературную консультацию творческая и методическая помощь...»

Как видите, пока ничто не предвещает бури — «Воронежское отделение ССП снова представляет собой сплоченный и творчески работоспособный коллектив», в котором к лету 1946 года насчитывалось пять членов союза и три кандидата (шесть прозаиков — Сергеенко, Подобедов, Булавин, Кретьова, Прудковский и Шубин, поэт Гусев и народная сказительница Барышникова).

Дальнейшие события в этой истории разворачивались в столице. Седьмого августа начальник Управления пропаганды и агитации ЦК партии Г.Ф. Александров и его заместитель, заведующий Отделом печати А.М. Еголин посылают секретарю ЦК по идеологии А.А. Жданову докладную записку «О неудовлетворительном состоянии журналов “Звезда” и “Ленинград”» — первый проект будущего разгромного постановления. Через сутки после этого, 9 августа, проходит заседание Оргбюро ЦК под председательством секретаря ЦК Г.М. Маленкова с участием Сталина и Жданова. Происходит грубый разнос ленинградских журналов Сталиным и идеологическое нападки на Ленинградский горком со стороны Маленкова.

14 августа Оргбюро ЦК ВКП (б) путем опроса принимает постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В закрытой части постановления объявлен выговор секретарю Ленинградского горкома партии Я.Ф. Капустину и снят со своего поста секретарь горкома по пропаганде И.М. Широков, ответственность за партруководство журналом «Звезда» возложена на первого секретаря горкома П.С. Попкова. В этот же день на заседании бюро Ленинградского горкома партии принимается решение о проведении собрания партактива и общегородского собрания писателей.

15 августа. Собрание партийного актива Ленинграда в Смольном. Выступление Жданова. 16 августа. Общегородское собрание писателей, работников литературы и издательств в Актовом зале Смольного. Еще одно выступление Жданова. Канонический текст доклада Жданова, опубликованный в «Правде» 21 сентября, представляет сокращенную и обработанную сводку из стенограмм его выступлений на собраниях 15 и 16 августа.

22 августа. В центральной и ленинградской печати опубликованы сообщения о прошедших собраниях и о принятых резолюциях. После чего в стране грянула кампания травли писателей.

До Воронежа она докатилась через неделю. 29 августа здесь прошло собрание местных литераторов, на котором с докладом «Решение ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и “Ленинград” и творческие задачи воронежских писателей» выступил секретарь областного ССП Сергеенко.

«Как же мы, воронежские писатели, выполняли и выполняем эту ответственную задачу? Что сделали для нашего государства, для нашего народа? — вопрошал секретарь областной писательской организации. — Надо ответить прямо: работаем мы мало и плохо. И ошибки ленинградских журналов, сурово и справедливо отмеченные ЦК ВКП (б), имели место и в нашей работе... Чтобы правильно оценить все, сделанное нами, подвергнуть жестокой критике наши ошибки и недостатки и наметить дальнейший правильный путь, нам предстоит проделать большую и серьезную работу. Настоящее собрание должно явиться лишь началом ее».

После таких слов Сергеенко стал делать заявления, абсолютно противоположные содержанию его полуторамесячной давности отчета в обком: «Даже при беглом просмотре нашего альманаха и книг воронежских писателей, выпущенных Областным книгоиздательством, становится ясным, что генеральная тема советской литературы, тема социалистического строительства, тема героического творческого труда советского человека в послевоенный период, мысли и чувства советских людей, напряженным трудом восстанавливающих разрушенное врагом и создающих новое, осуществляющих великие планы четвертой Сталинской пятилетки, почти не нашли своего отражения в творчестве воронежских писателей».

И дальше Сергеенко назвал двух воронежских литераторов, которым очень скоро надлежало стать местными жертвами той общесоюзной кампании.

Один из них — прозаик Алексей Шубин. Вот что о нем сказал в своем докладе литературный начальник воронежских писателей: «В повести Шубина “Рота идет в наступление” мы найдем ряд неплохих батальных и бытовых картинок. Но центральный образ героя повести — сержанта Засухина — не может удовлетворить нас. Сам автор так характеризует Засухина: “Никита Засухин был молчалив тягостно и обидно для окружающих... Засухин был молчалив по-особенному — сосредоточенно и, пожалуй, даже пренебрежительно, будто своим молчанием хотел сказать: «Зачем попусту говорить? — Все равно не поймете»”. Спрашивается, зачем потребовалось автору наделять своего героя такими чертами индивидуалиста, делать его одиночкой, высокомерно относящимся к своим товарищам? Если мы вчитаемся в повесть, мы без труда пойдем, что никаких оснований у Засухина для такого отношения к людям нет. Философия его примитивна. Рассуждения Засухина о “зеленой земле”, за которую, якобы, сражается Красная Армия, — это мысли темного неразвитого человека, который сердцем чувствует правоту дела, за которое сражается, но выразить это не может, потому что автор обеднил его разум. Можно ли при помощи такого героя раскрыть моральную силу советского бойца, вооруженного в своей борьбе с врагом, передовыми идеями Ленина — Сталина? Конечно, нет. Ошибкой автора является то, что своим героем он избрал человека, нехарактерного для нашей эпохи, через которого нельзя раскрыть идейный смысл нашей борьбы».

Имеются недостатки идейного порядка и в повести Шубина “Доктор Великанов размышляет и действует”. Образ доктора Великанова удался автору, он трогает, завоевывает симпатии читателя. Но автор не сумел поднять свою вещь на большую идейную высоту, он облегчил трудности на пути своего героя, лишил жизненной правды главы, где рисуется картина немецкой оккупации и партизанской борьбы с немцами. В результате вещь не прозвучала с той силой, с какой могла бы прозвучать».

Второй удар Сергеенко нанес по литературному дебютанту, автору только что напечатанного в альманахе рассказа «Возвращение» Юрию Гончарову: «На страницах альманаха “Литературный Воронеж” выступил со своим первым рассказом молодой прозаик Гончаров. Им взята интересная современная тема — как вернувшийся в родной город офицер-фронтовик включается в работу по мирному строительству».

Однако рассказ Гончарова имеет ряд крупных недостатков... Неприятно поражает в рассказе его бесстрастность. Автор как бы с любопытством, со стороны, наблюдает своего героя, и мы не чувствуем отношения Гончарова к событиям, происходящим в рассказе. Мне кажется, что это привело к тому, что Гончаров не понял глубоко и правильно характера своего героя...».

Замечательный писатель Юрий Данилович Гончаров, один из лучших отечественных мастеров военной прозы, спустя годы написал новеллу «Первый рассказ» — воспоминание о событиях тех мрачных дней:

«...В областной газете выступил со статьей М. Сергеенко. После общих фраз о значении постановления ЦК для советской литературы, о благотворном воспитывающем влиянии партии на деятелей искусства, о необходимости всеми силами и средствами претворять в жизнь указания партии, он переходил к идеологическим ошибкам и промахам местных писателей — и начинал с меня. Обвинение его звучало, как выстрел из пушки: “Не умея и даже не пытаясь подойти к жизненному материалу с точки зрения большевистской партийности, Юрий Гончаров оказался не в состоянии отделить основное, ведущее, от случайного и второстепенного, с первых же шагов утратил ощущение правильной перспективы, сосредоточил свое внимание на мелочных бытовых подробностях, обеднил мир мыслей и чувств своего демобилизованного офицера Ивана Ильича. Он изъял из размышлений своего героя общественные мотивы, придав им узко личный характер, в результате чего стремление Ивана Ильича к более крупной и масштабной работе, чем руководство кустарной артелью, на чем, собственно, и строится внутренний конфликт рассказа, стало выглядеть как проявление мелкого службистского честолюбия. Тема возвращения демобилизованного фронтовика предстала перед читателем в искривленном зеркале...”».

«Не знаю, как я выглядел со стороны, читая это в газете, — продолжает свои воспоминания Ю.Д. Гончаров. — Вполне возможно, что у меня был раскрыт рот и волосы стояли дыбом. Ведь все это написал тот же самый человек, который хвалил мой рассказ, принял его для альманаха, напечатал, поздравлял меня, когда появилась рецензия Ф. Левина. А теперь рассказ стал “кривым зеркалом”. Если это так — неужели это было не видно несколько месяцев назад? Неужели бы это не увидел еще совсем недавно, можно сказать, вчера, в “Литературной газете”, многоопытный критик Ф. Левин? Какое внезапное прозрение у М. Сергеенко!

Когда первые чувства отбуживали, я понял по-настоящему, почему появилась статья. Сергеенко делал из меня мишень. Она нужна, ее требуют, без нее не обойтись — так нате ж! Кого еще мог он выставить в качестве такой мишени? Кого-либо из равных себе старых членов писательского круга? О, это опытные бойцы, прошедшие огни и воды не одной такой политической чистки, умеющие отбиваться и нападать сами, отлично знающие, что лучший способ защиты — именно нападение. Отбиваясь, они тут же направили бы сокрушительный огонь на самого Сергеенко, на его книги, на редактируемый им альманах. Они сплочены, дружны, напали бы осинным роем, и в результате он был бы нещадно бит и низвержен. А я — самый молодой, одиночка, я в такую драку не полезу, ни отваги, ни умения, ни сообразительности у меня на нее нет, — вот и быть мишенью мне.

<...> Нельзя было не почувствовать еще одну побудительную причину в громкой критике Сергеенко, самую, пожалуй, для него приятную и сладостную: он мстил, брал реванш за тот отзыв Левина, где его повесть “Добья” была расценена ниже моего рассказа. Как тщательно были подобраны и скомпонованы формулировки, как густо были наполнены убийственным ядом! С какой тайной радостью и восторгом мщения в душе, надо полагать, обдумывал и подыскивал он слова, зачеркивал, вписывал новые, побольней, поострей, похлеще, чтобы получилось такое:

“К работе над своим первым рассказом Юрий Гончаров приступил недостаточной идейно вооруженным, с большим грузом некритически воспринятых литературных влияний... Юрий Гончаров пренебрег элементарными требованиями писательской профессии... Искуственность сюжета настолько очевидна, что вряд ли здесь требуются особые комментарии... Творческие интересы Юрия Гончарова случайны и непрочно, за ними не чувствуется целостности миропонимания, ясной идейной целеустремленности. Отсюда — многочисленные творческие ошибки... Юрий Гон-

чаров не выработал в себе той высокой требовательности к работе, чувства ответственности за нее перед читателем, которые обязательны для художника слова в нашей стране...”

Поистине, надо было, как котел, кипеть бурной ненавистью, замешанной на уязвленном самолюбии и черной зависти, чтобы нагромоздить столько всего лишь в одной газетной статье. Зато для читателя под градом этих обвинений я становился вполне подобен Зощенко и Ахматовой и вырастал до размеров настоящего идеологического преступника»...

БОЛЬ

К середине сентября борьба с местными «литературными диверсантами» достигла кульминации. Восемнадцатого сентября в семь часов вечера в здании Воронежского обкома партии началось двухдневное совещание, на котором были окончательно «вскрыты и подвергнуты резкой критике» ошибки в творчестве ряда воронежских писателей. К этому времени, по личному распоряжению заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Н.Г. Беляева, — в число гонимых, помимо прозаиков А. Шубина и Ю. Гончарова, был включен и поэт Константин Гусев. Меня не покидает мысль, что произошло это в большей степени потому, что в союзном постановлении речь велась не только о прозаике, но и о поэте. А коли так, то и у нас, в Воронеже, должны быть разоблачены и те и другие. Кто ж виноват, что в местном ССП на тот период был только один поэт? Словом, Гусева тут же обвинили в формализме и упадничестве.

Особенно нападал на поэта преподаватель местного пединститута Г.А. Костин. Вот что говорил он на сентябрьском совещании в обкоме партии: «Гусев — сложившийся поэт. Но он переключается с символистами. Его стихи лишены диапазона общечеловечности. Он копается в своей душе. Влияние советских поэтов прошло для Гусева бесследно. Он взял у Маяковского, например, только внешние формы стихов. Изображение родины дается в славянофильском духе. Стародавнее находит у него яркие образы, а современное не имеет таких образов. История родины дается у него в плане затухания, замирания».

Константин Михайлович Гусев был самобытным певцом воронежской земли. Здесь он родился, здесь рос, здесь состоялся как человек, как личность, как поэт, здесь на географическом факультете ВГУ прошли его студенческие годы...

Степь лежит, границ не зная,
дав простор векам и верстам,
вся открытая, сквозная,
в смуте ветра, в свете солнца.

.....
Это древнее раздолье
под высокой синевою
давит сердце давней болью,
жжет тоскою кочевой...

(«Береза над ковылями»)

Неоглядные просторы Черноземья, раскинувшаяся посреди России равнина были для поэта К. Гусева символом высочайших человеческих страстей и страданий, которые обрушила на эту землю война.

Здесь света нет и нет тепла,
твой город темен и печален,
и полночь на плечи легла
безмерной тяжестью развалин.
И стыннут звезды января

и гаснут, превращаясь в иней.
 Заиндевелая земля
 встает над каменной пустыней.

.....
 Смотрит хозяйкою луна
 из окон выжженного дома.
 Бьет ветер в жесть. И ночь полна
 железного глухого грома.

(«Город дружбы»)

Идеологическую базу под творчество Константина Гусева в сентябре 1946 года подвел все тот же Сергеенко: «Были примеры непреодоленного влияния имажинизма в творчестве Гусева, влияния вредного для нашей советской поэзии. Не отсюда надо исходить Гусеву в своих творческих поисках... Гусев — поэт, который работает оторванно от жизни. Мало заботясь о том, чтобы голос его звучал громко и доходил до широких масс читателей, он замкнулся в своей творческой лаборатории, занимаясь порой никчемными формальными поисками, повторяющими то, что было уже отброшено такими крупными поэтами нашей эпохи, как Маяковский, например. Гусев, к сожалению, не был настолько самокритичен, чтобы оставить свои лабораторные опыты в ящике стола, а вынес их на страницы альманаха “Литературный Воронеж” и своего сборника, а мы не указали ему сурово и требовательно, что этих стихов не надо печатать»...

Константин Михайлович Гусев покинул Воронеж в 1951 году. Он работал в газете «Правда», был активистом движения эсперанто в СССР. Стихов писал мало, после проработки в 1946 году и до самой своей смерти в 1980 году выпустил лишь один сборник в годы хрущевской оттепели.

ГНЕВ

Наиболее одиозные выступления в ходе той идеологической кампании принадлежат двум литераторам, впрямую связанными с местным управлением госбезопасности. Один из них — Николай Алехин — служил в органах с 1938-го до самого 1946 года, после чего «по зову сердца пришел в литературу» и подал заявление о вступлении в Союз писателей.

Ему в той истории принадлежат самые забавные реплики, которые Алехин выпаливал на разных совещаниях: «если Зощенко и Ахматова вредили, то мы недостаточно хорошо служили». Или — «постановление ЦК ВКП (б) требует развертывания самокритики. Я уже пересмотрел и переработал все мною прежде написанное... Прошу товарищей учесть, что переработал я свои произведения еще до принятия постановления ЦК ВКП (б)».

Обвинения Алехина воронежским писателям были также заняты: «У Ивана Ильича — героя рассказа Гончарова “Возвращение” — нет никакой идеи. Он идет работать в артель. Но почему? Боится спать. Он идет работать и работает хорошо. Почему? Самолюбие заедает. Разве эти качества приемлемы для передового советского человека?». Или — о поэме Гусева «Береза над ковылями»: «Почему в ней нет ничего о социализме? Это даже преступление. Почему люди говорят обо всем, но нигде не говорят внятно о главном?».

Вторым особо рьяно разоблачающим воронежских писателей «литератором» стал штатный сотрудник областного управления МГБ капитан Сергей Ананьин. Когда-то он был журналистом областных газет «Коммуна» и «Молодой коммунар», закончил филфак местного пединститута. А с 1940 года служил в органах, был сотрудником контрразведки, участвовал в боях за Воронеж, получил контузию...

Вполне понятно, что в творчестве трех названных воронежских писателей капитан Ананьин сразу же разглядел целый ворох идеологических ошибок. На закрытом совещании в обкоме партии он говорил об этом так: «В рассказе Юрия Гончаро-

ва советский офицер выступает как обыватель, мещанин, думающий лишь о своем личном благополучии. И остальные “герои” Юрия Гончарова — обыватели, мещане, поражающие своей политической отсталостью, интересующиеся современностью только с точки зрения своих личных шкурных интересов. Правда, несколько особняком стоят: работник горсовета “в синей толстовке”, заведующий промкомбинатом и заведующий производством артели, но по непонятным соображениям Гончаров делает работника горсовета и заведующего промкомбинатом бюрократами, а заведующего производством артели — комичной фигурой.

Особенно цинично обывательскими фигурами являются демобилизованный фронтовик Вася и дядя Алексей, по воле Гончарова занимающий в городе какой-то руководящий пост. Этот дядя Алексей цинично поучает своего племянника Ивана Ильича, советского офицера, как извлечь выгоду из его положения демобилизованного фронтовика.

Возвращение демобилизованного фронтовика к мирному труду Гончаров рассматривает как сложную “проблему”, чреватую сложными психологическими переживаниями. Это по меньшей мере странно. В нашем социалистическом государстве такой проблемы нет и быть не может».

А вот о поэме Константина Гусева «Береза над ковылями»: «Эта поэма созерцательна, до читателя она не доходит, потому что автор написал ее непонятным языком».

Но особое внимание капитан Ананьин уделил творчеству Алексея Шубина:

«В “Литературном Воронеже” помещен фальшивый рассказ писателя Шубина “Богатство Матвея Галкина”. Этот рассказ о колхозном стороже, который всю жизнь мечтает о том, чтобы найти богатство, клад, например, чтобы помочь своим односельчанам. Сам он живет очень бедно. И автор, и колхозники называют Галкина “чудаком”. Этот “чудак” вдруг выручает большие деньги продажей меда жителям города (конечно, продав его втридорога), доказывает правлению колхоза выгоду занятия пчеловодством и помогает организовать колхозную пасеку.

Действие рассказа происходит после войны, но Шубин не видит современной колхозной деревни, ее жизни и героев в полном смысле этого слова».

«Шубину принадлежит и повесть “Доктор Великанов размышляет и действует”, помещенная в другом номере “Литературного Воронежа”. Эта повесть о героической борьбе с немецко-фашистскими захватчиками советских людей, оказавшихся на оккупированной противником территории. Центральное место занимает героическая борьба партизан. Хороший замысел испорчен Алексеем Шубиным тем, что героическая борьба советских людей, партизан с немецко-фашистскими захватчиками дана в юмористическом плане. Получилось снижение героики».

«Шубин признал, что, когда он писал “Доктора Великанова”, у него в это время были мысли о “Галкине” и Дон Кихоте. Ну, знаете, я просто поразился, когда это услышал. О Дон Кихоте есть интересное высказывание товарища Сталина. Товарищ Сталин сказал, что Дон Кихоты потому так называются, что они лишены ощущения жизни. И как можно перетащить типов из Испании XVI века в наш век, я просто не понимаю»...

После 1946 года и Алехин, и Ананьин еще долго оставались в советской литературе. Николай Иванович Алехин был принят в Союз писателей и выпустил четыре книжки рассказов. Сергей Александрович Ананьин был переведен на работу в центральный аппарат КГБ СССР и ушел в отставку в звании полковника. При этом тоже опубликовал четыре книжки рассказов. Примечательно, что и тот и другой считали себя писателями-юмористами, посему во всех их произведениях заметны сатирические потуги...

СТЫД

Из трех обруганных воронежских литераторов право на публичный ответ дали тогда только Алексею Шубину.

Вот его выступление перед ошельмовавшими его коллегами:

«Прочитав постановление ЦК, я понял, что мы до сих пор были отгорожены от мира шторами. “Доктора Великанова” я переработал. В других произведениях эти недоработки остались. Отсюда и мои ошибки. В “Галкине” все направлено на то, чтобы столкнуть героя с действительностью и доказать, что власть — не деньги, не капитал. Такова была мысль, но она была нечетко выражена, и поэтому создалось неверное впечатление. Я пересмотрю все свое творчество».

Алексей Иванович Шубин был воистину Дон Кихотом воронежской литературы. В 1946 году, когда на него накинудись со всех сторон, заведующая областным издательством Т.М. Севастьянова на одном из совещаний обвинила его в том, что именно он привнес в местную литературу «неправильного героя»: «У писателей Воронежа слишком многие герои выступают сейчас чужаками. Произошло это с легкой руки тов. Шубина...».

Когда-то, еще в Гражданскую войну, Шубин служил в Кремлевском полку и охранял самого Ленина. Но при этом никогда не был коммунистом. В Воронеж приехал в 1922 году и остался здесь на всю жизнь. За минусом военных лет, которые Алексей Иванович провел на фронте. Был ранен, работал военным корреспондентом, писал фронтовые рассказы, которые вышли отдельным сборником в воронежском издательстве еще в военном 1944 году. Шубин обладал веселым талантом, что легко заметить во всех его двадцати пяти книгах. «Можно ли весело писать о серьезном? — размышлял он в своей автобиографии. — Убежден, что можно. Труд и радость, подвиг и веселье не только могут, но и должны быть неразлучными друзьями. Поэтому самая большая для меня награда — добрая и веселая улыбка читателя, понявшего и, быть может, полюбившего моих героев...».

Умер Алексей Иванович в 1966 году после тяжелой болезни. Как рассказывали мне знавшие его воронежские писатели, Шубин был человеком очень добрым и... очень пьющим. В последние годы жизни, когда он уже редко покидал больницу и врачи категорически запрещали ему любой алкоголь, Алексей Иванович тайком приходил в редакцию местного литературного журнала «Подъем» с бутылкой. «Вам же нельзя, Алексей Иванович!» — говорили ему. «Я и не буду, — отвечал он. — А вы — пейте: хочу послушать, как она булькает...».

ЦЕНА

Кампания по шельмованию трех воронежских литераторов продолжалась до конца 1946 года. Ее итог подвел на декабрьском пленуме обкома ВКП (б) в докладе «О состоянии идеологической работы в области» секретарь обкома Соболев. «Отдельные наши писатели забыли, очевидно, о главном в литературе — о ее партийности, — о том, что они за свою деятельность несут высокую ответственность перед народом и государством и поэтому должны давать только хорошие произведения, полноценные в идейном отношении, беспощадно отменяя все порочное... Притупление политической остроты в отделении Союза писателей привело к тому, что в свет были изданы малохудожественные произведения, которые при наличии строгой требовательности не могли бы появиться»...

И — персонально: «Рассказ Шубина “Богатство Матвея Галкина”. Шубин хотел показать, что подлинное богатство советского человека состоит в его любви к труду и умении трудиться. Но с задачей своей писатель не справился. Колхозник Матвей Галкин — чужак, фантазер, продажа меда по очень высоким рыночным ценам приносит ему большой доход, и Галкин решает, что, имея деньги, не только можно личную жизнь устроить, но и укрепить колхоз и даже немцев разбить. Эта слепая вера в магическую силу денег подавляет в рассказе все замечательные качества советских людей. Чужак Галкин у Шубина даже учит руководителей колхоза уму-разуму».

«В рассказе Юрия Гончарова “Возвращение” демобилизованный офицер, возвратившись из армии домой, не встречает в тылу ни одного честного советского человека. Кругом мешане, обыватели, стяжатели, грубияны. Неужели за время войны советские люди переродились и превратились в мешан и обывателей? Этот же демо-

билизованный офицер решает, что ему надо работать. Но что руководит им? Оказывается, что он боится стать пьяницей и разложиться!..»

Финал доклада был такой: «Ясно, что если бы обком ВКП (б) и отдел пропаганды своевременно увидели эту неправильную линию, занимаемую отдельными писателями, и помогли им, ошибки можно было бы предупредить и недостатков было бы значительно меньше...».

Власть сделала выводы, и из воронежской литературы на несколько лет исчезли все «недостатки». Впрочем, одновременно с этим исчезла и сама местная литература. Поскольку в словесности одержать победу — над хамством и капризами власти, над собственными страхами и соблазнами — можно лишь обретя духовную независимость... Боже, сколько потребовалось лет и сил, чтобы стала очевидной эта истина! Сколькими жертвами за нее заплатили наши писатели и журналисты — и какими жертвами! И сколькими еще заплатим!..

Замечательный прозаик Алексей Шубин оставался кандидатом в ССП СССР еще целых десять лет, получив членский билет уже после XX съезда партии. Талантливый самобытный поэт Константин Гусев так никогда и не был переведен из кандидатов в члены ССП. И только Юрий Гончаров сумел довольно быстро оправиться от удара и уже в 1949 году войти в ряды еще недавно громившей его воронежской писательской организации. Наверное, потому что был упрям и молод — а в этот период жизни все проблемы решаются легко и быстро.

Впрочем, об этом сам Юрий Данилович уже написал в той же новелле «Первый рассказ»:

«Писательства я все же так и не бросил. Почему? Трудно это простыми и понятными словами объяснить. Наверное, потому, что, как говорил Паустовский, писательство — это не профессия, которую можно много раз в жизни переменить, а призвание. Бес, который вселяется и его уже не выгонишь никакими средствами. А может быть, это сам бог действует через избранного им для этой цели человека. Во всяком случае — страсть эта сплошь и рядом сильнее желания с ней расстаться, даже тюрьма и каторга, даже угроза смертной казни не вылечивают от нее.

Активным и преуспевающим творцом потемкинско-ждановской литературы, каких в великом множестве породили следующие десятилетия, я не сделался. Но и открыто следовать путем Чехова, Толстого, Короленко было невозможно. Почти каждая моя книга имела трудную судьбу, их долго задерживали перед выходом, кромсали и уродовали. Иногда я все же бывал доволен — удалось высказать, донести до читателя кое-что из того, что нужно людям для нормального зрения, для верного понимания жизненных явлений, для нравственного здоровья. Но гораздо чаще терзали меня совсем другие мысли, совсем другие чувства: что я зря, впустую трачу жизнь, рассвет никогда не наступит, “презренное тиранство” никогда не падет. Поехал бы я просто учителем в деревню, учил бы мальчишек и девчонок грамоте, рассказывал бы им о русских писателях, какими они были, чему хотели научить людей, о написанных ими когда-то книгах — и было бы от меня гораздо больше реальной пользы...».

Интересно, долго ли еще подобные мысли будут терзать пишущего человека в нашей стране?..

Лев Айзерман

Виктор Некрасов в обработке ФИПИ

Памяти Александра Михайловича Абрамова, человека, педагога, друга, отца ученицы

Сочинение.

Владимир Даль

В октябре 2014 года я прочел в Интернете на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) демонстрационный вариант ЕГЭ по русскому языку 2015 года. Демонстрационный вариант — это образец, модель, норма. Для всех учителей и учеников страны. 24 апреля 2015 года, за месяц до экзамена, я посмотрел в Интернете: вариант на месте.

Для выполнения заданий «...» был предложен текст Виктора Платоновича Некрасова. Точнее, «по Некрасову». Воспроизведу его здесь (цифрами в скобках текст разделяется на сегменты для удобства работы с ним).

(1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ... (11) ... (12) — « ... » (13) — « ... », — (14) ... (15) — « ? — ... » (16) — ... (17) ... (18) ... (19) ... — ...

Об авторе | Лев Соломонович Айзерман — заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, автор более двадцати книг и более двухсот статей. Постоянный автор «Знамени».

(20)
: . (21)

(22) . (23)

. (24)

(25)
(26) — ? —
(27) — . (28) —
(29) —

(30) —
. (31) —

(32) . (33)
(34) — ?
(35)
(36) . (37)

. (38) — . (39)

. (41) . (40)

(42) —
. (43)

« », . (44)

(45) ».

Как ни странно, но во время войны я был в Сталинграде. Часа полтора, 1 июля 1941 года. Моя тетя, учительница, работала в школе, расположенной в самом центре Москвы. Списались со школой в Анапе: мы дадим вам класс, если приедете в Москву, вы нам — то же самое, если мы выберемся в Анапу. И вот 21 июня 1941 года мы с тетей, ее подругой (учительницей той же школы) и ее сыном моих лет (мы только что закончили четыре класса начальной школы) отправляемся в Анапу. Без пяти двенадцать наш поезд отбывает со станции Ростов. Через пять минут Молотов скажет о начале войны. Мы же в поезде об этом услышали часов в пять. Те, кто поумнее, сбрасывали свои вещи на первом же полустанке. А два дурака, одним из которых был я, радостно кричали: «Ура! Война!» — и требовали ехать дальше.

Поехали. Когда от станции Тоннельная добирались до Анапы, нам навстречу шли артиллерийские соединения. Скоро стало ясно, что надо поскорее убираться. Как добирались до Тоннельной (автобусы уже не ходили), рассказывать не буду. Вагоны поезда брали штурмом. Но еще до того, как открылись двери вагона, носильщик нас, двух мальчишек, засунул туда через окна, и мы легли на скамейки, заняв места. Поезд шел уже не прямо на Москву, а круглым путем.

Часа полтора стояли в Сталинграде. «Ну зачем мы поедем в Москву? — говорила тетина приятельница. — Все равно детей будут эвакуировать из Москвы. А у меня в Сталинграде живет сестра. Остановимся у нее. Это так далеко от войны и от фронта». Не остались...

Я был в Сталинграде вместе с Виктором Некрасовым и его повестью «В окопах Сталинграда», которую я, прочитав задание по русскому языку 2015 года, сейчас же перечитал. Перечитал с волнением, пораженный, как эта советская книга 1946 года издания ни в чем не устарела, говоря правду о войне. Затем я прошел через Сталинград Юрия Бондарева в его романе «Горячий снег». Был потрясен романом о Сталинграде Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». И совсем недавно, сопереживая, смотрел сериал по этому роману, который поставил Сергей Урсулак.

И вот — Сталинград в постановке ФИПИ.

Помню, как в детстве каждый раз в мясном отделе продовольственного магазина я видел большой стенд, на котором изображена была туша и проведены линии разрубки. Вот тебе филейная часть, вот грудинка, вот край, вот шейка. И каждый раз, когда я вижу художественный текст, разбитый на пронумерованные предложения, — а вижу я все это вот уже пять лет и не раз в году, — у меня возникает ощущение, что это вовсе уже не литература, а подготовленная к разрубке ее мертвая туша. Но дело не только в номерах разграничительных линий.

Перед тем как приступить к сочинению, выпускники должны выполнить четыре задания. В одном из них нужно указать, в каком из определенных цифрами отрывков содержится описание, в каком — рассуждение, в каком — повествование. При этом в одном случае надо найти элемент описания, а в другом — присутствие элемента описания. В другом задании в девяти выделенных предложениях следует найти синонимы. В третьем — среди восьми предложений найти такое, которое связано с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. А в четвертом, в списке из девяти терминов: эпитет, сравнительный оборот, восклицательное предложение, профессиональная лексика, фразеологизм, лексический повтор, противопоставление, разговорная лексика, ряд однородных членов предложения, — найти четыре таких, которые подойдут к выделенным кускам текста.

И вы думаете, что после этих холодных, рассудочных разысканий, абсолютно формализованных, еще можно отнестись к тексту, в котором — боль и подвиг, с живым чувством? По-моему, такой формализованный подход, в котором главное — получить баллы, распространится и на сам текст.

Но это еще не все. Опять же перед тем как писать сочинение, нужно ответить еще на один вопрос.

« _____ ?

1.

2.

3.

4. _____ ».

Стоит ли говорить, что, по сути, эти вопросы рассчитаны на умственно отсталых — там же прямо в тексте написано, что судьба Конакова автору не известна и что Конаков командовал ротой. Но дело не только в этом. Я убежден, что перед сочинением не должно быть никаких наводящих или вводящих вопросов... А теперь посмотрите: правильными считаются ответы 1, 3, 4. Но ведь в этих «высказываниях» — прямая подсказка, _____ в этом тексте самое главное. И тогда абсолютно ясна оценка того, что здесь изображено. Но если это так, то странно звучит вопрос, на который должны ответить дети: «Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста». Ведь здесь не о чем думать! Я читал статью о сочинениях в английской школе. Там считают, что для размышления нельзя давать тексты, в которых нужно доказать, что дважды два четыре. Только спорные, дискуссионные, неоднозначные. Сам я уже давно не даю сочинений, над которыми не нужно думать...

Все это страшно, но все-таки еще не самое страшное. По официальным данным, в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года советские войска на Сталинградском направлении потеряли 1.347.214 человек, из них 674.990 — безвозвратно. Сюда не входят войска НКВД и народное ополчение. Эта тема, тема цены победы, проходит через всю повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

« ... »... « ?» —

— «

»...«

»... «

»... А теперь скажи-

те, поймет ли современный школьник, что стоит за этим? Автоматы есть, пулеметы есть, но — нет солдат. Я обратился к консультанту Центрального музея Вооруженных сил и спросил, сколько было солдат в роте. Он ответил, что около ста, но в Сталинграде бывало по-разному. Поймут ли наши современные школьники, что стоит за этим — рота, в которой осталось только трое? Может быть, и поняли бы, если бы текст маленького рассказа Виктора Некрасова не был сфальсифицирован. А в нем сняты двадцать пять предложений. Идеологически невыдержанных, с точки зрения разработчиков ЕГЭ.

Снято: «

». Снято упоминание о ранении рас-

сказчика. Снято: «

».

Они даже позволили себе Некрасова редактировать. У писателя Кононов говорит: «

». В экзаменационном тексте: «

». Какие, в самом деле, могут быть беды у героического защитника отечества! Дошло до того, что сняли фразу «закурил сигарку». Какая сигарка, когда у нас борьба с табакокурением. И положительный герой должен быть тут примером.

Но и это еще не все. В 1959 году в статье «Слова “великие” и простые» Некрасов выступил против напыщенной риторики и трескучей патетики, потому что они вводили от простой правды войны. Сам он был сдержан в употреблении высоких слов, изображая высокие проявления человеческой души. В конце романа рассказывает, как герои книги «В окопах Сталинграда» отмечают победу в Сталинградской битве. Эпизод этот имеет особое значение для понимания письма Некрасова и, как я думаю, в нем заключен глубокий педагогический смысл.

«

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Здесь про все сказано: и про мужество, и про стойкость, и про жертвенность, и про патриотизм, и про горькую долю погибших. Сказано без самих этих слов.

Думаю, что вот так же — во всяком случае, учителю литературы, сила которой в силе художественных образов, — следует учить не жонглировать высокими словами, а показывать картины, эпизоды, события, детали, характеры, судьбы, ситуации, отношения — людей, одним словом.

В рассказе о Конакове писатель, что редко он делал, в конце позволил себе выйти на высокий регистр. Но сделал это предельно кратко. «...»,

Но в ФИПИ этого показалось мало. И они дописали за писателя еще два слова — «целая страна». Во-первых, кто дал право дописывать за писателя. А во-вторых, это ведь неточно. Не вся страна. Достаточно сказать, что в немецких военизированных подразделениях служили около миллиона бывших советских граждан. Сказать, что у нас в стране — все Конаковы, писатель не мог бы, потому что в повести показаны и другие. Назову хотя бы того офицера, который погнал солдат на верную бессмысленную смерть. Его разжаловали и отослали в штрафбат...

Но дописывают Некрасова не только так. Как вы знаете, для проверяющих написанное учениками существует «информация к тексту», а попросту шпаргалка, в которой и написано то, что должен написать ученик. Вот что в этой шпаргалке написано об «авторской позиции» в тексте:

«1.

2.

3.

Нужно ли доказывать, что все это — антинекрасовское? И, боюсь, ученик, написавший, что автор потрясен тем, как два человека, рота которых погибла в боях, отбивали несколько атак в день, и увиденное убедило рассказчика, что победить страну, в которой миллионы таких, как Конаков, невозможно, — получит за ответ по этой позиции ноль баллов. Ведь ни про исторический ход событий, ни про ответственность за судьбы всего народа, ни про выполнение своего долга перед Родиной, ни про превосходящие силы противника, ни про преодоление самых суровых обстоятельств он ничего не написал.

Зато восемьсот тысяч выпускников по вывешенному в Интернете образцу, одобренному на высшем педагогическом уровне, усвоят, как в юбилейный год нужно писать о Великой Отечественной войне.

Через два месяца после публикации ФИПИ вышла объемная книга: «ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. Новая демоверсия. Под редакцией И.П. Цыбулько». Цыбулько все эти годы руководит созданием КИМов (контрольно-измерительных материалов) для ЕГЭ по русскому языку. В первом варианте — текст из повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

«...». Далее привожу задание полностью.

«(15)

(16)

«...». (17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Под текстом — «...». Что такое это «...», я слишком хорошо знаю. Несколько лет назад одному из моих учеников достался на экзамене отрывок из рассказа Леонида Андреева «Красный смех». Ни названия рассказа, ни того, что это рассказ о русско-японской войне, — в задании не было сказано ничего. Потом я достал экземпляр для проверяющих. В этой шпаргалке было написано, что ученик должен сказать, что позиция автора состоит вот в чем: «

...». Я взял том собрания сочинений Леонида Андреева и сверил текст писателя и текст, предложенный на экзамене. Они существенно расходились. Между прочим, под текстом было написано: «

...». Насчет опоры на жизненный опыт в данном случае — прямо-таки не в бровь, а в глаз... А другому моему ученику, сидящему на экзамене в том же классе, достался текст Виктора Некрасова, и он должен был написать, что именно во время войны раскрываются лучшие нравственные качества человека: «

...». Это уж — кому что достанется. Добит я был другим: в начале следующего учебного года именно этот текст Леонида Андреева был помещен в демонстрационном варианте ЕГЭ. Тогда я сказал об этом на совещании в Совете Федерации, на котором присутствовал заместитель министра образования. И ничего не изменилось...

Итак, под текстом из повести «В окопах Сталинграда» стояло «

...». Я тщательно сверил, буква в букву. Это был текст Некрасова без малейшего изменения. Но все эти задания, связанные с текстом, к Некрасову не имели никакого отношения. И весь этот блок из шести заданий по своей внутренней сущности был противонекрасовским. Кошунственной была эта нумерация предложений: «(1)

... (3) — ... (4) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ... (11)

...». Когда-то очень давно я прочел статью известного американского врача. Он написал о первородном грехе медицинского образования. Грех, по его мнению, состоит в том, что обучение будущего врача начинается с анатомического театра. И с первых шагов будущий врач привыкает к мысли, что человек — это тело, органы, кости, мышцы, сосуды, но во всем этом нет ни души, ни чувств — ничего, что могло бы по-человечески волновать. Потом все это будет переноситься на живого больного человека... Не берусь судить, насколько это верно в медицинском смысле. Но в нашем случае это бесспорно. Если для вас слово «Сталинград» — не просто слово, а книга о нем — не просто листы бумаги, то вы так и поймете те пять заданий, которые на экзамене выпускник должен выполнить до (до!!) того, как приступить к написанию сочинения. Ни о каком

(см. эпиграф) не может быть и речи. Пять упражнений в анатомическом театре определяют отношение и к Сталинграду, и к Некрасову. Это всего лишь только учебное задание, за которое нужно получить заветные двадцать три первичных балла. Итак:

«20.

?

1)

2)

3)

4)

5)

1941

В таблице ответов, обратите на это внимание и запомните, названы цифры 3 и 4. По-моему, вполне можно было бы сюда отнести пункт 1. О том, что нельзя давать никаких вопросов к тексту, о котором надо писать на экзамене сочинение, я и не говорю.

21.

?

1)

4

3.

2)

6-7

3)

13-14

4)

18-19

5)

25

24

Если взять текст, который я привел дословно, то правильным будет ответ 5.

22.

15-17

(

).

23.

15-20

Это 16.

В задании 24 приводится десять терминов (контекстные синонимы, эпитеты, фразеологизм, сравнения, риторический вопрос, лексический повтор, ряд однородных членов, вопросительно-ответная форма изложения, восклицательное предложение), из которых нужно выбрать четыре подходящих к заданию. Приведу только первое из них. Кстати, это называется «фрагмент рецензии». Заглянул в словарь: рецензия — это «критический отзыв о каком-то сочинении, спектакле, фильме»... Естественно, никакого отзыва, вообще размышления по существу написанного здесь нет. Но говорить даже об элементарной литературоведческой грамотности составителей экзаменационных текстов по русскому языку, увы, не приходится... Итак:

«

«

»

6, «

»

(14)».

Как вы легко догадались, это эпитеты. Нетрудно убедиться, что в данном случае, как и во всех заданиях этого типа, произведение нужно только для того, чтобы проверить, знает ли выпускник определенные термины. Кстати, термин «контекстные синонимы» я не нашел ни в одном литературоведческом или лингвистическом словаре.

Нет, я не прав был, когда сравнил все эти задания, которые нужно выполнить ДО написания сочинения, с работой патологоанатома. Патологоанатом исследует мертвые тела, а здесь кромсают живое. Патологоанатом в трупе ищет пути к лечению здоровых, живых людей. Здесь живое превращают в мертвое.

Все это не то, о чем Сальери у Пушкина сказал: «Звуки мертвив, Музыку я разъял, как труп». Потому что эта страшная операция была продиктована Сальери «любовию к искусству». Потому что после этого Сальери, «в науке искушенный, предан неге творческой мечты». Потому что он прошел через муки «любви горячей, самоотречения». И потому что он знает, что высший смысл — это «творящий жар», «бессмертный гений».

И тут мы подошли к самому страшному.

После того как в мае 2014 года десятиклассникам предложили на контрольной работе в десяти строках одного из самых пронзительных стихотворений Тютчева (естественно, пронумерованного по строкам) « , !» в указанных строках выполнить следующие десять заданий: «

», «

», «

:

—

», «

», « () ()», «
 () », «
 ()», «
 », «
 » «
 », — наши строгие ценители и судьи уже ничем меня удивить не смогут...

Возвращаясь к Некрасову: по канону, выпускники должны написать, какова проблема « () » (ну написали бы хотя бы «предложенного») и в чем « () ». Я не смог ответить на эти вопросы! Пришлось открыть страницы, где помещены « () 2». И вот что я там прочел: «Проблема неспособности искусства отразить чудовищную реальность военных дней. (Почему невозможно отразить на картине страшную правду войны?)» Не кажется ли вам, что это противоречит тезисам 3 и 4 задания 20, которые признаны верными? Но пойдём дальше: « () ».

А как же быть с «Бородино» Лермонтова, «Севастопольскими рассказами» и «Войной и миром» Толстого, «Тихим Доном» Шолохова, прозой, стихами и фильмами наших лучших художников о Великой Отечественной войне? А я недавно перечитал «В окопах Сталинграда» самого Некрасова — «боль, горечь, ужас войны, мужество и подвиг воевавших отозвались во мне»... Из одной эмоционально понятной фразы сделали концепцию, которая по сути не есть позиция писателя. Через сорок лет он напишет: « () ? ».

В конце августа 2014 года были объявлены пять проблем, по которым будут в декабре писать сочинение одиннадцатиклассники. В футболе это называется «договорной матч». Я не сомневался и написал об этом, что Интернет войдет в положение сдающих. Не ожидал, правда, что так стремительно. И вот в конце учебного года я решил посмотреть, что же было предложено. Ведь среди этих пяти тем была и война.

Сначала вышел на большой список сочинений о войне для всех классов: второго, третьего, пятого, седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого. В тот день на сайте было 3683 сочинения. Тронула тема для учеников второго класса: « () ».

». Отозвалось во мне и обращение: « () ! ».

О войне писали более пятидесяти процентов сдающих это сочинение. Но меня сейчас интересовали Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда».

Была одна настоящая работа. Но уверен, что это не ученический текст: грамотное литературоведческое исследование. Что касается ученических сочинений, то признаков прочтения книги я в них не нашел.

Когда еще обсуждали, каким должно быть это сочинение, звучало требование, чтобы одно сочинение было обязательно « () ». От остальных этого, очевидно, не требовалось. Что же, были и « () » сочинения. Протицирую два.

« () ».

Примечание: «15675

Были и сочинения, с позволения сказать, овеянные духом оппозиционным. «

В одном из сочинений конец только что процитированной работы был смонтирован с куском одной из предыдущих в начале.

Некрасова миновало вмешательство цензуры. Через сорок лет он вспоминал, как еще до получения премии вызван был цензоршей, — то был случай уникальный, — которая убеждала его написать хотя бы странички три, на которых был бы изображен Сталин в своем кабинете. «

Некрасова пощадила редакция «Знамени», где во главе стоял тогда Всеволод Вишневский.

Некрасову удалось пробиться через противодействие комитета по Сталинским премиям. Говорят, помог сам Сталин.

Некрасов мужественно перенес самое тяжелое после Сталинграда испытание. Вот подписанный тогдашним замминистра просвещения М. Кондаковым документ:

4 . 1
1975 .

()

« »

Потом имя и книги Некрасова вернулись на родину. Но часть читателей уже была потеряна.

Летом 1996 года я был с туристической группой в Париже. По программе нас повезли на русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

— А это могила Некрасова.

— Нашего поэта Некрасова?

— Нет. Прозаика Некрасова.

— Так зачем же вы нас сюда привели?

Шел дождь, хотелось в автобус, в Париж, в отель. Может быть, потому и была московская мадам раздражена и возмущена...

Некрасов всех победил: ни цензура, ни редакция, ни запрет, ни изгнание, ни умолчание его не согнули. Но он оказался бессилён перед лицом педагогической пошлости, увы, распространённой и вчера, и ныне.

Возможно ли ей противостоять? Уверен, что да, хотя это и очень трудно. Я убедился в этом, когда в сентябре — декабре 2014 года вел семинар для учеников двух одиннадцатых классов по литературе Великой Отечественной войны. Два главных принципа для участников этого семинара: добровольность и бесплатность.

Идеальную формулу занятий, как я ее представлял, я нашел в интервью кинорежиссера Владимира Меньшова. Он сказал, что, работая во ВГИКе со студентами, прежде всего думал о том, чтобы напитать их душу. Я шел по этому же курсу и не натаскивал на грядущее сочинение. Я вел к размышлению и сопереживанию. Я занимался с хорошими ребятами, учениками, пришедшими к нам из разных школ. И я был потрясен мерой их неведения.

Я показал им фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Никто до этого фильма не видел и ничего о нем не знал. Многие впервые услышали имя режиссера. Я показал «Балладу о солдате» Григория Чухрая. Все видели фильм впервые и ничего о нем не знали. Я показал эпизод из фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах». То же самое: полное неведение.

Я попросил их за урок (сорок пять минут) написать, как они понимают стихотворение Твардовского:

,
 ;
 , — , —
 , ,
 , —
 , , ...

Из двадцати писавших стихотворение поняли только восемь.

Потом, анализируя написанное, я у детей спросил: « , — сколько , этих ? Что стоит за местоимением ? Чем мы заплатили за войну и за Победу?» Иду по классу, собираю ответы: « », « », « », « », « », « »...

Дело, конечно, не в знании каких-то цифр. Меня поразило, что написано в слове Даля о памяти: « ;

;
 ;
 ;

«... Драма нашей школы — в том, что все больше и больше в ней память внутренняя вытесняется памятью внешней. Что особенно проявляется на экзаменах. А сами экзамены все больше и больше становятся главной целью работы школы.

Р.С. Возвращаясь к решению провести в выпускном классе сочинение и обсуждению, каким ему быть, где прозвучало сильно выраженное мнение, что одно из пяти сочинений по предложенным пяти темам должно быть «на».

Я этого не понимал и не понимаю. Ведь если есть сочинение на патриотическую тему, то логично предположить, что существуют и даже имеют право на жизнь и сочинения на непатриотическую тему.

Вот, к примеру, Лермонтов. Ну, со стихотворениями «Бородино» и «Родина» все понятно. А как быть с «Выхожу один я на дорогу...», «На севере диком стоит одиноко...», поэмой «Демон»? Там ведь не родина, а «», «», «» (далекая!), «». Я уже не говорю о печально знаменитом «Парусе». Он что-то «...», что-то «...».

» — уж не постоянное ли место жительства? И к тому же он «мятежный», а нам мятежи, бунты, протесты — ну, совершенно не нужны...

Однажды, выступая с чтением своих стихов, Александр Блок получил записку: «Прочтите стихи о Родине». Он даже растерялся: «Они все о Родине»...

На мой взгляд — взгляд учителя, который проработал в школе уже шестьдесят три года, — патриотическое воспитание на уроках литературы состоит в том, чтобы донести до школьников «», «» (Ахматова) так, чтобы отозвалась она не оценкой в школьном журнале за заученный учебный материал, а — в умах и сердцах.

Сама по себе тема, будь то любви, труда, Родины, — ни о чем не говорит. Мы хорошо знаем, как умеют порой на уроках, в контрольных работах, на экзаменах опозлать и опохабить и самое чистое, великое и святое. Здесь главное то, о чем так точно сказано Тютчевым: «».

Р.Р.С. Своим ученикам я даю простой совет: напишите сочинение, и лишь потом, после него, сделайте те грамматические и терминологические задания, которые даются по предложенному для сочинения тексту.

Ефим Гофман

Преодолевая духоту

Девяносто лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова, отмеченные в августе нынешнего года, — дата знаменательная. Не хотелось бы, однако, в подобной юбилейной ситуации упустить из виду еще одну дату — пусть и на первый взгляд менее заметную, но обозначающую достаточно существенную веху литературной жизни начала семидесятых. Приходится упомянутое событие как раз на середину зафиксированного выше девяностолетнего исторического срока. Сорок пять лет тому назад были опубликованы «Предварительные итоги» — одно из самых безысходных произведений Трифонова.

Повесть, написанная за несколько месяцев, была завершена в августе 1970 года¹. А затем — появилась на страницах двенадцатого, декабрьского номера журнала «Новый мир» за этот же год.

Для журнала тот период был нелегким. Слишком малый промежуток времени прошел с момента разгрома легендарной «новомирской» редколлегии и последовавшего за ним вынужденного ухода Твардовского с поста главного редактора.

Вместе с тем, подобно большинству авторов «Нового мира» 60-х годов, Юрий Трифонов не стал прекращать сотрудничество с журналом. Опираясь на успешный опыт публикации своей повести «Обмен» в одном из последних номеров «Нового мира», подписанных Твардовским, писатель принял сознательное решение предоставить тому же изданию и следующую вещь.

Повесть была напечатана. И сразу же вызвала оживленное обсуждение в читательской и профессиональной литературной среде.

С виду все складывалось как нельзя более удачно. На самом же деле последствия выхода «Предварительных итогов» для писательской и общественной репутации Юрия Трифонова оказались достаточно драматичными.

На поверхностном уровне может создаться ощущение, что «Предварительные итоги» сводятся к описанию истории неблагополучной семьи. Состоит семейство из людей вроде бы вполне респектабельных: литературного переводчика Геннадия Сергеевича, от лица которого ведется повествование; его супруги Риты, равнодушной интеллектуалки; их сына Кирилла — студента солидного московского института. Вместе с тем, жизнь семьи протекает в режиме непрерывных раздоров, скандалов, истерик — и автор повести временами фокусирует свой писательский объектив на тех психологических подробностях, которых, казалось бы, читателю лучше и вовсе не знать.

1

(1925–1981).

: Шитов А.П.

:

, 1997.

. 422.

Об авторе | Ефим Леонидович Гофман родился в 1964 году в Киеве. В 1986 году окончил Горьковскую (Нижегородскую) государственную консерваторию им. М.И. Глинки. Занимается литературной критикой, эссеистикой, публицистикой, преподаванием. Печтается в «Знамени» и в других российских и русскоязычных периодических изданиях с 2000 года. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2015 год, № 10. Живет в Киеве.

, — подобное ощущение от «Предварительных итогов», которым поделилась с Трифоновым некая женщина-историк, писатель приводит в одной из своих позднейших статей. И — иронично продолжает там же: «Я обрадовался: «Правда?» «Ну, конечно, — сказала она.— Очень!» Я объяснил, что (здесь и далее в цитатах курсив мой. — . .)»².

Что ж, бывают случаи, когда инерцию читательского восприятия можно преодолеть только таким способом...

Общую тягостную, гнетущую атмосферу повести усиливает и другой сознательный авторский прием: нагнетание подробностей, носящих характер предельно приземленный, вопиюще бытовой.

Учтем, что композиция повести при этом достаточно непростая. Исповедь Геннадия Сергеевича — являющаяся, собственно говоря, текстом «Предварительных итогов» — принципиально лишена линейности. История семейной жизни героя подается в виде разрозненных ретроспекций-вспышек. Именно таким способом Геннадий Сергеевич, сбежавший из опостылевшего дома в Туркмению, работающий там над переводом огромной неталантливой поэмы местного автора, изнемогающий от жары и пребывающий на грани инфаркта, мучительно пытается разобраться и во взаимоотношениях с близкими, и в самом себе.

Вместе с тем, подобное строение повести побуждает к активной работе читательского сознания, подталкивает к тому, чтобы на равных с героем (а порой — и с автором) вдумываться в рассматриваемые коллизии, докапываться до скрытых метафор, ассоциаций, слов подтекста, размыкающих рамки описываемых конкретных обстоятельств и приближающих к постижению глубинной проблематики «Предварительных итогов».

Кто же из трех представленных выше героев повести более всего виновен в удручающем повороте семейной драмы?

Если оценивать ситуацию на чисто фабульном уровне, может показаться, что главный виновник — Кирилл. То обстоятельство, что внешне добропорядочный юноша-студент на поверку оказался наглым фарцовщиком, способным ради своих сделок идти на обман, безответственные авантюры, уже само по себе выглядит мощнейшим сигналом тревоги, симптоматичным проявлением деградации формально интеллигентной семьи.

Что же до Геннадия Сергеевича, то он в подобном раскладе выглядит отнюдь не источником страданий, но — потерпевшим: вызов к следователю и допрос по делу сына (о котором переводчик до этого момента не ведал ни сном, ни духом!) никакому отцу удовольствия не доставит.

Не добавляет положительных эмоций герою-переводчику и Рита с ее непрерывными истериками, с ее эгоистичным стремлением отгородиться от проблем своих близких с помощью нарочитой, показной андеграундно-кружковой активности (к этой теме мы еще будем иметь возможность предметно вернуться).

И все же: что собой представляет сам Геннадий Сергеевич?

Сразу заметим, что образ главного героя подается автором в режиме ускользания, уклонения от отчетливой характеристики.

Временами кажется, что Геннадий Сергеевич неосознанно стремится позиционировать себя в качестве этакой бессильной жертвы унижительных обстоятельств и людского бесчувствия.

Временами мы видим, однако, что герой повести далеко не так уж беспомощен. Другой вопрос, что обозначенная выше склонность Геннадия Сергеевича уходить от внятной самооценки вполне гармонирует с его же непрерывной готовностью уклоняться от конкретных поступков. Иной раз, однако, подобное уклонение само по себе становится... достаточно непорядочным.

Показательна в этом смысле история с одинокой домработницей Нюрой, нашедшей в семье Геннадия Сергеевича единственное душевное пристанище. Когда

² Трифонов Ю.В. . . . — ! // Трифонов Ю.В. . . . 4 . . . 4., 1987. . . . 544.

выясняется, что у Нюры — тяжелое психическое заболевание, и она, соответственно, нуждается в серьезной опеке, семья переводчика, не склонная обременять себя лишними проблемами, решает... оставить домработницу на постоянное пребывание в больнице. Сам же Геннадий Сергеевич малодушно воздерживается от возможности переломить решение домохозяев и, вспоминая тот эпизод, констатирует: «когда совершается — даже маленькое, — всегда потом бывает тошно».

Иными словами, герой повести волей-неволей все же признает, что несет и свою долю ответственности за чудовищную обстановку, сложившуюся в семье. Как признает и то, что, будучи человеком, изначально наделенным неплохими задатками, с какого-то момента предался комфортному безволию, вяло поплыл по течению житейской суеты: «хватал, что попроще, а другое откладывал на потом, на когда-нибудь. И то, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало,

(запомним эти слова! — . . .), но этого никто не замечал, кроме меня. <...> А теперь уж некогда. Времени не осталось. И другое: нет сил. И еще третье: каждый человек достоин своей судьбы».

Именно такой неутешительный характер несут, как мы видим, подводящиеся героем собственные жизни.

Но вернемся к замеченным нами словам о воздухе, вытекающем из дома. Различные модификации этого образа предстают перед нами в рассматриваемой повести неоднократно.

Ключевые образы, ключевые метафоры, лежащие в основе произведения, — к такому драматургическому приему Трифонов явно испытывал пристрастие. Мы помним, что основополагающей метафорой повести, предшествовавшей «Предварительным итогам», было само ее название: — то есть подмена и растрата высоких жизненных ценностей в погоне за материальными благами и преуспеянием³. В данном же случае образным мотивом, скрепляющим повесть, становится именно

Именно с его помощью автор, устами все того же Геннадия Сергеевича, определяет существеннейшую предпосылку обстановки, царящей в семье переводчика:

«Можно болеть, можно всю жизнь делать работу не по душе, но нужно ощущать себя человеком. Для этого необходимо единственное — атмосфера простой человечности. <...> Но если человек не чувствует близости близких, то, как бы ни был он интеллектуально высок, идейно подкован, он начинает душевно корчиться и задыхаться — не хватает».

Этот впечатляющий тезис выдвигается на одной из начальных страниц повести. А в самом ее конце находит неожиданное... экспериментальное подтверждение.

Внезапно сознание героя отключается. И начинается

Пронзительно-лирический образ сновидения, предстающий перед нами поначалу, возвращает к давно минувшему времени, когда Геннадий Сергеевич и Рита по-настоящему любили друг друга:

«Со стороны леса восходила туча. Тело тучи было пухлым и пепельно-серым. Мы плыли сюда, в бухту, издали, это было наше место, нигде лучше нет купания на всей реке, но этого никто не знал, кроме нас. <...> Вода была замечательно

. Когда ливень ударил, воздух сразу похолодал, но вода оставалась теплой, и мы, держась за руки, отталкиваясь от песчаного дна, выпрыгивали из этой теплой воды навстречу стегавшим водяным струям и хохотали, как безумные, а все кругом было скрыто падающей стеной воды, шумящей и непроглядно-белой, как туман»...

Внезапно, однако, изобразительная сила и пластика представленной картины полностью улетучиваются. Рельефный шар, сотворенный из словесной материи, разорван и — на глазах теряет свое содержимое:

«...а , нечем было дышать. Вода душила нас. Все та же лестница, на которой я задыхался, еще одна ступень, еще усилие, зачем-то надо подниматься все выше, но воздуха не было».

Навязчивый кошмар Геннадия Сергеевича, обусловленный очередным сердечным приступом, вступает в свои права. А дальше — текстовый пробел, провал, полное беспомыслие...

И вот уже вместо выразительного словесного шара, из которого вытек воздух, перед нами — сплюснутая резина бесстрастных, сухих информационных фраз, повествующих о внешне благополучном, но, по сути, горьком и безотрадном возвращении жизненной ситуации героя повести на круги своя:

«В июле Кирилл уехал со студенческим отрядом в Новгород, а мы с Ритой в конце июля взяли путевки на Рижское взморье, поехали немного раньше, пожили в гостинице, а с августа поселились в доме отдыха. <...> Балтийский климат, как всегда, действовал целительно: я дышал глубоко и ровно, давление пришло в норму, и в конце нашего пребывания я даже достал ракетку и немного играл в теннис».

Казалось бы, мы вернулись в действительность, не побуждающую к каким-либо сомнениям и вопросам. Но на миг открывшееся перед концовкой повести окно в другой мир побуждает взглянуть и на этот, самый последний фрагмент, в ракурсе

. И при подобном рассмотрении — нестыковка получается! Герой вроде бы сообщает нам, что «дышал глубоко и ровно», но — каким образом он может дышать, и вообще жить, если перед этим было сказано, что... «воздуха не было»?!

Ситуация с виду парадоксальная — и в то же время вполне поддающаяся пониманию, если рассматривать ее не буквально, но в качестве обозначения серьезного социально-исторического феномена.

Ощущение того, что любые, даже сугубо приватные, жизненные обстоятельства непрестанно подключены к (если воспользоваться формулой из «Долгого прощания», написанного сразу вслед за рассматриваемой нами повестью), — одна из существеннейших черт, определяющих мировоззрение и писательскую позицию Трифонова.

Если же говорить конкретно о «Предварительных итогах», сразу заметим, что вряд ли в число намеренных авторских задач входила в данном случае отсылка читателя к хрестоматийным словам Блока о том, что Пушкина убила не пуля Дантеса, но —

. Вместе с тем, образно-понятийный ряд, лежащий в основе этой характеристики николаевской эпохи, настолько прочно впечатан в нашу общую культурную память, что волей-неволей способен служить мощным подспорьем и для оценки других времен, других исторических обстоятельств. А также — ключом к выявлению сокровенных, не лежащих на поверхности и по-особому значительных смысловых аспектов рассматриваемой трифоновской повести.

Вернемся все к тому же загадочному бреду Геннадия Сергеевича. Сквозь личную боль, сквозь тоску по высоте и подлинности молодых чувств, безнадежно утраченных и самим героем, и Ритой, в нем явно проглядывает и совсем иная боль, иная тоска.

Попробуем осуществить нехитрую арифметическую процедуру. Примем во внимание тот момент, что действие «Предварительных итогов» завершается, скорее всего, не просто в августе (об этом мы узнаем из заключительного фрагмента), но в конкретном августе 1970-го (когда сам Трифонов закончил работу над повестью). Вспомним и о том, что сын Геннадия Сергеевича и Риты перешел к этому времени на второй курс института. Соответственно, есть все основания предполагать, что пригрезившееся герою романтическое купание с беременной женой происходило летом 1952 года. Времена на дворе еще — абсолютно сталинские, морозные и беспощадные, но... Не переключается ли акцентированная автором тяга героев к теплой воде с настроениями, витавшими в атмосфере эпохи?

Иными словами — с надеждами на : на дух любви, дружбы, взаимопонимания, людской солидарности, сочетающейся с чуткостью к каждой, отдельно взятой, личности и ее внутреннему миру. На то, что временно восторжествовало в обществе рубежа 50–60-х годов, а к началу семидесятых рухнуло так же внезапно, как и... чарующее сновидение-ретроспекция Геннадия Сергеевича.

«Спасите наши души! Мы бредим от ...» — емким символом наступившего времени в знаменитом спектакле Юрия Любимова по трифоновскому «Дому на набережной» неслучайно стал этот трагический вопль Высоцкого, неоднократно врубавшийся на протяжении действия, каждый раз проходя морозом по коже у зрителей.

Душевное очерствение, охватившее семью из «Предварительных итогов», выглядит — и просматривается этот момент в повести значительно отчетливее, чем в предшествовавшем ей «Обмене», — лишь одним из многообразных проявлений состояния, охватившего страну. Абсолютно органично этот частный случай сопрягается с пронизательной авторской фиксацией существенных общих тенденций, характеризующих безвоздушную реальность советско-брежневской эпохи.

Это — и засасывающая трясина быта, суетливой деловитости, меркантильности.

Это — и дух конформизма, распространенного в интеллектуальной и творческой среде. Явственно ощущается он в характере ремесленной поденной переводческой работы Геннадия Сергеевича. И не менее явственно — в направленности деятельности его барственного работодателя Мансура, производителя предсказуемой, не вызывающей беспокойства у литературного официоза, слащавой стихотворческой продукции.

Это — и непрошибаемое бездушие государственной машины. Предстает она на страницах повести в облики следователя, вызвавшего Геннадия Сергеевича на допрос. А накануне допроса герой — еще не зная, что причиной вызова явилась грязная сделка Кирилла по продаже иконы — с лихорадочным беспокойством перебирает в своем сознании преступления, которые могут ему, мирному переводчику, инкриминировать. В результате Геннадий Сергеевич, чьи провинности перед законом незначительны, приходит к выводу, что может быть привлечен к суду и за взятки, и за кражу, и даже — за убийство (!), поскольку... все мы знаем, что, если государство понадобится, оно способно на пустом месте состряпать любое следственное дело.

Чувство бессилия рядового гражданина перед лицом официальных структур воссоздается в этом фрагменте с большим мастерством. Оценим, в то же время, достаточную степень смелости Трифонова, решившегося в данном случае затронуть тему, не самую, мягко выражаясь, приемлемую для подцензурных изданий эпохи «застоя».

Есть, однако, и другая непростая, ранее почти не затрагивавшаяся тема, заслуживающая особого, подробного разговора и побуждающая по-новому взглянуть на некоторые аспекты судьбы повести и ее автора.

Неожиданное отражение получила в «Предварительных итогах» среда, становившаяся все более и более весомым фактором общественной жизни периода создания повести. Условно обозначим упомянутую среду понятием «прогрессивное человечество». Эта жесткая саркастическая формулировка была придумана не Трифоновым, но — его старшим современником Варламом Тихоновичем Шаламовым.

Здесь — остановимся ненадолго. Упоминание имени Шаламова в контексте нашего разговора может удивить хотя бы потому, что Трифонов с Варламом Тихоновичем даже, кажется, не был лично знаком. Под вопросом также степень основательности знакомства Трифонова с творчеством Шаламова, равно как и Шаламова с творчеством Трифонова. Имелось, однако, у этих двух больших писателей немало серьезнейших духовных, мировоззренческих точек соприкосновения.

И для Трифонова, и для Шаламова тема советско-сталинских репрессий была незаживающей раной, неутраченной болью души. А также — предметом непрерывного глубокого осмысления.

Не менее важным представляется и еще один момент, сближающий Трифонова с Шаламовым. Оба писателя были людьми городской культурной закваски, причастными к среде подлинной интеллигенции и по-настоящему чутко относившимися к проблемам ее существования. Упомянутое обстоятельство побуждало и Трифонова, и Шаламова с особой напряженностью присматриваться к нарастающим трансформациям, затрагивавшим сознание просвещенных кругов начала 70-х.

Именно подобным равнодушием и была, в частности, обусловлена шаламовская формула «прогрессивное человечество». Применялась она Варламом Тихоновичем по отношению к некоторой части интеллектуального андеграунда и диссидентства, склонной в процессе конфронтации с властью основываться на идеях, резко противоположных государственной линии, но не уступающих официальным настроениям по части жестокости и непримиримости.

К идейным андеграундным исканиям героини трифоновской повести, все той же экзальтированной Риты, подобный момент имеет самое прямое отношение.

«Все эти Леонтьевы, Бердяевы, или, как я говорил, белибердяевы (разрядка автора. — . . .)», — раздраженно именует Геннадий Сергеевич религиозно-философскую литературу, чтением которой так одержима его жена.

Сразу оговорим, что нет оснований приписывать подобные настроения героя самому автору «Предварительных итогов» (и попытки такого рода, предпринятые Львом Аннинским в статье «Неокончателные итоги»⁴, представляются абсолютно несостоятельными). Прекрасно осознает писатель, что его персонаж в некоторых своих суждениях может проявлять себя как человек достаточно недалекий, ограниченный.

Неоднократно признается Геннадий Сергеевич на страницах повести в недостатке эрудиции. Хотя и создается ощущение, что этот свой недостаток герой преувеличивает. Читал он все же Кафку, способен все же вспомнить к месту изысканные рисунки Обри Бердслея... Да и вообще, дело здесь, судя по всему, не в уровне эрудиции персонажа, а — совсем в ином.

Мы помним, как навязчиво-догматичный курс марксизма-ленинизма, преподававшийся в советских вузах, не только не увеличивал число приверженцев марксистской теории, но нередко приводил к обратному результату: априорному нежеланию читать Маркса, интересоваться хотя бы отдельными резонными соображениями этого автора.

Достаточно догматичным, как ни печально, был и подход некоторых андеграундных кружков начала 70-х к освоению трудов Бердяева, Леонтьева, Флоренского, других религиозных мыслителей. Работы эти зачастую воспринимались подобной средой не как ценное подспорье для развития самостоятельной мыслящей личности, индивидуальности, но как краугольные камни чего-то вроде нового

. Соответственно, у людей, непричастных к кружковой жизни, отторжение от методики подобных штудий могло инстинктивно распространяться на сами изучаемые первоисточники — реакция, конечно же, несправедливая, но определенные эмоциональные основания все же имеющая. Очень возможно, что подоплека предвзятого оценочного суждения Геннадия Сергеевича именно такова.

Обратим внимание и на фигуру человека, покровительствующего философским занятиям Риты, — уже упоминавшегося нами персонажа по фамилии Гартвиг. Этот инициативный сотрудник академического института, кандидат наук, владеющий четырьмя языками и читающий в подлиннике латинских авторов, имеет несомненные претензии на статус . Упомянутая черта проявляется и в готовности рассматриваемого персонажа к безапелляционным суждениям по любым вопросам, и в демонстративно-снисходительной иронии, проявляемой по отношению к тем, кто — подобно, скажем, Геннадию Сергеевичу — позволяет себе хотя бы чуточку усомниться в его, Гартвига, абсолютной правоте и компетентности.

Безоглядное стремление Риты восхищаться и во всем ориентироваться на Гартвига воспринимается, вместе с тем, не каким-либо исключительным обстоятельством, но отражением весьма существенной черты нравов «прогрессивного человечества» — воли к . Припомним хотя бы культ Солженицына, явившийся следствием как готовности иных кругов к необдуманному прятию любых, даже самых спорных, идей автора «Архипелага», так и ошутимой склонности самого писателя к статусу безоговорочного властителя дум.

Объектами неумеренного поклонения в этих обстоятельствах становились, однако, и фигуры, чья известность носила более локальный характер. К примеру, режиссер и философ Евгений Шифферс, человек одаренный, но чрезвычайно амбициозный и деспотичный⁵. На заседаниях художественного совета любимовской Таганки Трифонову доводилось встречаться с Шифферсом. Но это было уже после создания «Предварительных итогов» и, соответственно, отношения к образу Гартвига не имеет. Да и вообще, писательская задача Трифонова состояла в данном случае не в

4 .: Аннинский Л. . // « ». 5. 1972. . 187–188.

5 .: Рокитянский Владимир. // « ». 2, 2010.

портретировании какой-либо отдельно взятой реальной персоны, но в отображении определенной общей линии, на глазах набравшей силу.

Заметим, однако, что носившие достаточно сомнительный характер попытки отыскать конкретный прообраз Гартвига все же предпринимались. Сразу после появления повести стали распространяться слухи о том, что таким прообразом является... добрый знакомый Трифонова, глубоко чтимый им человек — замечательный литературовед, философ, культуролог Георгий Дмитриевич Гачев. Поводом для кривотолков, исходивших от недоброжелателей автора повести, явилось внешнее сходство не самого существенного штриха биографии персонажа с полуторогодичным эпизодом биографии Гачева: временным уходом из НИИ и работой матросом на черноморском флоте. Сам Гачев, однако, решительно отказался принимать такие разговоры во внимание, позвонил Трифонову и дал новой повести высочайшую оценку, с благодарностью воспроизведенную писателем в дневнике⁶. Подобный поступок Георгия Дмитриевича вполне соответствовал общему складу характера этого ученого и человека, лишенного напыщенности, наделенного немалой долей самоиронии, не склонного навязывать другим людям свои взгляды и сознательно выбиравшего в качестве объектов исследования авторов, отличавшихся такой же мировоззренческой широтой и толерантностью: будь то благополучный советский прозаик Чингиз Айтматов (чьему творчеству посвящены обстоятельные работы Гачева 60–70-х годов), или дерзкий писатель-диссидент Андрей Синявский⁷ (чьему роману «Спокойной ночи» посвящено прониженное эссе Гачева конца 80-х)...

Но вернемся к рассматриваемой теме. Каким бы недалеким порою ни казался трифоновский герой-переводчик, в иных случаях он способен проявлять немалую наблюдательность.

«Все, друзья мои, благородно, прекрасно, любите красоту, взыскупите града (Божьего. — . .), а только вот — как?»... Достаточно метко отражена в подобном риторическом вопросе Геннадия Сергеевича склонность Гартвига и его единомышленников к сочетанию энтузиазма религиозных поисков с поразительной забывчивостью по части соблюдения существеннейшей христианской нравственной заповеди. Вполне похожее сочетание взвинченной дидактики, исступленной тяги к благочестию с заметной нехваткой доброты, терпимости, сочувствия по отношению к конкретным людям дает о себе знать и в некоторых программных религиозно-диссидентских сочинениях 70-х годов: будь то «Отверзи ми двери» Ф. Светова, или «Семь дней творения» В. Максимова, или публицистика сборника «Из-под глыб».

А другие слова Геннадия Сергеевича свидетельствуют о том, что содержание его споров с Гартвигом отнюдь не исчерпывается проблемами религиозной жизни: «Я сам не люблю голубоглазых оптимистов и всегда смотрел и смотрю на мир, на людей критически, но такое отношение к окружающим, как у Гартвига — тайная насмешливость надо всем и вся, — приводит меня в ярость. Я становлюсь бешеным ортодоксом»...

На что намекает здесь словечко ? Вспомним, что в разговорной эзоповой речи интеллигенции «застойных» времен это слово зачастую означало: ортодоксальный коммунист. Соответственно, опираясь на такую лексическую деталь, вполне можно предположить, что ведется в данном случае речь о спорах политических. А проще говоря — об отношении к .

Протест у Геннадия Сергеевича вызывает в данном случае такая характерная черта психологии «прогрессивного человечества», как оттенок желчного высоко-

6 .:Трифонов Юрий. : — , 2000. . 438–440.

7 « »

1971 : «

« » (12) « » : Синявский, Андрей Донатович. 127 : (3). . 3. .: , 2004. . 367.

мерия, присутствовавший в обоснованных претензиях этой среды к советскому строю. Плодотворному диалогу с огромным количеством неангажированных, просвещенных, здравомыслящих людей, также настроенных вполне (как формулирует герой-переводчик) по отношению к власти, к окружающей действительности, подобные эмоции способствовать не могли.

Да и с проблемой конформизма — не так уж все просто. Проблема, разумеется, серьезнейшая, но беды советского «застойного» общества ею далеко не исчерпывались. Тем меньше убеждает упорное стремление концентрироваться исключительно на развенчании конформизма, характерное для «прогрессивного человечества» (и совпадавшее с настроениями Солженицына, выразившимися в «Образованнице», в «Жить не по лжи»).

Припомним жестокие слова, брошенные Кириллом в лицо Геннадию Сергеевичу: «Производишь какую-то муру, а твоя». В устах бессовестного юнца (транслирующего настроения Риты и ее круга) подобная диссидентская риторика звучит особенно нелепо.

Обращает на себя внимание и то, что, судя по всему, к коммерческим аферам Кирилла лишенная меркантильности Рита, равно как и ее духовный наставник Гартвиг (согласный спасти юношу от отчисления из института), относятся с существенно большей терпимостью, нежели к конформизму Геннадия Сергеевича. Вполне согласуются подобные писательские наблюдения с... реальным опытом, накопленным всеми нами за постсоветский период. Вспомним, к примеру, как в 90-е годы публичные высказывания иных ветеранов диссидентского движения нередко сводились к предсказуемым бичеваниям коммунистической идеологии, повторы привычных обвинений в адрес уже несуществующей советской власти. Совершенно игнорировался в подобных выступлениях факт выхода на общественно-политическую авансцену совсем другой силы, дающей основания для тревоги: генерации новых ..., непотопляемых, изворотливых, агрессивных, готовых попираТЬ достоинство, благополучие, а порой — и физическое существование миллионов рядовых граждан ради обеспечения собственного материального достатка и реализации личных тщеславных целей...

Иными словами, в процессе рассмотрения сложной темы, табуированной для открытых общественных дискуссий, Трифонову удалось не только основательно отразить многие стороны рассматриваемого феномена, но и предугадать примерную направленность его дальнейших возможных трансформаций.

Не заставила себя ждать, однако, и ответная реакция среды, запечатленной в «Предварительных итогах». Декларируя на словах неприятие тоталитарно-советских традиций единомыслия, на деле «прогрессивное человечество» с большой нервностью относилось к фактам проявления тех или иных независимых позиций, отклонявшихся от его генеральной линии. Тем более если подобные отклонения носили сознательный полемический характер. Для микширования подобных несогласий и дискредитации людей, их выражающих, сразу пускались в ход различные рычаги общественного воздействия, имевшиеся у «прогрессивного человечества» в запасе.

Взять хотя бы случай того же Шаламова. 23 февраля 1972 года на страницах «Литературной газеты» появилось письмо Варлама Тихоновича. В нем Шаламов давал отповедь публикациям своих произведений в эмигрантских изданиях радикально-политизированной направленности. Непростые мотивы, побудившие Варлама Тихоновича к письму, отнюдь не состояли только в страхе перед КГБ⁸. Отмежевание от публикаций никоим образом отказа писателя от самих произведений и их идей.

Один из существенных моментов, побудивших Шаламова к письму, особо был обозначен писателем в дневнике: «Почему сделано это заявление? Мне надоело при-

» <...> — .. : « .. » (.. Есипов В.В. .. : ..), 2012. .. 299). осознанной необходимости

числение меня к «человечеству» (слово «прогрессивное» здесь пропущено, но подразумевается. — . .), непрерывная спекуляция моим именем»⁹...

Сразу же после публикации письма по неформально-андеграундным кругам стали распространяться мнения, что Шаламова сломали, что его выступление в «Литгазете» является сдачей позиций, а возможно, и следствием возрастной психической неадекватности. Многие люди, ранее всячески стремившиеся засвидетельствовать свое почтение автору «Колымских рассказов», отвернулись от Варлама Тихоновича. Непонимание, проявленное по отношению к Шаламову, лишь усиливало неизбывный трагизм его судьбы.

Вернемся, однако, к ситуации Трифонова. Неслучайно сразу после появления «Предварительных итогов» редактор С.Д. Разумовская сочла необходимым предупредить Юрия Валентиновича (зафиксировавшего предупреждение в дневнике) о том, что по поводу его новой вещи «идут разноречивые толки»¹⁰. Поисками гартвиговского прототипа они, судя по всему, далеко не исчерпывались. Есть основания полагать, что именно после выхода в свет этой повести в оппозиционных кругах стало активно циркулировать презрительное мнение: Трифонов — писатель

, . Направленность недоброго салонного шушуканья по поводу трифоновских произведений выразительно воссоздает Наталья Иванова, приводя в начале своей монографии «Проза Юрия Трифонова» возможные реплики. Развивая тему в одной из своих позднейших работ о Трифонове, неслучайно озаглавленной «Чужой среди своих», она констатирует: «Трифонову не забывали ставить в счет а) происхождение, б) жизнь ребенком в номенклатурном доме, в) Сталинскую премию за «Студентов»»¹¹.

Скрытая обструкция носила характер неумолимый. Ни та оговорка, что за зрелые произведения Трифонов не получил никаких официальных наград; ни тот факт, что ничего общего автор «Предварительных итогов» не имел с советскими литературными генералами, витийствовавшими на партийных съездах, дававшими елейно-беззубые телеинтервью на фоне колосающейся пшеницы; ни то обстоятельство, что для множества по-настоящему серьезных, чутких, вдумчивых читателей, лишенных кастово-партийных предрассудков, выход каждого нового произведения Трифонова являлся одной из важнейших отдушин, — ничто из упомянутых выше моментов круга «прогрессивного человечества» во внимание упорно не принималось.

Отголоски такой обструкции иногда проникали даже в подцензурную печать первой половины 70-х. Взять хотя бы ту же упоминавшуюся нами выше статью Льва Аннинского в журнале «Дон», во многом ориентированную на расхожие корпоративные оценки писательской позиции Трифонова¹². Разговоры критика про позиции, про желание писателя «быть и там и тут»¹³, отчасти напоминают... иные корпоративные упреки в адрес Чехова¹⁴, побуждавшие

9 . . : Шаламов В. « . . . ». // . . . 1. . . . , 1994. . 104.

10 . . : Трифонов Юрий. — . . . , 2000. . 438.

11 . . : Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча? // « . . . ». 8. 1999. . 187.

12 . . . : « . . . » — . . . : «Как слово наше отзовется...». //Трифонов Ю.В. . . . — . . . , 1985. . 312, 314.

13 Аннинский Л. // « . . . ». 5. 1972. . 191.

14 . . : Иванова Наталья.

. . . 136–137.

великого писателя гневно отвечать: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, я никогда не был»¹⁵. Справедливости ради оговорим, что в дальнейшем многие из своих оценок Лев Александрович Аннинский пересмотрел и последующие его публикации, выступления, высказывания о Трифонове носят характер значительно более глубокий и точный.

А через какое-то время была предпринята попытка нанести и открытый удар по репутации Трифонова. Речь идет о статье известного литературного критика Вадима Кожинова «Проблема автора и путь писателя», появившейся в выпуске литературоведческого альманаха «Контекст» за 1977 год, достаточно скоро после выхода в свет «Дома на набережной». Базировалась эта статья на демагогических аргументах, несостоятельных по сути, но по форме своей — коварных, способных хотя бы на время сбить с толку весомую часть читательской аудитории¹⁶. Цели Кожинова, побуждавшие критика к подобной аргументации, состояли не только в том, чтобы бросить очередную порцию упреков по мировоззренческой части, опровергнуть значимость конкретной новой повести, этапной для Трифонова, но и в том, чтобы внедрить в читательские души сомнения по части нравственного облика Трифонова.

Обусловлен был выход подобной статьи, впрочем, не только индивидуальной позицией критика. Немалую роль в этом случае играли и задачи литературно-идеологического направления, которое Кожинов возглавлял, — сообщества радикальных русских почвенников. Идеологизированная риторика этой среды, заключавшаяся и в угрюмом витийстве о пагубном воздействии городской культуры на органические устои народной жизни, и в измышлениях (отдававших порой даже чем-то вроде... охотничьих, черносотенных установок предреволюционных лет) по поводу засилья инородцев в российской словесности, нужна была для достижения куда более заветной цели: сознательного, методичного развенчания и ее системы ценностей.

К «прогрессивному человечеству» Кожинов формально не был причастен. Вместе с тем, неформальные контакты с этой средой у критика были, и он охотно козырял ими в качестве полемического приема, помогавшего обескураживать иных либеральных оппонентов в дискуссиях позднейшей, перестроечной эпохи.

Оговорим, вместе с тем, что, при всем своем драматизме, подобный поворот носил характер вполне закономерный. Равно как и любое нежелание вникнуть, почувствовать и понять точку зрения, не согласующуюся с теми или иными идеологическими стереотипами — вне зависимости от того, исходят ли они от официальных государственных кругов, или от стадных сообществ, ориентированных на оппозиционную волну.

Никоим образом, однако, подобный расклад не мог повлиять на принципиальную позицию Юрия Трифонова. На его решительную неготовность к тому, чтобы в угоду каким-либо силам и тенденциям поступаться своим необщим выражением лица — творческого и человеческого. На неизменное сочувствие писателя тем, кто — подобно историку Сергею Троицкому из повести «Другая жизнь» или главным героям романа «Время и место» — сумел сберечь подлинную внутреннюю свободу, какими бы внешними житейскими поражениями это ни было чревато. На волю писателя к неустанному выявлению болевых точек окружающей действительности и общественного сознания. На последовательный отказ Трифонова давать универсальные, годные абсолютно всем, рецепты по преодолению «застойного» удущья. И — на такое же последовательное стремление к поддержке тех, кто, силясь превозмочь эпохальную нехватку кислорода, искал на этом поприще свой честный и самостоятельный путь.

15 . . . : Чехов А.П.

16

Иванова Наталья.

11. — .: , 1956. . 429.

. . 25–26, 232–235).

(.:

Ольга Тангян

Немецкие акценты у Юрия Трифонова

Юрий Трифонов. Опрокинутый дом

Разносторонней образованностью и даже склонностью к литературе Юрий Трифонов был в первую очередь обязан матери — Евгении Лурье. Когда Юрий родился, ей исполнилось двадцать лет. Она была на шестнадцать лет моложе своего мужа, профессионального революционера Валентина Трифонова. Мать занималась гуманитарным развитием детей — Юрия и его младшей сестры Татьяны. С ней Юрий учился грамоте, а в школу пошел сразу во второй класс. Он много читал, прекрасно рисовал, посещал с матерью театры и музеи. Она первая распознала его литературные способности, вначале подтолкнула его к ведению дневников, затем к писанию рассказов.

Евгения Лурье сама увлекалась литературой и сочиняла стихи. В детстве она даже заявляла своей матери Татьяне Словатинской, что станет поэтом. Правда, по настоянию мужа, который был для нее непререкаемым авторитетом, она выучилась на зоотехника, что в те годы считалось нужной для страны профессией. На самом деле больше всего эта профессия ей пригодилась после ареста мужа в 1938 году, когда она оказалась в Карагандинском исправительно-трудовом лагере (Карлаг), где отвечала за разведение овец. Однако от литературной деятельности она и там не отказалась. Из письма из Карлага от 1 ноября 1943 года:

Мамочка, помнишь, ты когда-то дома подсмеивалась надо мной в раннем детстве, пророчила быть поэтессой. Поэтесса не вышла, вышел зоотехник, но литературным творчеством я, несомненно, слегка тронута¹.

В лагере она писала шуточные стихи и юмористические скетчи для стенгазеты. После освобождения сочиняла смешные рассказы для радио, которые читала Рина Зеленая. Ее отличало своеобразное чувство юмора, что передалось сыну.

В тяжелых условиях, в которых находились заключенные женщины, чувство юмора было особенно востребовано. В основном это была грустная ирония, как в четверостишии Евгении Лурье, которое помнил весь женский лагерь:

Точка 36²
Скоро будет пустая
Вопрос жен
Почти разрешен.

1 . . . Долгая жизнь в России. . . , 2008. . 181.

2 « 36»

От автора | Статья о роли немецкого языка и немецкой литературы в жизни Юрия Трифонова написана дочерью писателя, проживающей в настоящее время в Дюссельдорфе, где родился Генрих Гейне, к чьим произведениям писатель часто обращался.

Письма Евгении Лурье из лагеря тоже были не вполне серьезными, она старалась посмеиваться над тем, что ее окружало, не принимать всерьез драматизм ситуации, не огорчать своих близких. О том, как соседки из уголовного мира украли у нее столь необходимые в суровом климате теплые вещи, и о том, что от цинги выпали зубы, она просто написала матери:

Что мне особенно жаль — мои соседки с их особым отношением к чужой собственности увели мои шерстяные чулки, которые так меня выручали! Правда, я их достаточно износила...

Я здорова. Рожу у меня красная и загорелая. Седых волос есть порядочно. Зубов повылетало много, так что особенно широко улыбаться не стоит. Но особых поводов для улыбок, да еще широких, нет. Так что, в общем, все в порядке³.

В свое время меня удивляло, что отец почти никогда не произносил слов «мама», «мамочка». Он всегда твердо говорил: «Мать». Так он к ней обращался, к примеру, когда звонил по телефону. Раньше это приветствие казалось мне суховатым, без сантиментов, но теперь понимаю, что ему хотелось выглядеть перед ней сильным.

Помню свою последнюю встречу с бабушкой Женей в больнице, из которой она не вернулась. Она интересовалась моей беременностью, я была тогда на седьмом месяце, ждала свою первую дочь. А я сказала ей о другом: «Бабушка, ты видишь, что из твоего сына получился очень хороший писатель, как ты этого хотела». Наверное, я так сказала, поскольку чувствовала, что это было для нее очень важно. Ведь это была и ее победа.

Действительно, Евгения Лурье всячески способствовала литературным занятиям сына. Даже из лагеря она писала своей матери письма с просьбой «позаботиться о том, чтобы способности Горика⁴ не пропали»⁵. И позже, когда она вернулась из лагеря, а сын только начинал свой литературный путь, она как могла поддерживала его морально и материально. Тогда он работал над своим первым романом

(1950), за который был награжден Сталинской премией. Трифонов вспоминал об этом:

Ведь никто в целом свете, кроме, может быть, матери и в какой-то степени сестры, которая, однако, тоже проявляла временами нестойкость, не верил в то, что это случится...

Антипов почти ничего не зарабатывал — изредка писал кое-что для спортивного журнальчика... — но мать и сестра старались изо всей мочи, чтобы он не отвлекался и спокойно делал свое дело. Они горячо верили в его дело. Даже больше, чем он сам⁶.

Евгения Лурье придавала большое значение знанию иностранных языков. Познакомившись в Москве с настоящей немкой, она пригласила ее жить в своем доме при условии, что та ежедневно будет разговаривать с детьми — Юрием и Татьяной — на немецком языке. В то время подобная система обучения детей в культурных семьях была достаточно распространенной, и многие учили своих детей немецкому языку, приглашая немцев в качестве домашних учителей.

Россия была тесно связана с Германией еще до революции, и не только многочисленными династическими браками. В XVIII веке Екатерина Вторая пригласила в

3 . . . Долгая жизнь в России. . . , 2008. . 165.

4 () — Возвращение Игоря Исчезновение.

5 . . . Исчезновение. . . . Дом на набережной. Время и место. . . , 2000. . 193.

6 . . . Время и место. . . . Собрание сочинений в 4-х томах, . 4. . . , 1986. . 378, 384.

Россию немецких крестьян, чтобы модернизировать сельское хозяйство, и ученых, чтобы развивать науки и составить грамматику русского языка, которая после этого приобрела немецкие и латинские черты. После же революции Германия стала восприниматься как родина научного коммунизма и как перспективный экономический партнер. Поэтому в конце 1920-х — начале 30-х годов именно немецкий был первым иностранным языком в СССР. Домашних учительниц, в чем-то напоминавших дореволюционных гувернанток, находили по знакомству или через биржу труда. В рассказе Трифонов так вспоминает свою немецкую наставницу:

Еще бы он не помнил Марии Адольфовны! У нее были добрые, овечьи глаза, всегда немного слезящиеся, длинные пальцы, длинное лицо, сама была длинная, сутулая. «Hände waschen, Zähne putzen, schlafen»⁷. Она была настоящая немка из Гамбурга...⁸

Немецкая учительница угадывается также и в образе Юлии Михайловны — жены Ганчука и матери Сони из повести . Ее чисто немецкая бескомпромиссность усилена использованием немецких слов:

Могла спорить и настаивать на своем bis zum Schluß⁹, вплоть до сердечного приступа¹⁰.

Примечательно, что Трифонов, обычно избегавший моральных оценок, делает исключение именно прямолинейной немке. Когда описываемая в повести ситуация оборачивается самым неприглядным образом и Глебов отворачивается как от своего профессора Ганчука, так и от возлюбленной Сони, Юлия Михайловна замечает, опять-таки с использованием немецкого:

Здесь как-то темно, не правда ли? Надо зажигать свет. «Mehr Licht»¹¹, — как сказал Гете перед смертью¹².

А вот одна из забавных историй детства Трифонова, связанная с его лучшим по сравнению с другими детьми знанием иностранного языка:

Как-то на уроке немецкого языка вместо того, чтобы просто поднять руку и попросить у учительницы разрешения выйти, Горик обратился к ней с длинной немецкой фразой: «Erlauben Sie mir bitte gehen dorthin wohin der Kaiser zu Fuß geht»¹³. Класс затих. Никто ни шиша не понял. Учительница кивнула, и он гордо вышел. Конечно, он знал немецкий намного лучше всех в классе потому, что третий год занимался с Марией Адольфовной. Когда он вернулся, его встретили злобным хохотом. «Ну как? Все в порядке? Донес? — кричал Володька Сапог. — Успел?» Пока Горик отсутствовал, учительница, разумеется, объяснила его вопрос; но это восприняли — не как изысканную аристократическую шутку, на что Горик рассчитывал, а как грубую похвальбу, и немедленно отомстили¹⁴.

7 . . . (нем.).

8 . . . Возвращение Игоря. . . . Избранные произведения в двух томах, . 1. . . . , 1978. . 248.

9 (нем.).

10 . . . Дом на набережной. . . . Дом на набережной. Время и место. . . . , 2000. . 69.

11 (нем.).

12 . . . Дом на набережной, . . 150.

13 . . . (нем.).

14 . . . Исчезновение. . . . Дом на набережной. Время и место. . . . , 2000. . 221–222.

А когда я спросил его, что должно означать лесное болото во сне его героини в конце *Другой жизни* — то болото, что преграждает ей путь к большаку в «другой жизни», он сказал: «Ты же немец, знаток Гете. Разве ты не помнишь:

Болото тянется вдоль гор,
Губя работы наши вчуже.
Но чтоб очистить весь простор,
Я воду отведу из лужи».

...У Гете «болото», «лужа» перекликаются с той «магией», которая в конечном счете стремилась совратить Фауста с его пути. Для Трифонова «магия» всегда была тем самым «иррациональным» в живой жизни, о котором мы с ним так долго говорили и которое он хотел сделать своими произведениями наглядно-реалистичским и поднятым на уровень художественного...¹⁶

Приобщившись к немецкой литературе, Трифонов перенял элементы ее романтизма: ассоциативность, трагичный эмоциональный настрой и некоторую мистику. В его произведениях есть привидившиеся встречи, сновидения, спиритические сеансы, даже связи с потусторонним миром (). Эти особенности немецкого романтизма, даже если они не прописаны явно, проступают во взгляде на мир, историю, события, которые, по Трифонову, связаны друг с другом невидимыми нитями. Такой взгляд проявился в его спортивных очерках, где описания соревнований перемежаются отступлениями, далекими от спортивной тематики и содержащими размышления о истории и культуре.

* * *

Отличное знание немецкого языка и приличное владение английским позволили Трифонову в 1950–1960-е годы работать в качестве спортивного корреспондента на многих международных соревнованиях. В то время поездки за рубеж были привилегией избранных. У Трифонова имелись благоприятные предпосылки, чтобы попасть в их круг — литературная известность, знание иностранных языков, любовь к спорту. Тогда спортивная журналистика являлась для него жизненной необходимостью. После первого романа (1950) он долго не публиковал крупные произведения, а зарабатывал очерками и репортажами. Они печатались в газе-

т. Государственный контроль в спортивных изданиях был менее строгим, чем в других изданиях. Поэтому редактору , а затем

Николаю Тарасову удалось собрать вокруг себя группу молодых и талантливых авторов, предоставив им относительную свободу самовыражения. Он первый опубликовал стихотворение шестнадцатилетнего Евгения Евтушенко, открыл для читателей талант Юрия Казакова, напечатал поэму Андрея Вознесенского. Его долго связывали дружеские и рабочие контакты с Трифоновым, который многие годы являлся членом редколлегии журнала и ушел в знак протеста, когда Николай Тарасов был уволен с поста главного редактора.

Зарубежные поездки дали Трифонову материал для его будущих книг. Его интересовали не только результаты спортивных игр, но и способности человека выстоять и победить в трудных условиях. Он изучал психологию спортсменов, стараясь разгадать секрет их побед и поражений. Его самого занимал вопрос, как выстоять и победить. Надо сказать, что эту сложную задачу он решал неплохо. Возможно, руководствуясь примером успешных спортсменов.

¹⁶ . Лит. обозрение, 1987. 8. . Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества 1925–1981. , 1997. . 509.

В спортивных репортажах Трифонов стал впервые свободно использовать немецкие выражения. Читатели воспринимали их легко, поскольку после войны немецкий оставался у многих на слуху. Трифонов пользовался языком достаточно естественно, используя выразительные обороты:

У немцев есть выражение: «со звериной серьезностью». Так вот, во многих странах начали готовиться к олимпиадам и чемпионатам «со звериной серьезностью»¹⁷.

Обычно выражение «tierisch ernst» имеет иронично-негативный оттенок, что и передал в своем комментарии Трифонов. В другом месте он писал:

Местные газеты насмешливо называли местную сборную «пругелькнабе», что значит «мальчик для битья»¹⁸.

Действительно, сложное слово «Prügelknabe» составлено из двух: «prügeln» — «бить» и «Кнабе» — «мальчик». Трифонов дал буквальный перевод понятия — «мальчик для битья», которое близко к русскому «козел отпущения».

В спортивных очерках Трифонов разработал и другой прием — связывание нескольких разнородных планов в одно повествование. Например, он описал отголоски сравнительно недавних военных событий в Германии и Австрии, где еще оставались сочувствующие национал-социализму. Во время IX зимних Олимпийских игр в Инсбруке (29 января — 9 февраля 1964 года) советских журналистов поселили в пригородном отеле. Его владелец не симпатизировал русским и потому обращался к ним только с двумя фразами: «Доброе утро» и «Хотите позвонить?»:

Господин Байэр старался с нами не общаться. Мы чувствовали, что все двенадцать дней он живет в напряжении. Он делал над собой усилие, чтобы сказать нам «морген» или «волен зи цу телефон?»¹⁹.

Причину нелюбезности хозяина отеля Трифонов вскоре обнаружил. Многие не хотели вспоминать поражение в войне и приветствовать победителей:

В гостиной отеля я нашел три толстых переплетенных в кожу фолианта: это были «гестебюхер», то, что у нас называется «книга отзывов»...

Мне не терпелось дойти до фатальных времен: вот приход Гитлера, вот аншлюс, вот начало войны... Что за черт? Все те же стихи о природе, о милых девушках, о шампанском. Только где-то в начале сорок первого мелькнула запись: «Alles wagen, England schlagen!», то есть «Рискнуть всем, побить Англию!»²⁰.

С другой стороны, Трифонов обнаруживал в местных жителях равнодушие к собственной истории, ограниченность интересов. Их не занимали ни война, ни спорт, ни искусство. В Австрии подобных обывателей называли «Травничеками».

В очерке Трифонов объяснил, откуда взялось имя Травничек и чем отличаются эти бюргеры, говорящие на местном диалекте. К слову сказать, Травничеков можно встретить и в современной Германии. Наиболее популярные у них темы: отпуск и дороговизна. Обычно они оценивают ту или иную страну в зависимости не от достопримечательностей, а от цен на туристские услуги:

17 . . . Сотворение кумиров. .: . . . Бесконечные игры. .: . . . , 1989. . 431.

18 . . . Из австрийского дневника. . . 406.

19 . . . 409.

20 . . . 409.

Я не знал, кто такой Травничек, спросил, мне объяснили: венский Травничек — примерно то же, что берлинский Михель, неумирающий господин, больше всего на свете он любит швахатское пиво и шницель по-венски. Когда Травничек путешествует (у него иногда водятся деньги), он оценивает страны и города по тому, как там варят пиво и делают венский шницель. Травничек говорит на таком дьявольском диалекте, что понять его бывает невозможно.

В очерке «Травничек и хоккей» (1967, Вена, куда Трифонов был командирован на чемпионат мира по хоккею) рассказывается о посещении концлагеря Маутхаузен и о беседах с таким Травничеком — местным бюргером по имени Руди, водителем экскурсионного автобуса:

Последний раз я огляделся с вершины, увидел то, что видели тысячи «хэфтлингов»²¹, выходя по утрам на работу из лагерных ворот: бескрайний простор долины, дороги, луга, горы, весь этот ясный и вечный мир, который обнимал их, прощаясь с ними.

Руди, заложив руки за спину, расхаживал внизу около автобуса. Он так и не поднялся наверх. «Да, да, я знаю. Das war eine Katastrophe. Это была катастрофа... — говорил он, покачивая своей большой головой. — Это была настоящая катастрофа. Но мы опаздываем на обед...»²².

А вот так венский Травничек, который, ко всему прочему, чудовищно коверкал слова, оценивал искусство:

Возле музея искусства XX века Руди остается в автобусе. «Руди, идемте с нами!» Лукаво улыбаясь, он покачивает головой: «O, nein! Dort sind die verriickte Dinge!» («Там есть сумасшедшие вещи»). Вид у него такой, будто он всех перехитрил: идите, идите, а я уж не пойду, не на таковского напали. Но и возле Музея истории искусств на площади Марии-Терезии, где Рембрандт, Ван-Дейк, Брейгель, Руди не собирается выходить из автобуса. «Да, да, все правильно. Здесь есть прекрасные вещи. Die fantastische Dinge»²³. Я знаю. Я был здесь в пятьдесят четвертом году»²⁴.

Свои корреспонденции Трифонов любил оживлять сообщениями о том, что писали местные или «желтые» газеты. Читателям было интересно, ведь живая информация из западных стран поступала редко. К тому же любые ссылки на подобные публикации воспринималась как политическая вольность. Порою в репортажах угадывалась бравада молодого автора, который нашел оригинальный способ обойти цензуру:

Я вышел... и на углу Ротертурмштрассе и набережной купил вечерний «Экспресс». Двадцатитрехлетний итальянец Скамбронне в припадке ревности стрелял в свою невесту, австрийку, на улице Вены, но убил не ее, а двух случайных прохожих, двух тяжело ранил и тут же на улице застрелил себя. Вчера он приехал на автомобиле из Италии, узнав, что невеста изменила ему. На первой полосе была фотография женщины, сидит, закрыв руками лицо... Снова слухи о том, что Мартин Борман жив, возглавляет тайную нацистскую организацию в Бразилии. Доктор Визенталь, тот самый, что организовал поимку Эйхмана, вылетел из Вены в Нью-Йорк...²⁵

21 *Haftling* (нем.) —

22 . . Травничек и хоккей. .: . . Бесконечные игры. .: ., 1989. . 423.

23 (нем.).

24 . . 411.

25 . . 416–417.

Непривычным для спортивной журналистики было описание фильмов, которые показывали в Вене в 1967 году. На самом деле Трифонов любил кино. В середине 1960-х годов в Москве постоянно шли закрытые показы итальянских фильмов Антониони, Феллини, других западных режиссеров. Мои родители часто ходили на эти просмотры в ЦДЛ. Неудивительно, что увиденный в Вене фильм был описан отцом столь подробно:

В кинотеатре «Табор» на Таборштрассе, рядом с нашим отелем, идет фильм «Профессор Гольдфут и его бикини-машина». Фильм новый, его рекламируют в Штадт-халле в перерывах между периодами хоккея. «Профессор Гольдфут! Девушки в бикини управляют по радио! Вы получите истинное наслаждение...» Суть вот в чем: некий профессор изобрел машину, которая штампует юных красоток в трусиках-бикини. Красотки в готовом виде, лежа на противне, катящемся по рельсам, выезжают из жерла громадной печи, подобно только что испеченным булкам. Девушки полны очарования, но они лишь роботы. Машины любви. Они подчиняются приказам, которые отдает профессор Гольдфут по радио. Профессор выглядит явным сумасшедшим, у него безумные глаза, сатанинский хохот, но идеи, обуревающие его, вполне реалистические: девушки по его приказу влюбляют в себя богатых людей, женят на себе и заставляют переписывать на свое имя все состояние, которое затем переходит профессору Гольдфуту. Каким образом происходит эта последняя операция, не совсем ясно, но это и не важно, важна идея: машины любви превращаются в машины, добывающие золото...

И, однако, что-то было в этой дурацкой «бикини-машине» нестерпимо печальное. Я почувствовал это не сразу. Ощущение беспредельной «механизации», от которой нельзя защититься и некуда спрятаться, охватило внезапно, как приступ тоски²⁶.

Рассказ Трифонов (1964) был навеян поездкой по Италии в 1960 году, когда он был командирован в Рим на XVII летние Олимпийские игры. Начинался рассказ историческими рассуждениями и воспоминаниями, никак не связанными со спортивными играми:

Древняя Аппиева дорога, та самая, знаменитая «Via Appia», построенная Аппием Клавдием две тысячи триста лет назад, мощенная камнем от Рима до Капуи, и, может быть, единственная в мире сохранившаяся до наших дней дорога древности, шла все время справа от автострады. Сквозь стекло автобуса я пытался разглядеть развалины гробниц и храмов на ее обочинах, но почти ничего не видел. Иногда мелькало на горизонте что-то похожее на развалины, но, возможно, это были купы деревьев. Слева возникал на экране синего неба и вдруг исчезал скелет гигантского полуобрушенного акведука...

Это были остатки фундаментов когда-то великолепных зданий. Все они давно разрушились временем, но дорога еще живет. Она сохранилась так же, как эта земля, холмистая, рыжая, в лиловых подпалинах осени. Сколько колесниц гремело по этим камням! По ним ехал несчастный поэт²⁷, изгнанный из Рима загадочным гневом императора. Эти лиловые холмы провожали колесницу поэта, и он смотрел на них с болью, но без отчаяния, еще веря в то, что он вернется, не зная того, что он прощается с ними навсегда...

Я помню, как в шестом или пятом классе, когда я увлекался «Спартакoм» Джованьоли, я нарисовал акварельными красками эту дорогу, и по странной случайности рисунок сохранился до сих пор. Ничто не сохранилось из моих школьных рисунков, тетрадей и дневников, а этот рисунок цел. Как будто я знал тогда, что через четверть века увижу эту дорогу и сравню ее с той, воображаемой, которую

я когда-то рисовал, и поражусь ее небольшой ширине, ее тихой невзрачности и какому-то глубокому неземному спокойствию, каким обладают только моря и кладбища²⁸.

Во французских спортивных репортажах Трифонов пользовался той же многоплановостью и употреблял французские слова, хотя языком и не владел. Зато ему была знакома французская литература, он разбирался в истории и географии страны. В конце концов, он немного знал английский язык, на котором всегда мог объясниться. А спортивные законы и человеческие типажи везде схожи. Поэтому, находясь в феврале 1968 года на X Олимпийских играх в Гренобле, он быстро научился понимать французов и стал вставлять в свои тексты французские словечки:

Хоккей для французов почти экзотическая игра. Французы любят свой «буль» — игру в шары, любят футбол, а из зимних видов на первом месте горнолыжный спорт: нет ничего очаровательнее летящей с горы девушки в элегантных брюках цвета электрик и в белом или ярко-красном свитере с эмблемой клуба на плече! Французам главное, чтобы — «тре жоли!». Очень красиво! Слалом, горный спуск, фигурное катание — «тре жоли». Лыжный кросс или скоростной бег на коньках совсем не «тре жоли». Пускай этой нудной лошадиной работой занимаются сумрачные финны и упорные норвежцы²⁹.

Иногда Трифонов передавал на языке целые диалоги латинскими буквами. Во время поездки по окрестностям Гренобля друг Трифонова подсадил в свой «Рено» случайного пассажира по имени Марсель. Они разговорились, и тот спросил их:

— Vous etez les Polonais?³⁰ — спросил Марсель, обернувшись к нам.

— Oui! — ответил Петр Александрович и добавил по-русски: — Какая разница³¹.

В репортаже из Гренобля Трифонов много писал об истории и культуре Франции. Он упоминал, что в окрестностях Гренобля находились остатки замка XV века последнего «рыцаря без страха и упрека» Баярда, что в Гренобле родился Стендаль, а неподалеку в городе Шамони в 1924 году проводились первые зимние Олимпийские игры. Он описал, причем с большой долей юмора, современную скульптуру в центре города, против которой протестовали местные жители. С полным пониманием он отнесся к оригинальной, не похожей на московский балет, постановке Мориса Бежара. Рассказал о выставке картины Сальвадора Дали «Ловля тунца», которую тот приурочил к открытию Олимпиады. И о выступлении в мюзик-холле «Олимпик» «идола французской молодежи» певца Джонни Холлидея. Кстати, певец любим французами и поныне. Когда, несмотря на свой возраст, Холлидей выступает перед публикой, он, как и прежде, собирает громадные залы.

Очевидно, Трифонов хотел писать не только о спорте, который он любил и понимал, но и о стране, которую посещал. Старался передать живую атмосферу, воспроизвести характерные детали облика и характера легкомысленных французов, сделать свой рассказ более увлекательным и художественным.

Отец не мог тогда предположить, что его дочь с мужем и тремя детьми в начале 1990-х проведут два года в Гренобле. Этот чудесный старинный город расположен в долине между горными массивами Альп. Окрестности города славятся своими зимними курортами, лыжными станциями. После зимних каникул молодые люди часто хромают и расхаживают по городу на костылях. Лыжный спорт вызывает много травм.

28 Воспоминание о Дженцано. : Бесконечные игры. : 1989. 393–395.

29 Сотворение кумиров. : 434.

30 « — ?» (фр.).

31 439.

Они любили друг друга так долго и нежно.
 С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
 Но, как враги, избегали признанья и встречи,
 И были пусты и хладны их краткие речи.
 Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
 И милый образ во сне лишь порою видали, —
 И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
 Но в мире ином друг друга они не узнали.

(пер. М.Ю. Лермонтова)³⁴

Последняя строчка использована в очерке из Гренобля (1968). Трифонов писал, что канадцы, потомки французов, оторвались от них, став больше американцами. И здесь он приводил цитату, которая не вполне адекватна сюжету, но соответствовала его эмоциональному настрою:

Две ветви одного ствола, уходящего корнями в столетия. Но как много их теперь разделяет! Вспоминается строчка Гейне: «И в мире ином друг друга они не узнали»³⁵.

В своей наиболее мистической повести Трифонов описывал, как один супруг умирал, а другой вспоминал их совместную жизнь и, испытывая чувство вины и неловкости, все же со временем начинал новую жизнь, становясь другим человеком. В каком-то смысле перекликается с приведенным стихотворением Гейне о разошедшихся путях возлюбленных, об их изменениях до неузнаваемости. «Другая жизнь» у Трифонова — это «иной мир» у Гейне.

В последнем романе Трифонов дважды возвращался к теме расставания возлюбленных, но совсем при других обстоятельствах. Та же строка из Гейне относилась к распаду его брака с Аллой Пастуховой³⁶:

Он упорно молчал. Он понимал, что молчанием добивает ее, но язык не повиновался, существенных мыслей не было, в голове вертелись строчки: «Но в мире ином друг друга они не узнали». Таня обернулась, он увидел плоское измученное лицо...

Таня не понимала, как он изменился за годы, и от непонимания шла беда. От непонимания была сухость во рту³⁷.

К тому же периоду жизни с Аллой Пастуховой относилось описание переезда супругов в новый дом, после чего старые отношения окончательно заходили в тупик:

Мокрый снег плыл по стеклу, внизу дробились и трепетали огни, все было серосиним, черным, немилым, чужим. Говорили, что в доме напротив в первом этаже скоро откроют булочную... Все время вертелись строчки: «Но в мире ином друг друга они не узнали»³⁸.

34 . . . Они любили друг друга так долго и нежно... Лирика. . . 91.

35 . . . Сотворение кумиров. . . . Бесконечные игры. . . .
 , 1989. . 434.

36 — 1968–1979 ,
 « ,
 Нетерпение (1973).

37 . . . Время и место. Собрание сочинений в 4-х томах, . 4.
 . . . , 1987. . 449–50, 459–60.

38 . . . 445.

В полной мере Трифонов отдал дань романтизму Гейне с его «иным миром» в заключении романа . Его концовка — обособленный абзац, не связанный с предыдущим повествованием, в котором не говорится, о ком и о чем идет речь. Можно только догадываться:

Он сказал: «Давай встретимся на Тверском. У меня кончится семинар, я выйду из института часов в шесть...» И вот он идет, помахивая портфелем, большой, знакомый, нестерпимо старый, с клочками седых волос из-под кроличьей шапки, и спрашивает: «Это ты?» — «Ну да», — говорю я, мы обнимаемся, бредем на бульвар, где-то садимся. Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения³⁹.

Тверской бульвар был для Трифонова особым местом. Там провел он с родителями первые годы жизни. На Тверском находился Литинститут, где сначала он учился, затем преподавал. На бульваре назначались многие встречи. Теперь же «Некто» и Трифонов встретились, узнали друг друга, несмотря на то что оба стали другими. Они обнялись, сели на скамейку. «Некто» мог быть и его матерью, и женой Ниной Нелиной, и его «вторым Я». Им было что рассказать друг другу. Ведь они «пересекли лес», то есть прожили жизнь. «Лес» у Трифонова часто служил метафорой «жизни». Теперь они могли спокойным взглядом окинуть прожитую жизнь, оценить ее задним числом. Если там были ошибки и заблуждения, то теперь это не играло уже никакой роли.

«Некто» мог быть и другом Трифонова — известным переводчиком с немецкого языка и публицистом Львом Гинзбургом, который тоже с детства был увлечен творчеством Гейне. Еще в школе он написал стихотворение о поэте и был влюблен в девочку, которая своей холодностью напоминала ему безжалостную Лорелею из известной баллады Гейне. Он несколько раз пытался переводить его стихи, но не был удовлетворен результатами. В качестве названия для своего автобиографического романа Гинзбург использовал заключительную строку из позднего стихотворения Гейне *Enfant perdu*: «Разбилось лишь сердце мое» («Nur mein Herz brach»).

Гинзбург был очень близок Трифонову. Отец ценил живой, саркастический ум своего друга, его эрудицию. Он всегда смеялся его шуткам. У них были общие интересы, имелись параллели в биографиях. Например, в детстве Гинзбург тоже осваивал немецкий язык с живущей в семье немкой:

Как становятся германистом? ...Когда мне было пять лет, в 1926 году, в нашей семье поселилась Иоганна Андреевна Прам, немка, одна из тех «немок», которые водили по бульварам тогдашней Москвы группы детей. ...От Анни я узнал множество немецких песен, песенок, немецких стишков, сказок, детских, наивных, которые спустя долгие десятилетия вернулись ко мне в виде немецкого фольклора... Анни пробудила во мне «немецкое начало», задела в моей душе какую-то немецкую струну, все остальное пришло потом⁴⁰.

Так же, как и отец, Гинзбург интересовался психологией немцев, переживших национал-социализм. На эту тему он написал несколько документальных повестей о здравствующих деятелях Третьего рейха. Название одной из них —

— перекликалось со стихотворением Гейне, которое цитировал Трифонов.

В рассказе . . . отец вспоминал свое возвращение из двухмесячной поездки в Америку, иллюстрируя взаимопонимание с Гинзбургом их последующим разговором:

39 . . . 518.

40 . . . Разбилось лишь сердце мое... Роман-эссе, 1985.

http://royallib.com/read/ginzburg_lev/razbilos_lich_serditse_moe_roman_esse.html#143360 . 7–8.

Сергей Чупринин

Попутное чтение

Лев Симкин. *Завтрак юриста: Занимательные истории из прошедшего и не прошедшего времени / Предисловие Дениса Драгунского.* — М.: Зебра Е, 2015.

В Литинституте не обучался. В кружки начинающих гениев не ходил. В совещаниях молодых писателей не участвовал. Отделы прозы литературных журналов плодами своих бессонных ночей не отягощал. Но нырнул в Фейсбук — сначала с лайками, с комментариями, потом, слово за слово, одну новеллу сочинил, другую — и вынырнул...

Да, да, писателем, как уверен представляющий эту книгу Денис Драгунский, чуть раньше прошедший путь от рядового необученного блогера до публичной знаменитости, которой и в России нынче аплодируют, и за границей.

Сам Лев Симкин в этом, похоже, пока еще не так уверен. Юриспруденция — это его, публицистика и исторические разыскания тоже, а вот собственно Литература...

Я не о вымысле — он не так обязателен. Я о том, что былое, а оно в книге Льва Симкина представлено ярко, картинно и убеждающее точно, становится событием литературы тогда, когда оно насквозь просвечено авторской рефлексией. Думами, фигурально выражаясь, и вот перед ними наш рассказчик, действительно искусный, пока что часто тормозит. Полагаю, не столько из-за нежелания повернуть глаза зрчками в душу, сколько из скромности. Стоит ли, мол, о себе, многогрешном, когда можно и такой вот еще чудесной историей про то, что было с бойцами или страной, развлечь фейсбучную публику, и этакой?

Не сомневайтесь, уважаемый Лев Семенович, стоит и очень даже стоит!

Иван Есаулов. *Постсоветские мифологии: Структуры повседневности.* — М.: Академика, 2015.

И вот еще зачем люди приходят в Фейсбук — чтобы вступить в диалог не только со «своими», настроенными по тому же, что у тебя, эмоциональному и смысловому камертону, но и с «чужими».

Как сердцу высказать себя — каждый из нас так ли, иначе ли решит. А вот другому как понять тебя — тайна тайн.

В том числе для профессора Ивана Есаулова, прошедшего путь от книги о Бабеле, написанной в соавторстве с Галиной Андреевной Белой, до трудов про соборность, мистику и пасхальность (sic!) в русской словесности. Убежденный антисоветчик и антикоммунист, он и к нынешней российской реальности относится с отвращением — во-первых, потому что «в РФ так вполне и не состоялась необходимая десоветизация». Во-вторых же, «потому что и нынешние совпатриоты, и те, кто самоназвались «либералами», вышли из одной большевицкой шинели».

Что ж, с первым тезисом трудно не согласиться — нюрнбергский процесс над коммунокрацией был, увы, только анонсирован, но не осуществлен. А вот касаясь второго нужны доказательства, не правда ли? И, разбирая их, с некоторым изумлением обнаруживаешь, что к «совпатриотизму», на наших глазах занявшему вакантное место национальной идеи, профессор И. Есаулов вроде как бы даже и снисходителен. Если поминает, то исключительно в общем виде, без имен и ссылок, не отягощая себя полемикой.

И не то, совсем не то с пресловутыми либералами — «новиопы», «последыши Троцкого», «плебеи», «хамы», «шулеры», «ничтожества», «разбойники с большой дороги»...

И за каждым таким погонялом конкретные фамилии людей, одни из которых действительно виновны в том, что без одобрения отозвались об очередном сочинении г-на профессора (т.е. написали «большевицкий по духу донос на меня...»), а другие привлечены за компанию, ввиду того что они не разделяют ни господствующего в обществе тренда, ни воззрений И. Есаулова на прошлое, настоящее и будущее России.

Так книга, родившаяся из фейсбучных постов, и идет. От призывов к диалогу — к пометке, что нет, мол, «у меня никакой надежды усовестить вас». От декларации про то, что «этническое ядро» либеральной среды для него «вторично», — к подробному, как и заведено со времен борьбы с космополитами, исчислению подозрительно звучащих фамилий, отчества и псевдонимов своих оппонентов. От заявления: «...Я не принадлежу ни к одному из сколько-нибудь влиятельных постсоветских общественно-политических кланов», — к посильному участию в той «бесогонской» травле, какую по отношению к либералам развязала нынешняя «совпатриотическая» пропаганда.

Какой уж тут диалог?

Леонид Латынин. *Чужая кровь: Бурный финал вялотекущей национальной войны.* — М.: ЭКСМО, 2014.

В статьях о современном литературном процессе и его новых, с позволения сказать, трендах имя Леонида Латынина почти не встречается. И это, воля ваша, как-то даже странно. Ведь письмо качественное, плотное, выверенное с едва ли не избыточной тщательностью, так что редактору, по нашему присловью, делать нечего. И проблематика жжется: чередуя предысторические события с историческими, заглядывая в день завтрашний, романист говорит нам о том, с каким удручающим постоянством и с какой самоубийственной готовностью этнос, населяющий Великую Русскую равнину, из века в век срывается в гражданскую войну всех против всех: хоть язычников с «иноязычниками», то есть христианами, до начала времен, хоть имущих с неимущими столетие назад, хоть (будто бы) чистокровных русаков с четвертушками и осьмушками в будущем, которое, Бог даст, наступит, но, Бог даст, не таким.

Образ русского мира в романе вырастает из праславянской мифологии, что и неудивительно для автора книг о народном искусстве, убитом цивилизацией. А взгляд угрюм, как и положено писателю с философским складом ума. И нет даже просвета в конце туннеля. Ибо как бы ни высоки были помыслы героев романа, как бы ни были они открыты для любви и счастья, всё впустую: «потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах».

Екклезиаст, как и было сказано; глава 3, стих 18.

И, кто знает, не эта ли дохристианская безысходность авторского жизнепонимания стала причиной не услышанности голоса Леонида Латынина? Или, может быть, дело все-таки в том, что писатель сначала обжился в позиции вне литературного контекста, где все связано со всем и все со всеми, а затем и принял ее как единственно для себя возможную?

Кому надо, тот услышит. А остальным незачем.

М. А. Черняк. *Актуальная словесность XXI века: Приглашение к диалогу. Учебное пособие* — М.: Флинта; Наука, 2015.

«Современный литературный процесс рубежа XX–XXI веков заслуживает особого внимания по ряду причин: во-первых...».

Ни один критик *par excellence* так бесстрастно свою книгу не начнет и уж тем более не продолжит. А вот историк литературы и, в особенности, преподаватель высшей школы — запросто. Ведь — в отличие от критика, который чувствует себя как минимум включенным наблюдателем и, соответственно, своим мнением стремится воздействовать на происходящее — он на процесс смотрит со стороны. Не то чтобы добру и злу внимая равнодушно, но без намерения одни писательские репутации разрушить, а другие, наоборот, утвердить. Вот и возникает панорама, где «мас-

совая литература, беллетристика, мидл-литература, литература постмодернизма, использующая язык массовой литературы, и элитарная, экспериментальная литература вместе определяют лицо современного литературного процесса. Очевидно, что без любого из этих звеньев картина истории литературы будет неполной».

Мне симпатично это стремление всем сестрам раздать по сергам, а образ литературного мира выстроить экологически сбалансированным. На двухстах тридцати (всего-то!) страницах уместились сотни писательских имен, благожелательно проаннотированы десятки, многие десятки произведений, и я понимаю, зачем Мария Черняк, время от времени наступая на горло собственному вкусу, это делает. Ей нужно увлечь студентов если не такой книгой, то этакой. Не нравится Татьяна Толстая? Тогда прочтите Елену Колину. Да хоть бы даже Дмитрия Вересова или Нину Силинскую, но только, пожалуйста, прочтите — современная русская литература так избыточна, что в ней каждый сможет найти «своего» писателя. Либо привычным методом тыка, поддавшись рекламе или подслушав у сарафанного радио. Либо перелистав путеводитель, добросовестно подготовленный компетентным профессором Российского педагогического университета имени Герцена.

Есть, правда, ма-а-аленькая проблема: снисходительное прочтение литературного сегодня по горизонтали, где всякая блоха не плоха, подсекает взгляд, учитывающий иерархию имен и талантов, а ее, ура или уввы, еще никому в искусстве отменить не удалось; надеюсь, и не удастся. Так что не будут ли спустя век рекомендации сегодняшних литературных экологов (здесь и я не исключение, и М. А. Черняк тоже) вызывать такую же улыбку, с какой мы сейчас откликаемся на стародавние пассажи типа «В отличие от Бунина, Альбову удалось...» или «Вступая в творческий спор с Антоном Чеховым, Игнатий Потапенко с художественной убедительностью...»?

Для этого век, впрочем, должен пройти.

Давид Самойлов. *Пярнуский альбом / Предисловие Виталия Белобровцева, фотографии и фрагменты дневника Виктора Перельгина — Таллин: Авенариус, 2015.*

Пярну Давида Самойлова: Путеводитель. Стихи / Вступительная статья Аурики Меймре. — Таллин: Авенариус, 2015.

В окно моего друга. Давид Самойлов и Яан Кросс: Стихи и переводы / Вступительные статьи Ирины Белобровцевой и Мярта Вялятага. — Таллин, 2015.

Журнал «Вышгород», 2015, № 4.

В 1976 году Давид Самойлов вместе с семьей осел в Пярну. Помните, конечно же: «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив. / Тревоги и беды от нас отдалив. / А воды и небо приблизив. / Я сделал свой выбор и вызов».

А в начале 1990-х годов новые демократические власти (тоже ведь, конечно, помнится клич: «За нашу и вашу свободу!») семью покойного поэта из Пярну вытеснили.

Прошла четверть века. Межгосударственные отношения России и Эстонии с тех пор не стали лучше. Но взяла свое солидарность людей культуры — и на доме по улице Тооминга, 4, где жил поэт, сегодня мемориальная доска, имя Самойлова включено во все путеводители, а год его 95-летия объявлен в Эстонии юбилейным. И проводятся праздничные вечера, научные конференции, и издаются новые книги поэта, а старые переиздаются.

Делают все это, конечно, бескорыстные энтузиасты, те самые люди культуры. Но не в конфронтации с властями, а при их финансовой поддержке, что и указано на обороте титульного листа каждой из книг, пополнивших в этом году самойловиану. Да и журнал «Вышгород», весь очередной номер которого отдан юбилейным публикациям, давно бы, поди, загнулся, не помогай ему — хоть и скупо, конечно, но все-таки — Министерство культуры Эстонской Республики и фонд «Капитал культуры».

Выразительная история, не правда ли?

Как выразительно и то, что в проекте «Юбилейный год Давида Самойлова» российские официальные институции не участвуют совсем.

Алексей Конаков

Критики о non-fiction в журналах первой половины 2015 года

Владимир Аверин. Снимок в движении (Литература, № 57)

Владимир Аверин на портале «Литература» пишет о книге Дмитрия Бака «Сто поэтов начала столетия. Пособие по современной русской поэзии». Рецензия выглядит весьма почтительной и, вероятно, такая почтительность свидетельствует о принципиальном согласии Аверина с методом Бака: дать панораму поэзии в виде (прежде всего) собрания людей, а не собрания текстов. И, вероятно, именно слово «собрание» является здесь ключевым. Отдельные эссе наконец-то объединены Баком в книгу, и, разумеется, напрашивается мысль о необходимости как-то оценить и описать эффект, достигаемый в результате такого объединения. Владимир Аверин это и старается сделать, отмечая, например, что «Сто поэтов представлены в алфавитном порядке, что также отрицает любую иерархию: горизонтальный срез, все равны, никакого разделения по школам, направлениям или особенностям поэтики. Так, рядом оказываются, к примеру, Белла Ахмадулина и Анна Аркатова. Что дает интересный эффект. Из одного лишь соседства текстов на бумаге между двумя эссе образуются новые смысловые связи». Вероятно, результаты объединения этим далеко не исчерпывается.

Кирилл Корчагин. Биография и мифология Виктора Сосноры (Новый мир, № 2)

Кирилл Корчагин в «Новом Мире» анализирует книгу Вячеслава Овсянникова «Прогулки с Соснорой». Очень вдумчивая, емкая, обстоятельная рецензия, среди прочего дающая возможность Корчагину (на обширном и достаточно богатом материале) представить свое собственное видение личности Виктора Сосноры. По мнению Корчагина, Соснора здесь (как и везде?) играет классическую роль «проклятого поэта», настаивая при этом как на собственной гениальности, так и на принципиальной автономии литературы от «жизни». Помимо этой — самой широкой и общей — канвы, Корчагиным отмечено еще множество интереснейших моментов: любимый Соснорой разговорный жанр «телеги», бросающийся в глаза зазор между «реальной» и «презентуемой» биографиями поэта, внутренние концепции и ; и кроме того — отсылки книги Овсянникова к Эккерману, Кольриджу и Синявскому, известная ее (книги) «рыхлость», почти избыточная ее внимательность к главному герою. Очень любопытным кажется также указание Кириллом Корчагиным на «материалистическую рамку» анализируемого текста — глухоту Виктора Сосноры, неизбежно и неумолимо превращающую разговор двух лиц в тотальный, длящийся, непрерывающийся монолог знаменитого поэта.

Федор Ермошин. Зомбаки Павлова (Октябрь, № 5)

Федор Ермошин в «Октябре» обсуждает книгу Александра Павлова «Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа». Тон этого обсуждения (осуждения?) кажется почти сердитым, а аргументация — чересчур упрощенной. Основной тезис заявлен сразу: «Павлов <...> не до конца определился с задачей. <...> То ли он осмыслитель и идеолог Зоны масскульта, то ли ее обитатель? То ли исследователь хлама, то ли потребитель его?» С таким жестким бинарным противопоставлением нужно спорить, и, по-видимому, именно отказ Павлова от подобного бинаризма (полагаю, вполне сознательный) раздражает Ермошина более всего. Раздражение хорошо заметно даже в (чуть развинченной) лексике рецензента: «своеобразное творчество из хлама», «иногда пошлятина — просто пошлятина», «И становится не хоррорно, а страшно по-настоящему». Что же касается не эмоционального, но теоретического посыла рецензии, то он по-настоящему обескураживает: что может быть сегодня проще, чем третировать гуманитарное исследование, работающее с таким неблагоприятным и опасным материалом, как масскульт, пенять на «ключковость» книги, составленной из разных статей и походя поругивать Жижека?

Сергей Сдобнов. Как работают машины зашумевшего времени? (Colta.ru)

Сергей Сдобнов на Colta.ru представляет книгу Ильи Кукулина «Машины зашумевшего времени. Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры». Пожалуй, у Сдобнова получился один из самых остроумных за последнее время материалов — и по очень важному поводу: выходу объемного исследования о монтажном видении и конструировании мира. К интереснейшей книге Кукулина Сдобнов находит подход, релевантный если не теоретически, то стилистически: монтируя череду эпизодов, перемежая пространные цитаты диалогами с автором. Чтобы представить себе богатство образующегося калейдоскопа, достаточно перечислить названия подразделов рецензии: «Где ты живешь?»? «Эйзенштейн и Гриффит», «Травма: Мандельштам», «1970-е: время? Нет, не слышал», «Случай Тарковского», «Случай Улитина», «Случай Кабакова», «Случай Вс. Некрасова», «2000-е». Умная беседа с автором обеспечивает необходимое напряжение тексту, а умело подобранные фрагменты из книги, чулочная сеточка метонимий, череда мини-обнажений, дразня воображение читателя, вызывает в последнем почти эротическое желание как можно скорее завладеть представленной книгой.

Ольга Балла. К криптоистории русской литературы (НЛО, № 2)

Ольга Балла в «Новом литературном обозрении» рецензирует книгу Олега Юрьева «Писатель как сотоварищ по выживанию: Статьи, эссе и очерки о литературе и не только». Немного странная рецензия, создающая впечатление, будто бы Балла явно боится Юрьева. Испуганное изложение основной идеи («В русской литературной истории, утверждает автор, есть два неравноценных пласта, их двойственность сказывается и по сию пору»), отстраненное перечисление основных персонажей книги (Чурилин, Нельдихен, Зальцман, Петров, Вахтин), очень осторожные, почти отсутствующие, выводы («Это, конечно, не исследовательская позиция. С другой стороны, нам ведь и не обещалась энциклопедически полная картина. Автор не обещал нам даже, что будет выполнять в своей книге собственно исследовательскую работу»). В общем и целом — некоторое количество отчужденной информации, что само по себе хорошо и полезно, но на фоне страстности и предвзятости Юрьева выглядит проявлением почти брезгливости. Речь, разумеется, не об эмоциях (все же научный журнал), но смелого логического развития или сопоставления, новых гипотез, интеллектуального полета — того, к чему очевидно подталкивает читателей книга Юрьева — здесь, пожалуй, не хватает.

р е ц е н з и и**Сквозь призму грез**

Александр Мелихов. *Каменное братство* — М.: АСТ, 2014.

новом романе петербургский прозаик Александр Мелихов в который раз проверяет на персонажах свою теорию грезы, положения которой щедро разбросаны по его публицистике и предыдущим романам.

Писатель вновь обращается к идее о том, что «любить до самозабвения человек способен лишь собственные фантомы — или по крайней мере реальные предметы, преображенные и украшенные фантазией», подчас бросая на алтарь этой любви собственную жизнь и душевный покой.

Человек, по мысли автора, способен жертвовать во имя того, чего нет, что существует лишь в его воображении. А такая любовь и такая жертва неизбежно ведут к краху, разрушению и катастрофе.

Неотвратимость катастрофы — одно из условий любви, потому что греза — идеальная сущность, покоящаяся в метафизике, а реальность развивается в своей безжалостной логике. И сознание человека пытается противостоять этой безжалостности, укрыться в ином мире, рожденном бессознательным проявлением человеческой природы, обращающей реальность в иллюзию. Иллюзию как самообман и спасение от действительности, в результате которой человек испытывает чувства не к реальному объекту, а к его заместителю, совершенно не сознавая этого. Такая любовь плавно перетекает в слепое служение — именно это и произошло с главным героем романа.

Его любовь к жене приобрела черты фанатизма, а сам объект поклонения стал слишком далек от оригинала и совершенно несоотнесим с той женщиной, которую герой когда-то встретил впервые. Воображение полностью идеализировало возлюбленную.

По-особенному прописан ее характер: главное в нем — пылкость с эффектом самовозгорания: сущность Ирочки вспыхнет и прогорит, не оставив следа. Герой же обладает редким даром любить глубоко и самозабвенно. Инфантильная душа не приемлет сложностей жизни, а верный рыцарь не предаст свою возлюбленную. И все становится предельно просто — Ирочка, не справившись с реальностью, находит утешение в пьянстве, а ее супруг — в служении ей, однажды выбранному объекту поклонения. Вид жены, постепенно опускающейся к глубинам человеческой мерзости, вызывает у него лишь сострадание и воспоминания об оставшемся в юности счастье.

Воспоминания перекрывают ужас реальности, любовь слепа ко всему низменному, что окружает «его Ирочку», он готов простить ей все — попойки и пьяный бред, осуждающие взгляды знакомых, — лишь бы она была рядом. Осознание, что супруга уже не та пылкая девочка, которую он любил, пришло поздно, а в тот момент, когда героиня впала в кому, окончательно уйдя от него, жизнь раскололась на светлое «до» и ужасающее «после». И в этом «после» лучом света, способным вернуть героя к жизни, становится другой опустившийся человек — бомж.

Примечательно то, что герой встречался с ним и раньше — в детстве. Орфей — такое имя дает своему персонажу автор — пророчил тогда великое будущее. Немаловажен тот факт, что вышеназванный герой впоследствии полностью оправдывает данное ему имя и действительно оказывается тем самым небезызвестным Орфеем, который лишился своей Эвридики. Разрушаются законы, подвластные логике, — в мире живых оказывается мифологический персонаж, канувший в мире мертвых. Невольно напрашивается вопрос: как выбирает высшая сверхъестественная сила, кому являться, а кому нет? И

был ли этот Орфей на самом деле реален или же это всего лишь плод воображения героя, его возникшая галлюцинация на почве полнейшего отчаяния?

И вот — опять разговор. Сделка. Шанс на свершение чуда. Надежда на исцеление Ирочки и новое видение мира, ранее закрытого от понимания стеной сильного чувства. Так или иначе, герой не в силах расстаться с грезой и найти другое содержание жизни. Хождение на могилу каждый день в любую погоду становится своего рода ритуалом, который исполняется неукоснительно.

Второстепенные герои оттеняют образы главных служением своим грезам. Маргарита Кузьминична, Виктор Игнатьевич, жена Толика с Паровозной — в литературоведении получили бы название собирательных героев, но я бы сказала, что это герои без лиц. Их прототипы ежедневно можно встретить на улицах, и они мало отличаются друг от друга — разменивают жизнь на забавы, часами пялятся в телеэкран на фальшивые страсти. Тем не менее всех их ждет настоящая боль и смерть, и уже этим они заслуживают внимания.

За мелиховским персонажем и мы проходим галерею женских образов — будущих объектов для выполнения основного задания Орфея — возрождения в сердцах этих влюбленных былых чувств.

«Сохрани разрушающиеся семьи, и я спасу твою возлюбленную» — будто отчеканивало сознание героя при взгляде на этих женщин.

Любительницы телефонных разговоров, поклонницы сериалов, искательницы себя — в религии, морали, житейской необходимости, но никак не в любви к другому человеку — забывающие любить. А те, кто на любовь способен, терпят крах, подобный краху главного героя.

Маргарита Кузьминична — обезумевшая от боли старенькая девочка-младенец, олицетворение маразма, верит в возможности разговаривать с мертвыми сквозь железную броню «новейшей разработки» — обыкновенный стетоскоп, выданный героем за последнее изобретение науки, позволяющее услышать голоса близких сквозь темные недра земли. Наглая ложь, подкрепленная уверенностью в том, что она благо, ибо спасает от боли и дарует хрупкую надежду на невозможное. Вновь рожденная греза — «любовь неизменно основывается на всевозможных уклонениях от правды» — происходит очередное искажение реальности.

Леночку постигла любовь к женатому мужчине, в силу запретности которой произошел ее перенос на общее с любимым дело — кристаллографию. Так прошла жизнь, он ушел первым, а ее существование превратилось в тихое служение его могиле. Вырисовывается силлогизм, в котором между кристаллографией и надгробным камнем вырисовывается знак равенства. Леночка создает собственную грезу, начиная верить в то, что кристаллография и ее возлюбленный — это единое целое. И пока она держит в руках прозрачные минералы, она держит его. Кристаллы становятся своеобразным фетишем для героини, а дело возлюбленного — оберегом их чувства.

Пампушка-Виола — стареющая, отчаявшаяся женщина с нерастраченными запасами душевного тепла. Ее мужчину — случись такой — всегда будет ждать вкусный ужин и материнское тепло. Но материнское начало — не совсем то, что хочет получить женщина от женщины, и идеальное представление Виолы, ее греза о счастливом и беззаботном браке разбивается о жестокую реальность: мужчинам не нужна ее материнская теплота, они жаждут страсти. Виола постоянно остается одна, а герой, сошедшись с ней, чувствует лишь жалость и сострадание.

Мужские персонажи часто спасаются от реальности иными грезами — служением делу.

Виктор Игнатьевич увлечен наукой, это его греза, он готов сделать все, чтобы получить звание заслуженного деятеля. Его мысли о возможных перспективах и открытиях отдают его от мира — он забывается, выпадает из действительности, что неизбежно ведет к расхождению между реальностью психологической и реальностью физической. Материя не повинует желаниям человека. Невольно уходя от действительности, невозможно вернуться назад, невозможно стать прежним. Можно лишь соорудить собственную грезу — ожидания Нечта, Абсолюта, которое непременно откроет нам сущность мира, который сам по себе не что иное, как абсолютная пустота, покоящаяся в бесконечности.

И ничто не властно над ней во всей Вселенной. И так низменно все, что можно увидеть глазами Виктора Игнатьевича. А он и не смотрит, смотрит, но не замечает, ибо он уже постиг, что есть высшая сущность, высшая материя, высшее проявление духа.

Жорес Лукьянов — типичный фанатик своего дела, он счастлив за токарным станком, а сложность окружающего мира, в котором идет война, его не касается. Он тоже живет в своей грезе, где за любимое дело можно пойти на любые жертвы, а профессионалу в своей отрасли можно простить абсолютно все. В представлении героя любой мастер уже сам по себе идеален, потому что способен отдать душу на благо делу.

Греза помогает Жоресу перенести все тяготы немецкой оккупации — желание совершенствоваться делает мир, рожденный воображением героя, кузницей возможностей для дальнейшего роста, а сознание разделяет людей на «пустобрехов», «хитрожобчиков» и «раздолбаев». И все они уничтожают, грабят и терзают мир, и лишь мастера способствуют развитию прогресса и улучшению уровня человеческой жизни.

Преклонение перед последними помогает ему выжить.

Девочка-наркоманка, лишенная любви и внимания, подверженная влиянию стереотипов и компании, с легкостью ставшая на путь невозврата, — наиболее жесткий пример человека, ведомого грезами. Греза здесь принимает вид наркотического изменения сознания. Но этот образ — ключ к пониманию остальных.

Примечательна игра автора с цветом — каждое новое слово рождает в воображении тысячи оттенков. Тона исключительно темные. Наблюдается прямая отсылка к популярному эротическому роману «Пятьдесят оттенков серого» британской писательницы Э.Л. Джеймс. Пятьдесят оттенков серого как пятьдесят оттенков людских грез.

Кристиан Грей существует в грезах своих сексуальных фантазий, герой Мелихова существует в грезах своей любви, зарожденной в юности.

Сексуальные наклонности Кристиана меняют его сознание, он становится одержим собственной иллюзией желаний так же, как становится одержим и персонаж Мелихова служением своему идеалу, своей Ирочке.

И каждый из этих героев постепенно начинает видеть в своих возлюбленных не реальных женщин, а их прототипы — несуществующие миражи, рожденные фантазией. И с каждым днем эта фантазия захватывает все больше — желания Грея становятся все более извращенными, а попытки героя Мелихова выразить свою любовь ушедшей Ирочке — все более безрассудными.

Души героев наращивают свое собственное видение, озаренное в их представлении светлым тоном любви, но это представление неизбежно ведет их к мраку. Любовь из преданности и восхищения переходит в болезнь души, тела и рассудка.

Таким образом, писатель сталкивает в своем романе две совершенные крайности — мрака безысходности, в который ведет человека не утепленная грезой реальность, и света надежды, который дает ему греза, какой бы она ни была.

Вселенная «Америки»

Андрей Поляков. Америка. — М: Новое литературное обозрение, 2014.

Прошлый год в биографии живущего в Симферополе Андрея Полякова, лауреата Премии Андрея Белого, отмечен удивительными событиями. Почти одновременно он стал лауреатом «Русской премии» как выдающийся русскоязычный поэт Украины и вместе со всеми крымчанами вдруг оказался гражданином России. Его новая книга «Америка» опосредованно отражает геополитический абсурд его поэтического бытия, вызывая аллюзию с одноименным неоконченным романом Кафки. Абсурд буквально поглощает обыденные вещи, взамен оставляя плывущие означающие.

С самого начала поэма, по словам Кирилла Корчагина, «пребывающая в постоянном движении и подчиненная особому ритму», начинает вращаться вокруг себя самой, процесса ее написания и пояснений читателю, как она пишется. На уровне композиции

происходит сращивание произведения с его автокомментарием. Автор начинает с конца, с девятой главы, и торжественно объявляет, что пишет поэму «Америка». Одиннадцать раз он повторяет, что произведение будет иметь название «Америка». Подозревая, что бестолковость читателя нельзя преувеличить, еще раз спрашивает: «Ты спросишь: «Как будет называться твоя поэма?». И еще три раза повторяет название каждый раз с новой интонацией: «“Америка” будет огромной поэмой / Огромная поэма — “Америка”!».

Многочисленное напоминание о том, что поэт начинает, начнет огромную поэму, каскад повторяющихся слов и явлений — введение в особый хронотоп «Америки» Полякова. Время поэмы — абсурдистское безвременье, или одновременность прошлого, будущего и настоящего. Поэма есть, она огромна, но в то же время ей еще предстоит «быть», иметь свое место. Место, где происходит действие поэмы, — сегодняшний Симферополь, Нью-Йорк середины прошлого века, а также неопределенное пространство, которое везде и нигде. Люди вечернего Симферополя «спят и не спят, или просто спать хотят» — время теряет свою объективность в условиях хаоса, оно теперь — состояние организма.

Что может заменить поэту разрушенный абсурдной реальностью дом? Язык — это и есть настоящая среда для поэта, оказавшегося погруженным в политический хаос. Попробуем расшифровать какие-то его языковые коды.

«Это снег-светоход, это медленный свет, это Бога доходчивый снег, это — дымная ночь, это следует — свет» — снег через свою белизну срастается со светом. Этот гигантский световой луч, как фонарик самого Бога, медленно скользит по вихрящемуся миру, в котором нарушены привычные пропорции: «Или близка Луна на стеклах автомобиля, или на кухне — клеенка синяя глубока» — мельчайшее и гигантское сближаются, соединяются и сосуществуют на плоскости зрения, лишённого привычной перспективы.

«Вот пианино вбегает и сразу как будто вбирает эти черные (белые?) клавиши» — смысл всего вышеописанного музыкальный, джаз врывается в жизнь и начинает сочетать несочетаемое, навевая надежду: существует идеальное место (утопия), «Где-нибудь, где не сторбится нам, не собрать темноту по коротким частям, не записать в клиниках-поэмах, не заблудиться».

Связывать цифры и слова приходится боевым усилием: «Будем на эти слова, как на тайную цифру девятки, снежно-сложною ночью смотреть — боевыми глазами вертеть». Помните, Маяковский хотел, чтоб «к штыку приравняли перо»? Для Полякова написание поэмы — дело военное: «Вот: верчу военными глазами. / Я в дозоре, я смотрю вокруг». Агрессивный хаос окружающего мира опять мобилизует поэтов на столь же агрессивное построение собственного космоса. В этом космосе все составляющие обладают почти человеческим разумом: происходит очеловечивание предметов, животных, персонажей древнегреческой мифологии. Для лирического героя иногда «часы», «коты», и Орфей с Персефоной живее, чем современные люди, жители «страшноватой Тавриды», разные «блондинки» и «Ленки».

В последней главе происходит исчезновение богов и людей, уходящих на запад, появляется холодная рука возлюбленной, «как будто Лена давно мертва, как Ева и Рахиль, для крымских берегов». Говоря, с одной стороны, о всеобщем бессмертии, поэт, с другой стороны, сомневается в бессмертии и богов, и людей: «Будет Бог! — говорю вам серьезно, или, может быть, много богов!». Солдаты возвращаются «к подругам вечно молодым». Но вечно молодыми могут быть лишь люди, умершие в молодости. Они будут такими, какими их запомнили другие. В финале поэмы появляется «чья-то тень на чужих берегах / в темно-синем берете и черных очках», в которой наблюдательный читатель может разглядеть Че Гевару. Впрочем, эта тень с той же вероятностью может быть и ангелом джаза...

Там, в прошлом, осталось много вечно молодых друзей и подруг. Поэтому все и ничто уравнивается. Поляков называет людей «пленными богами», которые отличаются и от пленных, и от богов. Жители прошлого, настоящего и будущего объединяют в себе эти черты. Трудно сказать, кем является автор: теистом, политеистом или идолопоклонником джаза. Но и материальный и ирреальный мир у него побеждают джазмены, и сам Бог повторяет у него слова Колтрейна. Клавиши пианино из черных становятся белыми и обратно, превращаются в некий общий черно-белый цвет, как джаз превращен из музыки, исполняемой только черными, затем и белыми исполнителями, в особую черно-

белую стихию, завоевывающую новые страны и впитывающую музыкальные традиции других народов. Черно-клавишное прошлое проникает в настоящее, и на страницах оживает Сонни Роллинз, играющий на саксофоне. Упоминается черный квадрат, вспоминается Малевич — у этого художника есть еще «Супрематическая композиция. Белое на белом фоне», «зачеркнутый Андрей» и «Орфей» едут сквозь белые снега на жирафе в сторону Нью-Йорка... Что это за исход? Откуда куда — и когда: когда был Орфей, не было Нью-Йорка, а зимний холод — неподходящий климат для жирафа. Но в этой поступи слышатся «шаги колес», в которых «ходит походкой поэма», при этом Крым оказывается «посмертным», в нем господствует «матовый несвет». Это что-то среднее между светом и тьмой, возможно, свет радиоактивных лучей.

«Все русское — печально, как вода» — в поэме, пронизанной музыкальной стихией, господствует грусть как преобладающее настроение. Даже в роскошном Нью-Йорке сорок пятого года появляются «толпы будущих мужских мертвецов». С самого начала ощущима безысходность положения современного мира, в котором «дыши, не дыши — не поможет». Ушли в прошлое счастливые американские сороковые, стрелка часов человечества описывает круг вокруг полуночи. Исчезают все: люди, боги, подруги. Остается язык: торжествует повсеместность слов, даже «на луне проступают слова». Примечательны строки о русском языке, которые автор любит больше Ленки, больше своих собственных книг.

Знак утверждения бытийного начала в христианстве у А. Полякова перевернут: «Перекреститься. Исчезнуть». «Перекреститься» традиционно обозначает отпугнуть нечистую силу, утвердить свое собственное бытие и отвергнуть инферальный мир. А у А. Полякова наоборот — «перекреститься» обозначает «исчезнуть». Исчезнуть «сразу в летний полдень и зимнюю ночь», в свое поэтическое безвременье — вневременье.

Случайные неслучайности

Илья Одегов. *Тимур и его лето. Рассказы и повесть.* — М.: Текст, 2014.

В одном из своих интервью писатель из Казахстана Илья Одегов не без профессионального кокетства упоминает случайность обретения названия сборником рассказов «Тимур и его лето», принесшим ему победу в Международном литературном конкурсе «Русская премия».

Так ли случайно имя Тимур в заголовке, всего в один ассоциативный шаг отсылающем к легендарной книге А. Гайдара? Тем не менее игра случая — один из несущих элементов любой его прозаической конструкции.

Может быть, так заявляет о себе, начиная с заглавия, отмеченное Н. Александровым ювенальное начало¹, что неисчерпаемо присутствует во всем цикле «Пришельцы». В этой открывающей сборник серии рассказов роль случайного становится главенствующей, едва ли не сюжетообразующей. Спонтанность всех встреч Тимура с Аленой в рассказе «Тимур и его лето», возможности, внезапно представившиеся героям рассказов «Анучка хочет есть» и «Пришелец и космонавты» — отмечать значимость случайного и для сюжетных ситуаций цикла можно долго. Но в сюжетостроении Одегова важнее следующий шаг: за волеизъявлением случая в развитии действия незамедлительно следует запрет и его нарушение. Через преодоление героями нравственных, этических и возрастных ограничений раскрывается «космос внутри каждого...». «Я старался подобраться к самому краю, к пределу, — говорит автор в одном из интервью², — но так, чтобы не перейти черту, а остаться на острие, балансируя».

Так же обстоит дело и с уже упомянутым ювенальным началом: его наличие в каждом из героев цикла «Пришельцы», сложенное с преступаемым запретом, отсылает к проп-

1 http://echo.msk.ru/programs/books/1477416_echo/

2 Tengrinews.kz.

повской методологии. Одеговские персонажи — даже в зрелом возрасте словно проходят через уготованную судьбой инициацию. Они переживают столкновение с неким чем-то, ранее не изведанным, и это нечто требует от них новых моделей поведения, иного взгляда на мир. Именно в этой точке в каждой из историй обрывается достаточно напряженная до этого повествовательная линия: Тимура после всех свершенных им открытий из сферы взрослой жизни обнаруживает в хлеву бабушка, а мальчик заболевает, словно из-за того, что ломается его прежняя картина мира; Радж решается на торговлю наркотиками и ограбление в новых экстремальных для него обстоятельствах; отец девочки из «Пелестань» в психологически необычной для него ситуации избивает старика; Иван после пережитого страха перед змеей вновь обретает душевное равновесие на берегу океана. Тревожное ожидание разрешается кульминационным эпизодом, и далее все стихает. При этом автор вовсе не предоставляет возможности читателю осмыслить тот или иной поступок героя через художественную деталь, не делает никаких даже косвенных намеков, которые могли бы помочь увидеть авторское отношение к героям, что порождает то ли эффект недосказанности, то ли недоразумение. К примеру, рассказ «Пришелец и космонавты», немного напоминающий «Воскресный рассказ» Леонида Андреева: в обоих из них герои не сдерживают в себе вождения и пользуются беззащитностью оказавшихся в беде девушек. Намовецкий в своем сознании колеблется между животным и разумным началами, но тьма в конечном счете «поглощает его». Так через одно заключительное предложение в рассказе Андреева выражено авторское видение и героя, и ситуации, своеобразный ключ к осмыслению прочитанного читателем. В рассказе же И. Одегова немного иного склада герой: он не видит ничего предосудительного в следовании собственным инстинктивным желаниям. За это его избивают так, что, когда он приходит в себя, ему ничего не остается, кроме радости от осознания продолжающейся жизни. Перед нами статичный характер или, может быть, просто однопланово изображенная личность. Но что хотел сказать этим автор? Что в принципе существуют на свете такие человеческие типы? В рассказе, на мой взгляд, вовсе не обнаруживается какой-либо зацепки, потенциально располагающей к тем или иным размышлениям, вызванным соприкосновением с художественным текстом. Также завершающий цикл «Пришельцы» рассказ «Ловушка»: Иван испытывает чувство брезгливости и страха перед местной фауной. Ночью ему кажется, что в его жилище заползла змея. В панике он просится на ночлег к местному жителю Муну, но тот ему отказывает. Иван идет на берег океана и только там вновь переживает воссоединение с природой. И что же послужило причиной отказа в ночлеге Муна? Трусость, по азиатским меркам, Ивана или, быть может, особая восточная философия, на которую весьма специфично пытается сослаться Мун? Ответа на эти вопросы в тексте не найти. Меж тем разговор Ивана с Муном является в рассказе кульминационным.

В серии рассказов «Культия» значимость случайного в фабулах понижается, порой сохраняясь единственно для того, чтобы стать основой сюжетной интриги, ведь истории из этого цикла сами по себе вполне наделены чертами импрессионизма. В рассказах на первый план выступает созерцательность персонажей, их рационально не объяснимые впечатления: будь то воспоминание о детских переживаниях («Намаз») или о страстных любовных чувствах («Без пижамы», «Добыча»). Но импрессионистичность эта исполнена исключительно животными инстинктами. Впечатление будит в героях не фетовско-бунинское духовное начало (за исключением рассказа «Без пижамы»), а физиологическое: «Добыча», где подразумеваемые взаимоотношения внутри любовного треугольника уподобляются звериной охоте, «Смена состояний» и «Убить по науке», в которых человек предстает существом с полностью оцепеневшими чувствами, его животное начало стихийно прорывается наружу. Рассказ «Молчок» тоже наделен чертами импрессионизма, только здесь на первый план выходит «закадровый» вопрос, который постоянно упоминает, но не воспроизводит рассказчик. Этот неизвестный для читателя вопрос становится тем самым впечатлением, порождающим в герое то ли страх, то ли неприятные воспоминания. Именно он служит позывом к словоблудию рассказчика, его блужданию по коридорам памяти исключительно с целью избежать прямого ответа на него. Рассказы из этого цикла объединяет с ранними романтическими произведениями М. Горького сам принцип изображения человека, управляемого стихией собственной природы, однако у

Одегова она лишена горьковской эстетичности, человек у него предстает во всей своей естественности, неприкрытой запретами цивилизации, а потому порой неприятным, отталкивающим.

В повести «Овца» действие происходит в казахской глубинке, где с трудом выживают оставленные выросшими детьми Рафиза и ее муж Марат. Основу их домашнего хозяйства составляет овцеводство, но однажды одна из овец пропадает, и Марат отправляется на ее поиски. Однако жена начинает беспокоиться из-за продолжительного отсутствия мужа, предчувствует недоброе. Это заставляет ее вновь почувствовать всю силу любви к нему. И, несмотря на то что все испробованные ею средства к его спасению оказываются напрасными, воскресшая любовь Рафизы словно воскрешает Марата к жизни. А связующим звеном между ними оказывается любимая собака, помогающая своему хозяину освободиться. Повесть «Овца» — это вечная история о спасительной силе любви. Любви женщины, которая, как заблудившаяся овца, бродит в поисках пропавшего мужа; преданности домашнего пса, приносящего себя в жертву стихии ради хозяина; ответственности мужчины, главы семьи, не позволяющей ему сдаваться в трагических обстоятельствах. Художественно детализируя окружающее героев пространство, автор мастерски передает национальный колорит казахской глубинки и беззащитность живого перед немилосердной природой человека.

Все тексты сборника отличает не только внезапность начала, но и внезапность окончания. Порой это становится открытым финалом, отдающим современную дань импрессионизму, но не всегда такие окончания оправдываются логикой художественного текста.

Окольность и простота

Роман Рубанов. *Соучастник.* — М.: Воймега, 2014.

Если вы, как и я, имеете странную привычку перед прочтением книги заглядывать в предисловие, то короткая справка, которая в этой книге его заменяет, вас заинтригует. Меня она не озадачила только потому, что я до того, как книга попала ко мне в руки, с автором был уже знаком. Так вот, из короткой справки явствует, что Роман Рубанов — дипломированный богослов и при этом работает в театре. В справке не написано, но я-то знаю и скажу вам, что автор — еще и профессиональный актер. Уже сочетание богослова и поэта — достаточно конфликтная смесь, а богослов, поэт и актер в одном лице — звучит и вовсе химерически. И чего ждать от книги человека с таким бэкграундом? Экстазов в духе символизма? Счастлив доложить, что в данном случае все не так. Если в чем и может упрекнуть «Соучастника» поверхностный читатель, так это в сугубой традиционности — размеров, тем и образов.

Стихотворение, открывающее книгу, вроде бы и правда начинается хрестоматийной зарисовкой с натуры.

Провинция. Сирень и соловьи,
обшарпанные стены автостанции.
Здесь все друг друга знают, все свои,
встречают песней, провожают танцами.
Здесь с горя пьют, а в радости поют

Однако финал стиха взламывает низкий «почвеннический» потолок, открывая ход для метафизики:

Сирень — и та поет.
Сон чуток, ночь перетекает в чудо:
заутреню отслужат, и Господь
на Пасху куличи разносит людям.

Стоит отметить еще и смену рифмовки в заключительной строфе: на всем продолжении стихотворения рифмы совершенно традиционны, назовем их функциональными. Они делают свое дело — подпирают конструкцию, не привлекая внимания. А в финальном четверостишии в окончаниях строк вбиты ключевые по смыслу слова, которые созвучны друг другу ровно настолько, чтобы читатель не проехал строфу на гладком инерционном ходу, а еще раз — внимательнее — вчитался. И, когда его проберет метафизический сквознячок, согрелся по-хорошему лубочным изображением Господа, разносящего куличи по избам (наверное, тем, кто не смог на пасхальную службу дойти до храма, — старикам и больным).

Это стихотворение задает тон книге, и ее лучшие стихотворения тоже вооружены такой двоящейся оптикой: одновременно дают увидеть непритязательный провинциальный (деревенский) быт и то, что над ним, но неотделимо от него:

На кладбище — там полдеревни,
на памятниках имена,
а сверху жизнь: листва, деревья.
Земля и небо. Тишина.
И в этой тишине загробной,
прислушиваясь, не спеша,
обозревая мир подробно,
на свет рождается душа.
И тишину, как море, брассом
переплывая напрямик,
сосед всюю счастливым басом
кричит: «Четыре сто! Мужик!»
(...)

Оцените, как естественно в поэтическом зрении автора соединены тишина кладбища, которая уже в следующей строчке оказывается надмирным местом рождения новой души, и, наконец, простецкая радость, которая в эту тишину врывается, но не отменяет ее для читателя.

Пожалуй, это ключ к поэтике Рубанова — в лучших стихотворениях ему удастся, усыпив читателя обыденными подробностями, вдруг (в лучших традициях учителя дзен) дать ему в глаз и заставить «расширить сознание». И тогда, например, на коньячной бутылке в пакете прохожего блеснет вифлеемская звезда («Январь укрылся шкурою овечьей...»). А Бог окажется соседом сверху (или наоборот) («В наш съемный быт под вечер входим мы...»). Микрокосм постоянно оказывается макрокосмом, быт — мифом... Космос приближается на расстояние руки, а рука вытягивается куда-то «далеко-далеко, в другую галактику». Ощущения у читателя (говорю за себя) — как у кэрроловской Алисы:

миска неба надо мной покачивается,
яблоко, зажатое в руке,
как планета, медленно заканчивается
(Я опять кудрявый мальчик, лет пяти...)

И, покидая рай до петухов,
пусть не Петру (тут беспокоить что его?),
предъявишь ксерокопию грехов
стоящему у врат ИП Сысоеву
(...)

Но я пишу рецензию, а не панегирик — конечно, в «Соучастнике» (это дебютная книга Рубанова) есть и слабые места. Главным образом я говорю о декларативности, в которую на поэтическом поле очень легко впадают прямые высказывания.

Больше всего эта особенность, по понятным причинам, характерна для второй части книги, «Рыба, хлеб и вино», в которой собраны стихи на евангельские и житийные

темы. Технически эта часть не уступает остальному корпусу «Соучастника», но в ней меньше — или совсем нет — «почвы и судьбы», личного нерва, который одушевляет плоть лучших стихов Рубанова. Есть с разной степенью удачности зарифмованные истории, которые и так всем известны. А личного отношения... не хочу сказать «нет», но его не видно. И стихи — не работают... В самом деле, зачем в десяти строфах пересказывать притчу, которая в оригинале состоит из девяти сжатых предложений?

Книга Романа Рубанова, две ее части, — показательный пример двух различных подходов к стихам, условно скажем, «о божественном». Можно идти к теме окольным путем, опосредованно, обиняками, через житейские мелочи и бытовые детали. А можно попытаться срезать — через общеизвестное и, казалось бы, близкое всем. И работает — почти всегда — окольный путь, потому что он труднее, потому что именно на нем человек говорит от себя, о себе, своими так трудно находимыми словами.

«Обменяться сигналами с Марсом», как говорил Мандельштам, можно только говоря от себя и за себя. А в стихах только это и важно.

Когда деревья были большими...

Алексей Никитин. *Victory Park.* Роман. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.

Пожелтевшие черно-белые или давно выцветшие цветные фотографии из далекого прошлого всегда вызывают волну эмоций и комментариев. Любому интересно взглянуть на родные края и родных людей из тех времен, когда тебя еще не было на свете или когда деревья были большими. Фотографированием прошлого на советский пленочный аппарат в романе «Victory Park» занимается украинский русскоязычный писатель Алексей Никитин.

Предыдущие романы Никитина «Истемии» и «Маджонг» были замечены критиками и входили в лонг-листы литературных премий. Правда, особого шума не наделали. «Victory Park» был номинирован на «Нацбест» и «Новую словесность» и получил «Русскую премию».

Окраина Киева тридцатилетней давности — относительно свежий Комсомольский массив, исчезающее село Очереты и «книгообразующий» парк «Победа» становятся главными героями романа. Автор подробно рассказывает биографию этих мест: их рождение, детство и юность. Юность парка «Победа» пришлось на восьмидесятые. Время действия основных событий романа нигде не названо, но благодаря нескольким «зацепкам», аккуратно разбросанным по тексту, оно определяется со стопроцентной точностью. Советских мальчишек отправляют воевать в Афганистан — у многих из тех, кому посчастливилось вернуться, нормальная жизнь не складывается. В ресторанах звучит «Вези меня, извозчик» — песня парня с Урала, у которого должно случиться большое будущее, «если не посадят, конечно», а на теле- и киноэкранах влюбляет в себя девушек усатый красавец Михаил Боярский. «В сентябре прошлого года наши сбили над Сахалином южнокорейский «Боинг»». Страной правит Константин Устинович Черненко...

В цветущем киевском мае 1984 года история начинается, в конце октября того же года в стремительно застраиваемом Ирпене — заканчивается. Никитин ведет увлекательнейшую экскурсию по украинской столице. Посмотрите направо: здесь «будущий князь Олег представился купцом доверчивым Аскольду и Диру, прежде чем их зарезали его друзья-викинги. А шестьдесят лет спустя Ольга, невестка Олега, отдавая команду закопать живьем посольство древлян, не забыла спросить, нет ли у гостей претензий к регламенту встречи». Теперь — налево: там «поручик Нестеров летом 1913 года провел первые совместные учения авиации и артиллерии». И вот «дивизии панельных новостроек» замешают собой милую деревенскую пастораль. Мультик про шагающие по земному шару одинаковые многоэтажки, открывающий легендарную рязановскую «Иронию судьбы...», можно транслировать и перед романом Никитина — больно схожи их настроения. Тихая грусть по навсегда исчезнувшему Киеву просачивается сквозь страницы книги. Но «дорог, идущих назад, не существует...».

Действие происходит за семь лет до распада СССР. Размышлений о подгнивающей советской системе в романе с избытком. На них и строится философский пласт книги. Горбачевская перестройка — за ближайшим поворотом: народ все четче осознает, что многие правила современного бытия «абсурдны и нелепы». Чтобы купить редкую или запрещенную книгу, надо тайком договориться со знакомым букинистом. Срочно достать ящик хорошего алкоголя для праздника можно только через «нужного человека». Единственный способ заполучить фирменные джинсы или кроссовки — заказать их у фарцовщиков. А решишь бороться за правду — узнаешь на собственной шкуре значение словосочетания «карательная психиатрия». Один из персонажей книги сравнит советский строй с медвежьим углом, в котором «все хотят спать, никто не желает шевелиться», другой — с археологической экспедицией: «Они работают, не обращая внимания на пинки и матюки сверху, и показывают изо всех сил, что никому не конкуренты. За это им кое-как прощают то, что я называю грехом интеллектуального первородства. Надо понимать, что коммунисты не уйдут: они зацепились здесь надолго, нам их не пережить, и с этим ничего не сделаешь. Если ты не хочешь уезжать и не готов стать одним из них, то нужно учиться выживать в полупустыне. Жить без воды, питаться колючками, радоваться редким оазисам...». В какой-то мере с археологической экспедицией можно сравнить и сам роман: для поколения XXI века такое явление, как фарца, стало чем-то непонятным и доисторическим. Тем не менее общее настроение книги вовсе не упадническое. Если мы обратимся к биографии автора, обнаружим, что в 1984 году ему было семнадцать лет. «Чудесный возраст!» — цокнете вы языком и наверняка с улыбкой припомните свои юношеские приключения...

Число значимых персонажей в книге переваливает за добрый десяток. Никитин мастерски удерживает внимание читателя, в каждой главе выводя очередного героя на первый план. Сперва центральным персонажем кажется фарцовщик Виля, внешне похожий на Боярского и активно пользующийся этим сходством. Во второй главе события крутятся уже вокруг студента Пеликана. В дальнейшем на авансцену выйдут предприимчивый делец Леня Бородавка, артист-неудачник Федор Сотник, его жесткая жена Елена и наслаждающаяся вниманием мужчин падчерица Ирка, держащий в своих руках парк «Победа» Алабама, гэбэшник-эстет Галицкий, расчетливый полковник МВД Бубен, мудрый старик Максим Багила и его внук Иван.

У каждого героя — своя насыщенная фактами история. Разбавляя сюжетную линию новым персонажем, Никитин обязательно говорит, кто он, откуда взялся, чем занимался раньше и как живет сейчас. Объясняет автор и то, зачем этот герой нужен. Поразительно, но в романном микрокосме почти нет случайных людей — персонажей, ненадолго появившихся в тексте, выполнивших задачу, поставленную перед ними автором, и бесследно исчезнувших. «Victory Park» — невероятно цельный роман: все его герои так или иначе связаны между собой. Каждому образу предстоит раскрыться в нескольких подчас весьма неожиданных ракурсах. В этом срезе в книге обнаруживаются некоторые элементы театральной постановки. Виля, стремясь уложить в постель очередную красавицу, талантливо играет роль Боярского. Его приятель-фарцовщик Веня раньше работал в театре. Театральным артистом трудится и Сотник. Постановочной выглядит последняя «вылазка» отряда Калаша. А чего стоит картинная сцена, в которой завсегдатаи парка провожают Пеликана в армию, облачившись в звериные костюмы. Сцена проводов — своеобразное прощание с прошлым, создаваемым или воссоздаваемым на наших глазах.

Героя первой главы Вилю ближе к середине книги убьют. Однако по степени значимости это событие можно поставить на одну ступеньку с празднованием дня рождения Ирки, беседой старого Багилы с Алабамой или рассказом о первом муже Елены. Каждое из подобных событий существенно меняет жизнь героев. Вернуть или изменить прошлое невозможно. «Мы живем здесь и сейчас, где бы ни находилось это , когда бы ни происходило это . Уезжая на месяц, на год, мы смещаем точку отсчета, и все, что было прежде, вся предыдущая жизнь сдвигается, соскальзывает на периферию и уже не кажется настоящей. Мы видели ее во сне, нам рассказал о ней по радио диктор Левитан глубоким драматическим баритоном, мы что-то читали, еще неплохо все помним, но мелочи, детали начинают уже забываться. В воспоминаниях появляется холодящая отстраненность, прошлое отступает под напором свежих людей, ярких впечатлений, и только эта — новая — жизнь оказывается единственной настоящей». Остаются мысли о будущем.

Какие-то мечты сбудутся: покупать модные джинсы или книги Аксенова можно будет без проблем, а вести частный бизнес позволят всем желающим. Однако что-то даже спустя три десятилетия уцелеет в прежнем виде: к примеру, некоторые люди, получив большую власть, думают лишь о том, как бы ее обратить в большие капиталы.

Говоря об истории страны или мира, многие начинают представлять грандиозные военные победы или величайших политиков. Но история также состоит и из бытовых эпизодов, происходящих с обычными людьми, живущими в «спальных» районах.

Алексей Никитин провел для нас познавательную экскурсию по киевской окраине 1984 года. И, по мне, такие экскурсии гораздо занятнее обзорных поездок по историческим центрам европейских столиц. Храмы и музеи простоят еще не один век — съездить туда мы всегда успеем. Зато скромные улочки вчерашних пригородов со своим пока еще неповторимым и уникальным колоритом ценны именно сегодня.

Нарушенная сплошность времени

Ольга Постникова. Понтийская соль. — М.: Время, 2014.

Крымское побережье — художественное пространство этого поэтического сборника, объединяющего стихотворения разных лет с 1964 по 2014. Древнегреческое название Черного моря, Понт, задает пространственно-временные координаты сборника, его хронотоп. Как уживаются две волны, древняя и новая, из которых рождаются стихотворения сборника? Сама поэт говорит об этом временном феномене так:

Есть в Херсонесе места,
 где нарушена времени сплошность.
 Так же колонны лежат,
 как упали в пожаре осады.
 Грубо расколот алтарь
 тесаком озверелым славянским.
 Зыбок мозаик узор,
 Сохранивший павлинов и плющ.

Это — о _____, времени этой земли. Несмотря на уход от линейности времени, с археологической скрупулезностью, сверху вниз, вскрываются временные пластины крымской истории, дает о себе знать профессия: Ольга Постникова — реставратор, долго работала в археологических экспедициях на Черноморском побережье.

Одно из первых стихотворений сборника, «Гора Митридат», задает его тон и подтверждает художественный метод:

Посылали смотреть
 что наука в земле откопала.
 Только то и увидела,
 что война погубила
 Мне гашеная известь
 в порезы на пальцах попала
 И линию жизни прижгла и углубила

Поэзия, почтительно опирающаяся на традицию, но в то же время современная, с оригинальной образностью. Ясно ощущается влияние античных авторов, в первую очередь Сафо. Постникова часто использует сапфическую строфу. Преклонение перед Сафо и античностью и почительная, но вместе с тем и дерзкая диалогичность, которая будет продолжаться, пока не иссякнет коллективная поэтическая память, возможно, и составляющую основу мироощущения Постниковой.

Сказки с намеком

Михаил Бару. *Повесть о двух головах, или Провинциальные записки.* — М.: Livebook, 2014.

Во вступлении к сборнику путевых очерков и лирических миниатюр Михаила Бару «Повесть о двух головах, или Провинциальные записки» Андрей Пермяков пишет: «И кто-нибудь непременно сочинит термин («...» . . .) “краеведческое фэнтези”». Не сомневаюсь, сочинит. Но к истине не приблизится, поскольку фэнтези — продукт развлекательный, а проза Бару — интеллектуальный. Конечно, присутствуют элементы сказки: дракон, умирающий от перепоя, русалки всех видов и мастей и собаки, хохочущие, когда хозяин-охотник начинает ~~заливать~~ вспоминать, как одним выстрелом трех медведей на шампур...

Только это антураж, виньетки, добавляющие замысловатости и волшебства, и к фэнтези они относятся тем же боком, как соцреализм к фантастике. Пермяков, впрочем, и сам оговаривается, что только скрепы мира, канатики от одного сюжета к другому здесь фэнтезийные. Чтобы не загнуться от тоски, трясаясь по дорогам, в сравнении с которыми стиральные доски — автобаны. Чтобы не заскучал и читатель, проглатывая страницы с перечислением промыслов того или иного заштатного городка. Сотни костей мамонта словно мощи святых распространились по расейским весям, а с ними огурцы/пастила/стерлядь/беляши/икра, подаваемые неизменно «из того самого» к самому что ни на есть царскому столу.

Метод Бару приоткрывает ближе к середине книги: «красивая, изящная и немного грустная игра»*. Все зиждется на этой основе, и поднимается тесто текста, и катит вдаль дорога, и родная сердцу разруха привычно ласкает взгляд... В общем, «немного грустная» — это, скорее, оправдание грусти большой — скрытой между строк, забутафоренной драконами и русалками, замаскированной под кокетство/подмигивание с бытописателями XIX века: если абзацы на страницу еще встречаются в «интеллектуальной прозе», то абзацы-предложения — изошренная игра с нервами читателя и... переключка с «Мертвыми душами». Намеки на поэму, помимо описанной выше «микроархитектоники», разбросаны по книге. Вот реакция Гоголя на оценку шестой главы: «Поверьте, что и другие не хуже». Вот упоминание о всегонской тюрьме, также запечатленной в поэме. Вот, в самом конце: «Куда бежишь ты? Хотя б намеки... Молчит. Петляет. Уходит от ответа. Может, его и вовсе нет. Да и так ли он нужен, этот ответ...» Речь о дороге, ибо нынешние пути в провинции такие, что тройка гикнулась бы у первого придорожного...

И все-таки давайте признаемся, что любим мы Михаила Бару не за путевые заметки, описи музеев и нравов, вернее, не совсем за это. Больше — за умение замечать в обыденном необычное. За неявные находки. За трансформации прозы в поэзию.

Пермяков пытается выискать сюжет, но дело это бесполезное, и русалки не в счет: две головы повести Бару — это, собственно, путевые заметки и лирические зарисовки. Первые объединены (не всегда) маршрутом движения, вторые — временами года. Можно насчитать сколько угодно пересечений, общих героев и самоповторов (хохочущие собаки — общее место для Бару), но сюжет у каждого очерка/миниатюры один (но тоже о двух головах). Это вкратце переложенная история населенного пункта с акцентированным вниманием на градо- и душеобразующих элементах и — лирические всполохи. А поскольку последние представлены в объеме более трех строк (см. поэтические под-

*

19 2015 : «... (поездки по провинции. — В.К.)

...»

(

...

борки Бару в литературных «толстяках»), то они, эта поэзия, ошибочно названы прозой. Точнее было бы их назвать стихотворениями в прозе.

Провинциальные записки Михаила Бару я прочитал, к сожалению, запоем. Хотя читать их правильнее как хороший сборник стихов — по несколько стихотворений в день, смакуя каждое на вкус и давая отстояться, а не смешивая в какофонию образов.

Цитировать же из Бару дело неблагодарное, как для футбольного тренера выбирать из нескольких равносильных форвардов — и так хорошо, и эдак. Выписать афоризмы — отдельный (пусть и тоненький) сборничек получился бы. Вырванный из контекста. Но сплошь из красивой, изящной и немного грустной игры. Бару в одном комментарии проговорился: «С точки зрения нашего сказочного смысла...». Вот и появляются зовущие в сказку и из сказки выдернутые персонажи.

Вот только небольшая доля цитат, отмеченных мною:

«Бабе лето — это последний шанс для тех лягушек, которые еще не стали царевнами»; «торговки упаковывали свой товар, среди которого я углядел сувенирные подковы с приклеенными для верности крошечными образами Богоматери» (позже подобный образ возникнет и в контексте автомобильного иконостаса, мол, на себя надейся...); «две строгих старушки прибирают огарки свечей и так строго посматривают по сторонам, что даже святые на иконах отводят в сторону глаза»; «если высунуть язык, то на него упадет одно или два мгновения» (это уже чистый Павич); «продать даже зубчик чеснока, не говоря о целой челюсти»; «мобильный телефон “Сименс”, такой древний, что на нем еще есть кнопка с ятем»; «варенье из такой земляники вызывает зависимость уже после второй чайной ложки»; «молодые девушки, работающие музейными старушками»; «утром проснешься, а трава уже поседела, и луна вся засахарена инеем»...

К городам нетривиальный. Все-таки, если перед нами краеведение, то это краеведческая проза. На основе, так сказать, реальных событий. Только фикшн появляется исключительно в тех местах, когда собака грозит заохотать или поддатый дракон на бредущем полногрудую русалку пронесет.

Бару обладает редким умением заинтересовать с первых строк, делать зачин «вкусным». Вот, например, как начинается глава «Юрьевец»: «В начале мая в Юрьеце мужики озабочены одним — плотва идет. На муравья идет так, что только успевай вытаскивать. Я сам видел рыжую с белыми лапами кошку, которая бежала на берег реки с удочкой, сделанной из хворостины».

И хотя понятно, что будет дальше — развитие поселения с грозновско-петровских времен, расцвет/затухание, нерадостное настоящее, — читать продолжаешь. Потому что важно, это сделано. Автор оправдывает ожидания. Вмонтирует ли сказочный эпизод, сплет ли на прежний (но иначе поданный) красиво-грустный мотив, поднесет ли эстетствующему гурману блюдо с забавной интертекстуальной или иной игрой — а играть автор любит! — это будет сделано мастерски.

Этим самым Бару отходит от прежних поколений бытописателей (с нынешними и не думаю сравнивать, тут можно до краеведения в постмодернистском ключе докопаться). Ему скучно в привычных рамках перечислений богатств того или иного Богом забытого места. Он хирург по душеобразующей части. Собственно, поэтому большинство краеведов «старой школы» будут воротить носы от «Повести о двух головах». Ну что это, скажите, за анамнез приокского Белева: «От Одоева до Белева сорок три километра сплошного Левитана»? Или констатация извечной проблемы: «Если дорога от Красного Холма до Весеьгонска имеет вид убитой, то от Весеьгонска до Устюжны она выглядит так, точно над трупом еще и надругались?»

Особняком стоит Южа. Полуразвалившимся, конечно, если в реальности (что просматривается на подкорке записок Бару), но уникальным в смысле метода описания. Диалогизм в околораеведческих трудах — это смешение точек зрения: гетеростереотипной (со стороны) и автостереотипной (изнутри). Южа уникальна в композиционном аспекте — традиционное повествование Бару (гетеростереотип) в самых неожиданных местах прерывается голосами местных жителей (автостереотип). Возникает картинка, объем. Свидетельства изнутри, может быть, и более пристрастные, но и приближенные к месту. Тогда как взгляд со стороны в глубь веков если и может заглянуть, так только с подсказки дежурного экскурсовода или последнего представителя отряда вымирающих кикимор — этой проблемой автор также озаботился в своем бестиарии...

Параллельно с описаниями у Бару происходит духовное осмысление населенных пунктов, что, учитывая моду на локальные тексты, предстает перспективным и с научной точки зрения. Особенно это касается незначительных локусов. Подход Бару пусть и зиждется на художественной основе, сквозь него проглядывает и методика профессиональных «текстуализаторов» пространства. М.Л. Лурье в статье «Элементы локального текста: методика контекстного анализа» выделял два основных принципа описания: «В одном случае исследователи пытаются, анализируя материал, прежде всего обнаружить общие идеи (или мотивы), доминирующие в городском самосознании и формирующие его специфичность. <...> Другой путь состоит в выявлении максимального репрезентативного ряда единичных объектов (напр., район города, прославленный земляк, изображение на гербе, эпизод городской истории и т.п.), которые в данном локальном тексте становятся предметом семантизации и фактором текстопорождения». Но это относится к научной работе. У Михаила Бару задача несколько иная: не отходя далеко от канонов краеведения (нон-фикшн в основе), развлекать читателя. Как сказано в отзыве на обложке: «Краеведения в этих записках не больше, чем в щедринских городских летописях». Добавим: но у книги краеведческая основа. У одной ее головы. Вторая, понятно, — чистая лирика: с элементами иронии и трагики.

Практическую пользу от работ Бару несложно доказать на собственном примере. Разрабатывая тему «Кимрского локального текста», я не мог пройти мимо «записок» Бару «Кольчуга из рыбьей чешуи» («Волга», № 3, 2010), в которых он сделал слепок с этого небольшого городка. Стереоскопия удивляла: были намечены (почти незаметно!) ключевые кимрские культурные константы: бывшее дворцовое село, обувная столица, развитая торговля, речная принадлежность, деревянный модерн... Даже элементы парадигматического анализа введены: в дореволюционное время обувщиками Кимры славились, а в наше благословенное только и вздыхают о былом величии...

Очевидно, с течением лет, когда старатели локальных текстов доберутся до самых незначительных городков и весей, удельный вес трудов Бару будет возрастать.

О недостатках книги и метода тоже можно написать. Даже повесть. Хотя головы у нее будут хилыми и субъективными. Остальное — крохи. Ну, не прописан Радищев в описании Торжка — велика ли беда? Не проставлены даты написания очерков — тоже не смертельно. Хотя и выглядит печальным анахронизмом: «Крыма тоже нет» — в составе страны. А на дворе (дата подписания книги в печать) лето 2014-го и доллар только готовится к ритуальным пляскам... В других местах, когда говорится о юбилеях тех или иных селений, датировка тоже не помешала бы. Некий скепсис по отношению к советскому прошлому — также общее место. Но дело, разумеется, не в этих мелочах.

Осталось сказать о симптомах времени. Для кого-то — разрушенных надежд, для иных — больших возможностей. Бару собирает анамнез российской провинции. Вот какая картина получается: «<практически любой населенный пункт> мало изменился за последние несколько сотен лет — те же добротные купеческие каменные дома, те же храмы, та же Ока... только все обветшавшее донельзя». А если сотни лет сузить до последних двадцати — тридцати, предстанет такая картин(к)а: «Словно в одночасье исчезли тушенка со шпротами (. — .), а за ними пропала и зарплата. Люди ждали, ждали... и стали охотиться на птицу, зверей, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. Не все, конечно. Многие, чтобы скрасить ожидание, запили». И, конечно, родственное выражению «Пожрала саранча»: «Купили москвичи». И: «Кто не пьет — тот едет в Москву на заработки». Ничего не напоминает?

Конечно, жизнь в крупных городах и столицах нашей одной седьмой отличается диаметрально. И в провинции бывают уголки счастья (ключевое тут: «бывают»). Но чаще наоборот. Работая в течение десяти лет журналистом районки, я не раз выбирался в сельскую глушь. Был я свидетелем и такой сцены. В одном достаточно крупном селе глава района оптимистично спросил у местных школьников: «Кто хочет после окончания школы остаться в районе и трудиться на благо его процветания?». Тишина висела вплоть до следующего — осторожного — вопроса главы: «А кто собирается уехать?». Поднялся лес рук...

Однако заканчивать на минорной ноте рецензию о действительно хорошей книжке Михаила Бару — неправильно. Вылавливаю одну из помеченных мною цитат: «в <тут

тоже можно вставить название города, но далеко не каждого > нет заброшенного завода, а есть действующий. Такое у нас, хоть и не слишком часто, но случается». И, любя свою страну, итожу: дай Бог, чтобы случалось почаще. И становилось правилом, а не исключением из него.

Плеромантика

Ирина Перунова. Коробок. — М.: Воймега, 2014.

В недежурном и по-доброму пристрастном предисловии для этой книги Анатолий Найман написал: «Я не стану выщипыванием цитат портить впечатление от цельности каждого стихотворения и корпуса в целом». Тут скрыта не лень и не хитрость корифея. Действительно, и «Коробок», и каждый из составивших его текстов являются собой вполне законченные фрагменты бытия. Поскольку автор предисловия уже оставил за собой способ разговора о стихах без их цитирования, нам остается иной путь. Честно говоря, неизмеримо более простой: на примерах же всегда легче обосновать суть:

Реки на нем, огневидные реки.
И переходят себя они вброд,
пренебрегают, бегут от опеки
всех берегов и свиваются в свод
неба — на з литом тушью картоне.
Жалко, а нечем помочь комару,
влип, бедолага, и в лужице тонет.
Не прикасался бы лучше к перу.

(« »)

Вот так. Человек подробно рисует цветной тушью не очень дальнюю, но все-таки чужую планету. С огненными каналами и странным небом. И первым астронавтом тут оказывается земной комар, встречая предсказуемую гибель всерьез. Комара жалко, но картина-то вот — осталась. Художник-то, может, еще маленький возрастом совсем. Только финальный вздох про зрящность прикосновения к перу заставляет и его тоже подумать об ином Творении. О том, где комар соотносим с уже не нарисованным, но подлинным Марсом. Один из них огромен, а другой — жив. Проблема остается прежней: кто ценнее и правомерен ли вопрос в принципе?

Получается фрактал: в капле туши отражается мир, как он есть, а в одном тексте — поэтическая Ойкумена автора. Оба положения донельзя банальны и в своем беспримесном виде ценности б не имели. Более того: такое стремление поместить в одно стихотворение все сущее свойственно в первую очередь дебютантам. А Ирина Перунова — поэт, давно присутствующий в литературе, представление о ее поэтике у читателей устойчивое, внятное. Хотя, с другой стороны, публикаций в изданиях Журнального зала очень немного, на хороших сайтах подборки появляются и того реже, на плохих ее нет вовсе. Этот факт ведь тоже что-то да значит. Ибо что есть «плохой сайт»? За редким исключением — структура, самовлюбленный хозяин которой использует стихи понравившихся ему авторов для придания величия собственным текстам. Дескать, вот смотрите: они как я мыслят и как я пишу. Стало быть, и я один из них!

С Перуновой подобный фокус не пройдет. Подражать ей бессмысленно. Нет ни сложных технических приемов, ни модных философских одежек, скрывающих пустое. Порой усложнена схема рифмовки, но кого нынче этим удивишь? И вообще, рифма ведь же позавчерашний день, да? Меж тем, этот устаревший с точки зрения изощренных стихотворцев элемент в стихах Ирины Перуновой остается серьезным рабочим инструментом. Вот как в следующем стихотворении, где рифма следует за взглядом туриста, охватывая сперва тканую поверхность целиком, затем сосредотачиваясь на крупных деталях, за

ними воспринимаемая цветовую гамму, далее скользя к мелочам и вдруг после не слишком, кажется, убедительных слов экскурсовода — проникая через времена:

Плотью исхудалой гобелена
горбится Еленина столица —
Троя травяная, шерстяная,
траченная молью Троя в лицах
выбывших. Но вглядываясь в пятна:
— Вот она, прекрасная Елена! —
утверждает гид, и всем понятна
пятнышка нетленная измена.

(« »)

Тема связи времен вообще одна из главных в сборнике. И путешествие сквозь времена кажется необременительным, легким почти. Дело не только в общей внешней легкости стиля, а в особой поляризации света, что ли. Знаете, ведь как бывает: падает освещение на зеркало особым способом, и лицо собственное кажется молодым. Случается и наоборот, конечно. Но иногда и не только собственное лицо проявляется в этом свете:

Зачем я вижу всех детьми:
и деда, ветхого деньми,
тетя-богомолк — Вер и Надь,
и плохишей-героев дядь,
и в серединке — мамой
любуюсь, детской самой.
<...>
Никто никем не отменен,
есть наше время у имен.
Моя прекрасная родня,
давно минувшая в меня,
на свет глядит моим зрачком
и ловит бабочек сачком.

Обратим внимание: не только автор способен к движению по темпоральной оси. «Наше время у имен» подразумевает такую возможность для всех и для всего. Возникает аналогия с апперцептирующими монадами Лейбница — простыми и всепроникающими сущностями, достигшими самоосознания. Лирический герой книги — совокупность таких монад, и мир — совокупность таких монад. Индивидуальность вещей и существ становится лишь занавесом, скрывающим глубинное их единство.

Кажется, в теперешней нашей литературе есть лишь один еще поэт, столь же все-рвез и в сходном направлении решающий проблему всеединства различающегося. Сравнивая с ним Ирину Перунову, я попадаю в довольно странную ситуацию и риску показаться довольно неумным. Но для рецензента это естественно. Человеку вообще свойственно ошибаться, как заметили уже очень давно, а уж человек, пытающийся разобраться в чужих, хотя и очень интересных для него текстах, на ошибки просто обречен.

Так вот: по лености и для удобства работы я, кроме типографского издания книги, запросил еще и электронный ее вариант. Файл, присланный мне, назывался «Коробок_для_Кости». Кто этот Костя, гадать особо не приходилось: поэт Константин Кравцов, муж Ирины Перуновой. Нет-нет, делать непосредственные параллели между текстами книги и какими-то событиями семейной жизни было бы уж слишком наивно. Хотя, как мне кажется, в книге есть минимум одно стихотворение, представляющее семейную (в прошлом) пару, знакомую и автору, и рецензенту. Опять-таки, могу ошибаться, а стало быть — сплетничать, хоть и неавно, но уж слишком литературный мир невелик, а к распространению и восприятию слухов предрасположен:

Эники-беники, ели вареники:
— На квинтэссенции женской истерики,
Оленька, можно ль поэту жениться?!

— Ты же и сам, извини — роженица,
жертва, беременный Ангелом слух...
Где Боливар, чтобы выдержал двух?
Та — без уздечки загонит табун!

— Да, поэтесса поэту — табу.
В гомики, в гномики лучше, в скопцы.
Эники-беники, дрянь голубцы!

Хотя угадал или нет — дело третье. Да и слишком далеко ушел от темы сходства литературно-философских поисков Ирины Перуновой и Константина Кравцова. Конечно, и у столь разных авторов можно найти почти идентичные сквозные образы: север, как воплощение простора и расчеловеченности, мировая живопись (у Кравцова — чаще Босх, у Перуновой самые разные творцы), вода и воды в разных агрегатных состояниях... Но внешних различий куда больше. Все-таки Кравцов склонен к прямому сопряжению совершенно далеких сущностей, к метафоричности, к одушевлению неодушевленного, к мощной неомифологии, в конце концов. В стихах же Перуновой чаще встречаются пространственно или природно близкие сущности, соединяющиеся до неразличения. Даже тавтологические или каламбурные рифмы тоже работают на ощущение единства всего со всем, на чувство всеобщей связности и взаимоперетекания.

Есть такое понятие: плерома. Чаще его использовали гностики для обозначения первоначальной полноты бытия. Той, что существовала до порождения нашего дольного мира. Хотя и в христианстве термин не так уж редок. Скажем, у апостола Павла: «18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долготы, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. (Еф. 3:18–19)». Вот полнота эта и есть плерома. В первую очередь полнота любви, конечно. А еще — полнота познания мира целиком и сразу. Полнота приятия его тоже.

Иногда плерома эта кажется почти достижимой и здесь, на Земле. Помните вот эту легкость переходов в пространстве и даже во времени? Увы, лишь почти. Мешает все-таки эфемерность соединения тех самых монад. «Каждый крепок, хоть непрочен» — пишет Ирина Перунова. Да, человек более подобен не канату, но стеклу, выдерживающему сильнейшее давление, а потом вдруг ломающемуся от легкого удара. Вот где-то тут и становится время навсегда линейным, делается горкой, желобом, по которому один путь — вниз. А скорость пути все возрастает до самого финала. Но, опять-таки, паче собственной судьбы, тревожит нарушение полноты бытия. В первую очередь наиболее очевидным образом — крах, грозящий ближайшим людям, тем, в чей зрачок предстоит теперь перейти, как в твой перешли «тети Веры и Нади». Вот как им, остающимся въяве, облегчить расставание:

«Всего-то год. И год уже» —
вот все, что на сердце шепнется.
Ты прогуляйся, пусть бомжей
озябших стайка встрепенется,
когда подашь, что Бог пошлет
тебе в тот день, как минет год.

Поддай старухе вековой,
торгующей какой-то рванью,
мой полшубок меховой —
авось не разразится бранью.
И милой девочке, в трамвай

спешащей как-то угловато,
ты руку ласково подай,
как подавал и мне когда-то.

Купи поджаристый батон,
располовинь (прости мороку) —
одною накорми ворон,
другую — прочую сороку.
А хочешь, все наоборот:
зови гостей, затепли свечи!
Любимый, только б минул год,
там будет легче, легче, легче.

Вновь парадокс: откуда в этом тексте исходит речь? Из «здесь и сейчас» в предстоящее? Как указание на случай преждевременного расставания? Формально да, легче всего так и предположить. Но слишком уж неоднозначен финал: «там будет легче, легче, легче» — местоимение ведь можно прочесть и в ином, базовом его значении, как наречие, отвечающее на вопрос «где?», а не «когда?». Тогда смысл делается куда более жутким. А с другой стороны — опять-таки, небезнадежным. Если alter ego автора нуждается в заботе, то коммуникация по-прежнему возможна, хоть и серьезно затруднена.

Такая вот у этой книги система образов, напоминающая систему зеркал. Только странным образом — не зеркальный лабиринт, но конструкцию, указующую путь к выходу. Не впрямую указующую, конечно. Скорее, чуть подсвечивающую. Но человек-то сам по себе обитает в таком мраке, что всякому проблеску рад. К счастью, бывают, хоть и редко совсем, подобные поэтики: с первого взгляда удивительно несложные, по мере погружения внутрь кажущиеся ужасно герметичными, а при совсем пристальном чтении — сообщающие тебе нечто важное о тебе же. Главное — оказаться готовым к восприятию этого важного. Оно пригодится. Обязательно пригодится.

Биография как образ жизни

Муза Раменская. *История Подъяпольских. Пять поколений в XX веке.* — М.: Время, 2014.

Эта книга — подробный рассказ практически обо всех людях, составляющих генеалогическое древо рода Подъяпольских, которому принадлежит автор, Муза Евгеньевна Раменская, кандидат геолого-минералогических наук и ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сбор материала для подобной книги очевидным образом подразумевает масштабную научную работу: «История Подъяпольских» демонстрирует выдающийся опыт компиляции огромного количества единиц информации.

Жанр книги — роман-биография. Кропотливо собраны архивные данные, письма родственников, статьи и фотографии в приложении. Факты изложены безо всяких художественных изменений, а последовательность их диктует хронология. Перечисление ключевых событий, происходящих в жизни родных, чередуется с материалами, содержащими необходимую достоверную информацию — данные в минимально обработанном, практически первозданном виде, они обеспечивают ощущение непосредственного наблюдения. Например, дружба П.П. Подъяпольского и Н.И. Вавилова представлена чередой писем с авторскими комментариями. В книге довольно подробно рассказывается об исследованиях Петра Петровича Подъяпольского в области гипнотерапии, приведена даже программа курса лекций, которую он читал своим студентам, и письма от пациентов. Помимо самого Петра Петровича книга также вмещает множество других героев — собственно все пять поколений, вынесенных в название. Некоторые отсутствующие дан-

ные о событиях и людях не просто пропущены, но честно обозначены как пропущенные, их не так много. Однако сразу понимаешь, что цель исследования — отнюдь не в сухом протоколировании. Это живой калейдоскоп из сложных человеческих судеб, научных открытий, забавных случаев. По мере прочтения перед глазами постепенно проступает отчетливая картина генеалогического древа, тем более величественная, поскольку охватывает несколько исторических вех: от Первой мировой войны до падения Советской власти. В заключение книги Муза Евгеньевна пишет: «Разве достойны внимания только дневники великих людей, таких как В.И. Вернадский и С.И. Вавилов, толстые тома которых выходят сейчас один за другим? Не менее интересно читать написанное обычными людьми сто или семьдесят лет назад». Тем более подходящим оказывается эпиграф книги: «История — это повседневная жизнь обычных людей» (Л. Шендерей).

Жанры биографии и автобиографии всегда были невероятно популярными. Дело, с одной стороны, в том, что биографической литературе каким-то непостижимым образом удалось сочетать сразу нескольких литературных традиций — романтизма, реализма и символизма.

Тотальная концентрация на личности в том виде, в котором она может встретиться в произведениях искусства сегодня, происходит родом из романтизма. По сути своей романтизм — это торжество самоценности личности. В герое романтическом, обуреваемом страстями, нас интересует прежде всего характер, сущность, то, как он проявляет себя в предлагаемых обстоятельствах. Сами обстоятельства тоже важны, но в первую очередь именно в том отношении, как они повлияют на рассматриваемого героя*. Что касается биографии, то центральный ее элемент — личность.

Как известно, вслед за романтизмом последовало правдивое воспроизведение действительности. Ничто не может сделать повествование более натуральным и правдоподобным, нежели использование реальных (или убедительных) фактов. А ведь факт — это неотъемлемая составляющая любой биографии, не важно, является он реальным или предлагается к читательскому восприятию как таковой.

Когда же символизм объявил «символ» основным художественным средством, появилась возможность воспринимать самую человеческую жизнь и последовательность событий, заключенную в ней, как некий знак и самоценный смысл.

В результате вот уже сто лет элемент биографии в той или иной степени присущ почти любому художественному произведению, потому что людям интересно читать о других людях. Конечно, не обо всех, а о хоть сколько-нибудь выдающихся, но наш глубинный интерес к человеческой судьбе делает сколько-нибудь выдающимися почти всех. В связи с этим вспоминается часто слышимая, практически крылатая фраза: «каждый человек может написать хотя бы одну книгу — книгу о самом себе», где имеется в виду, что «книга о себе» или «книга о человеческой жизни» будет интересна априори.

В этом отношении книга Музы Евгеньевны Раменской очень показательна. В ней есть все, что необходимо хорошей биографии: личность, на которой сфокусировано внимание, основные и значимые факты, направляющие ее жизненный путь, который приводит к некоторому логическому завершению — рождению следующего представителя рода, — кроме того, цикл повторяется несколько раз. Череда судеб нескольких поколений, собранных вместе, позволяет взглянуть на жизнь с высоты птичьего полета. Уважение к своим предкам, воссоединение их опыта с целью сохранения и приумножения — вот что такое «История Подъяпольских». На мой взгляд, это и есть культура.

*

Он, она и оттепель: от диктата условностей к пространствам свободы

Наталья Лебина. *Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель.* — М.: Новое литературное обозрение (Библиотека журнала «Теория моды»), 2014.

«...на взаимоотношениях мужчины и женщины в общем-то держится мир», — замечает Наталья Лебина в предисловии к своему исследованию. На чем бы ни держался мир на самом деле, советский культурный перелом конца пятидесятых — начала шестидесятых годов прошлого века автор показывает именно на этом материале: не только взаимоотношений полов, но шире — их культурных судеб. Она рассматривает их сквозь призму тех моделей поведения, образцов и средств выстраивания себя, которые предлагала людям эпоха «оттепели».

Это сюжет тем более интригующий, что культура того времени была в некотором смысле уникальной: она постоянно менялась, дорастая до собственных задач. На протяжении нескольких — оказавшихся очень большими — «оттепельных» лет ей приходилось все время изобретать самое себя, нащупывать, собирать из подручного материала такие модели человека, которые, как тогда казалось, должны были пригодиться в будущем.

К самым важным чертам тогдашних перемен — как нам в книге и показывается — принадлежало жадное, часто неумелое и неуклюжее, но очень заинтересованное освоение пространства самоценной частной жизни, только-только получившей надежду на высвобождение от тотального государственного и идеологического контроля. Разумеется, она благополучно попадала под его власть снова — разве что в новых обликах, еще не освоенных и потому волнующих и вызывающих доверие: «совершенно бесспорно», пишет Лебина, что даже «в условиях десталинизации и либерализации советской социально-политической системы и, главное, структур повседневной жизни <...> стилистику взаимоотношений мужчин и женщин определило не что иное, как государственная политика. «Перемены гендерного уклада», с энтузиазмом воспринятые массами (включая интеллектуалов — литераторов и кинематографистов), были заложены «с помощью нормативных установок власти». И еще того более — в начале «оттепели» власть оказывалась даже радикальнее массовых ожиданий и массовой готовности: ее инициативы, говорит Лебина, некоторое время даже «опережали общественные устремления основной массы населения, энергия которой была пока сосредоточена на поисках стратегий выживания в условиях тоталитарной гендерной системы».

С другой стороны, люди обживали эти заданные им сверху и извне «нормативные установки власти» как собственный дом — и превращали его в пространство своей свободы, индивидуальности, интимности. Внешнее становилось внутренним.

Лебина показывает, как все это происходило — на множестве уровней: от косметических средств, приемов ухода за волосами и видов нижнего белья до законодательства и высокой моды, не говоря уже об идеалах красоты и этических нормах. Она пишет о том, как тело становилось проводником ценностей и важнейшей территорией их осуществления. За пределами рассмотрения остается, правда, довольно многое: скажем, гастрономические практики, оформление интерьеров, заполнение свободного времени, чтение — видимо, предполагается, что гендерных аспектов у всего этого не было или они были незначительны (что, кстати говоря, совсем не так). Но, во всяком случае, внимание здесь достается большому разнообразию способов, с помощью которых мужчины и женщины того времени старались быть друг для друга привлекательными и интересными, выстраивали и толковали свои отношения — и как этими же самыми сетями улавливало их и подчиняло себе государство.

Все с этим связанное рассматривается в десяти главах: от предоставлявшихся тогда культурой пространств знакомства и танцевальной культуры, через особенности брачных обрядов, репродуктивность, аборт, контрацепцию и — нет, не до развода с его юридическими механизмами. Развод и супружеские измены с теми формами, которые они принимали во времена оттепели — как раз в середине книги, в главе пятой. Остальные же пять глав — все целиком, вы не поверите! — о красоте. Об эстетических идеалах «оттепели» и их истории, прослеживаемой вплоть до революционных времен, о многообразии аспектов красоты и, главное, средств ее достижения.

Как-то само собой получается так, что именно вокруг красоты разворачиваются основные пространства, сводящие вместе мужчину и женщину (знакомства, брачные обряды и прочее — это же все, оказывается, внутри эстетических пространств!). Так подробно говорить о ней приходится и потому, что изменения в представлениях, связанных с красотой, с разлитыми в воздухе ожиданиями от человеческой внешности, — существеннейшая часть трансформаций, случившихся с нашей культурой в годы оттепели. Лебина вписывает происходившее тогда в мировой контекст — показывает, что мы, при всех наших особенностях, совершенно вписывались в общемировые процессы. «Разразившаяся в 1960-х годах сексуальная революция, привнесенная в европейскую культуру из США, и бурное развитие научно-технического прогресса, в частности химической индустрии, не могли не породить нового отношения к проблеме красоты. Эстетические идеалы телесности мужчин и женщин менялись: на смену красоте естественной, природной приходила красота искусственная, создаваемая с помощью косметики, парикмахерского искусства, пластической медицины. Советский Союз, приподнявший в годы хрущевских реформ «железный занавес», который отделял его от остального мира, тоже испытал на себе влияние этих тенденций. Под их влиянием трансформировались каноны мужественности и женственности и даже в какой-то мере гендерный порядок».

Далее нам рассказано, как идеалы «естественности», господствовавшие на заре советской власти, уже с середины 1930-х годов уступали натиску очарования многообразной «искусственности», от косметических процедур до синтетических тканей — и как, неистребимые, брали с конца пятидесятых реванш, делая популярной, например, прическу «колдунья» (длинные прямые волосы, распущенные по плечам, как у героини Марины Влади в одноименном французском фильме, поразившем советских зрителей в 1957 году) или вообще небрежную причесанность, бороды, грубые хемингуэвские свитера. Как стилисты спорили с привычками своего окружения к аскетичности и однообразию одежды сталинского времени, заодно — по каким книгам и фильмам молодые люди обоего пола учились тому, как надо одеваться и кому подражать. Какие баталии и драмы разворачивались вокруг ширины брюк — на сужение которых, по словам цитируемого автором Андрея Битова, ушли «лучшие годы нехудшей части нашей молодежи». Как изощрялись в добывании и изготовлении красивой одежды в условиях дефицита, как выглядел (кстати, и какие глубокие корни имел!) стиль унисекс в его «советском варианте» и чем эротически напряженный унисекс шестидесятых отличался от вроде бы сопоставимого явления сталинского времени. Как курение вплеталось в стилистику тогдашнего поведения. Как все это сказывалось на самоощущении людей и на характере их отношений друг с другом. И наконец, — как ко всему этому относились власти. (Да нервно, нервно они к этому относились. Что лишь придавало связанным с красотой сюжетам особенный драматизм и насыщало их смыслами свободы в такой степени, которая сегодняшним людям уже, пожалуй, незнакома.)

Как справедливо замечает автор, «гендерный фон оттепели и хрущевских реформ почти не изучен отечественными историками». Исследование Лебиной — лишь в самом начале этой работы. Оно действительно вносит в такое изучение весьма существенный вклад — уже хотя бы одним только объемом вовлеченного в рассмотрение материала, не говоря уже о его основательном анализе. Но вообще разговор получается принципиально более широким — даже притом что некоторые важные аспекты повседневности, как мы уже заметили, остаются без внимания.

Он выходит далеко за пределы обсуждения — весьма тщательного — отношений между двумя данными нам природою полами и их конкретных культурных обстоятельств: речь идет, по существу, о том, как культура учит (и вынуждает) человека быть человеком. О том, как (и почему) она поощряет, развивает, заостряет одни стороны общечеловеческой цельности, оставляя в тени, не востребуемыми или подавленными, другие; как идеи подчиняют себе эмоциональную и телесную жизнь. И еще — как в культурных установках и ценностях, действующих в интересующую нас эпоху, продолжают, преломляются, изменяются ценности прежних культурных состояний (в частности, как в культуре оттепели вспоминаются — и преодолеваются — представления двадцатых и тридцатых годов).

Все это тем более важно, что Лебина — автор, чрезвычайно сдержанный в своем теоретическом воображении. Она, насколько возможно, избегает широких обобщений, взамен того максимально плотно насыщая свое исследование фактическим материалом,

документальными свидетельствами, живыми голосами времени — цитатами из воспоминаний, дневников и художественной литературы. Кстати, и фотографиями.

Она рассматривает, по существу, человека в целом — спроецированного на весь, кажется, спектр культурных практик, связанных с отношениями между мужчинами и женщинами. Впрочем, нет, опять-таки не на весь: ни воспитание детей (условия рождения или нерождения которых так тщательно проанализированы в главе четвертой) — в частности, с привитием разных поведенческих моделей мальчикам и девочкам, ни вообще «рутинная» семейная жизнь между экстремальными точками встречи и расставания, свадьбы и развода — как совместная практика и область взаимодействия носителей «женских» и «мужских» моделей поведения здесь, увы, не рассматриваются. Хотя это как раз было бы очень интересно и к гендерной проблематике уж точно относится.

Конец мифа о Ренате

Н.И. Петровская. *Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика. Составление: М.В. Михайлова; вступительная статья: М.В. Михайлова и О. Велавичюте; комментарии: М.В. Михайлова и О. Велавичюте при уч. Е.А. Глуховской. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014.*

Самое удивительное в этой книге — ее объем.

Кто для нас Нина Петровская? Одно из главных имен в донжуанском списке Брюсова, ведьма Рената из его романа «Огненный ангел», героиня хрестоматийного очерка Ходасевича «Конец Ренаты», жена издателя альманаха «Гриф» Сергея Кречетова и более или менее мимолетная возлюбленная едва ли не всех мэтров и «младших богов» русского символизма, от Бальмонта и Андрея Белого до почти забытого Сергея Ауслендера. Наркотики, алкоголь, нищета, самоубийство — ну и что могла написать эта роковая женщина? Тоненькую книжку плохоньких рассказов, несколько рецензюшек в «Весах» (еще бы Брюсову ее не печатать!), потом, разумеется, мемуары...

И вдруг — толстенный том, без малого тысяча страниц. Проза, воспоминания, очерки, политические заметки, рецензии, обзоры. Годы, десятилетия (пусть с перерывами) кропотливой и добросовестной газетной работы — по призванию и ради скромного заработка. И вот перед нами уже не *femme fatale*, а — выражаясь языком некрологов из какого-нибудь бесконечно чуждого Петровской «Русского богатства» — «честный литературный труженик». Профессиональный литератор со своим путем, со своими извивами и этапами, с внутренней логикой развития.

Это, конечно, не значит, что Петровская была крупной писательницей. Приятели «грифовцы», имевшие доступ к газетным полосам, иногда делали ей печатные комплименты, причисляя к «главным богам» отечественного декадентства, но это не более чем историко-литературный анекдот. Ее проза вовсе не так плоха, как принято считать, но почти без остатка сводится к единому инварианту. Во всех ее рассказах, в сущности, есть лишь одна тема: роковая любовь. Любовь отвергнутая, поруганная, разбитая — и в этой отверженности и разбитости обретшая смысл и завершение. Ее герои — на грани сумасшествия, накануне самоубийства — упиваются своим несчастьем, понимая, что без него не познали бы в жизни чего-то самого главного.

Рецензентом Петровская была образованным, с неплохим вкусом, иногда тонким в оценках — но и только. Ее никак не назовешь блестящим критиком, законодательницей мод. В «весовский» период она играла роль своего рода чиновника по особым поручениям при Брюсове. Когда его гимназический друг Владимир Станюкович выпустил записки о русско-японской войне, редактор «Весов» заказал рецензию Александру Курсинскому, но тот написал отрицательный отзыв. Брюсов текст Курсинского забраковал и обратился к Петровской, которая отозвалась о «Пережитом» почти восторженно. Это вовсе не значит, что Петровская была неискренна, книга Станюковича, по-видимому, действительно произвела на нее глубокое впечатление, неслучайно она через несколько лет после публикации в «Весах», когда «информационный повод» уже давно исчез, поместила

заметку о «Пережитом» в массовой газете «Столичное утро», где в то время сотрудничала. Просто она была спутницей Брюсова не только в жизни, но и в литературе, взгляды и вкусы мэтра настолько пропитали ее, что совпадения конкретных оценок были практически неизбежны.

Вероятно, брюсовской школой объясняется и отсутствие в журнально-газетных публикациях Петровской надрыва, истерики, специфической символистской «экстатичности» — всего того, что с избытком обнаруживается в ее письмах и бытовом общении (выразительное описание последнего дает включенный в том рассказ эмигрантского литератора Юрия Офросимова «Джеттатура»). Соблазнительно увидеть «заочное» влияние Брюсова и в послереволюционном идеологическом повороте Петровской, приведшем ее в начале 1920-х в берлинскую сменовеховскую (читай — просоветскую) газету «Накануне», где писательница в многочисленных рецензиях и обзорах восхищалась Казимиром и Всеволодом Ивановым и побивала Гиппиус Николаем Тихоновым. Однако, по всей видимости, дело обстояло сложнее, порукой чему — искренняя ненависть к эмиграции, которая сквозит в публикациях Петровской тех лет. Ей, безытной, почти бездомной, было — и должно было быть — отвратительно все устоявшееся, стабильное, имеющее почву под ногами. Русские эмигранты, бежавшие, как «бараны за вспугнутым стадом», спасая свои «сундуки и картонки», были частным случаем этого отвращения, этой ненависти. Петровская прошла этот путь раньше их, по собственной воле, и зашла дальше. Плюс, конечно, практически неизбежное для ее круга «антимещанство» и социалистические чаяния молодости, воплощение которых померещилось ей в «огненном лике Революции», в ее «благодатной катастрофе». Ну как тут было не соблазниться приглашением в «Накануне», где к тому же аккуратно платили недурные гонорары?..

Составители тома проделали огромную работу: нашли тексты Петровской, рассыпанные по журналам и газетам первых десятилетий XX века, осмыслили, снабдили научным аппаратом. Разумеется, как и любой масштабный труд, это издание не только вызывает восхищение, но и провоцирует полемику. Так, спорными представляются некоторые композиционные решения составителей, рубрикация книги. Едва ли уместно было помещать интервью с Горьким или записанные «по горячим следам» венециано-швейцарские впечатления в раздел «Воспоминания» вместе с мемуарами Петровской. Почему очерки о Брюсове, Зинаиде Гиппиус, Алексее Толстом включены в раздел «Статьи и очерки из “Накануне”», а не в «Критику», где также специальный подраздел отведен материалам из берлинской газеты? Да и нужно ли было разбивать публикации из «Накануне» на два раздела?

Но все частные несогласия и сомнения меркнут перед простым чувством благодарности составителям. Они исполнили долг не только историко-литературный, но и человеческий. Петровская прожила трудную, страшную жизнь, в которой радости было куда меньше, чем горя. При всей экзальтированности она трезво осознавала свое место в литературе, была лишена характерного графоманского самопоения и не оставляла, в отличие от иных современников, практических рекомендаций авторам своей будущей «биографии с портретами» и указаний на ту единственную фотографическую карточку, которую она согласна «видеть в печати при собрании своих сочинений». Тем приятнее сознавать, что теперь у Нины Петровской есть новые читатели, а у читателей — этот замечательный том.

Пропущенное звено

Владимир Рецептер. *Принц Пушкин, или Драматическое хозяйство поэта.* — СПб.: Журнал «Звезда», 2014.

Имя В.Э. Рецептера не нуждается в представлении читателю. Его новая книга включает в себя статьи и исследования, посвященные драматургии. В центре внимания, разумеется, драматическое творчество Пушкина, изучению которого автор отдал немало лет своей

жизни. Пушкинские штудии В.Э. Рецеттера, становившиеся при своем первом появлении предметом широкого обсуждения, а порой и жарких научных полемик, сегодня уже вошли в классический фонд современной пушкинистики. Впервые собранные ныне под одной обложкой, они оттеняют и дополняют друг друга, предлагая читателю цельную концепцию пушкинской драматургии, захватывающую в своем развитии и притягивающую стройностью и новизной. Определяющей чертой этой концепции является, пожалуй, то, что она сложилась не только и даже не столько на страницах научных статей и в кабинетной тишине, но формировалась постепенно как объединяющая идея всей творческой деятельности автора — актера и режиссера, многократно решавшего проблему сценического воплощения пушкинского слова, создателя Пушкинского театрального центра в Петербурге, инициатора Пушкинских театральных фестивалей и книжной серии «Пушкинская премьера», ядро которой составили издания драматических текстов поэта.

В.Э. Рецеттер изначально отвергает привычное для литературоведов и ставшее уже расхожим мнение о несценичности пушкинской драматургии. Для него Пушкин — автор, видевший в драматургии особую художественную сферу и определявший ее задачи в тесной связи с театром, а потому только взгляд «со сцены» и сквозь призму театрального действия способен раскрыть пушкинский текст в его окончательной, подлинно шекспировской глубине. Шекспир, кстати, является вторым после Пушкина героем книги В.Э. Рецеттера, включающей несколько статей, посвященных «Гамлету». И соседство имен Пушкина и Шекспира, скрыто заявленное в самом названии «Принц Пушкин», представляется далеко не случайным. Шекспир служил ориентиром русскому поэту в задуманной им драматической реформе. «Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов», — напишет Пушкин в одном из набросков предисловия к «Борису Годуну». К Шекспиру же, как представляется, Пушкин обращался и как к учителю в технике чисто драматургического ремесла. «...При внимательном и непредвзятом чтении можно различить и выявить совершенно четкие и недвусмысленные “подсказки” автора будущим исполнителям ролей», — замечает В.Э. Рецеттер по поводу шекспировского «Гамлета». Но такого рода «подсказки» автор книги в равной мере вскрывает и у Пушкина, стараясь направить по ним современного читателя. Одна реплика, авторская ремарка, вопрос «как это может быть сыграно?» ведут нас к пониманию глубинных механизмов стремительно развивающегося пушкинского сюжета, к осознанию психологической сложности драматического лица, показанного во всем противоречии подсознательных мотивов поведения и скрытых побуждений. И вот уже перед нами Моцарт предстает не «гулякой праздным», а смертельно уставшим, мучимым совестью, темными подозрениями и одиночеством, по-настоящему трагическим героем, Дон Гуан — не дьявольским повесой, а человеком, готовым к нравственному перерождению и к гибели на этом пути, сознательно бросающим последний вызов судьбе; главным противником барона Филиппа, охраняющего свои сундуки, оказывается не расточительный сын, а само беспощадное и всепоглощающее время; молодой герцог Альбер, «проходной» на первый взгляд персонаж «Скупого рыцаря», становится едва ли не единственным двигателем скрытого сюжета пьесы; вызов, брошенный небу в гимне могучего председателя чумного пира Вальсингама, оборачивается для героя осознанием своего морального поражения.

Самая полемически заостренная часть книги — статьи, посвященные пушкинской «Русалке» и «Сценам из рыцарских времен», произведениям, печатающимся в пушкинских собраниях сочинений как незавершенные. Любой исследователь, принимающий тезис об их незавершенности, неизбежно задается вопросом, почему они были оставлены поэтом, или вдруг потерявшим интерес к сюжету, или столкнувшимся с какими-то непреодолимыми трудностями и так или иначе признавшим свою творческую неудачу. В своем продолжительном споре с традиционной академической текстологией В.Э. Рецеттер вновь опирается на театр, подкрепляя свою текстологическую интерпретацию рукописей опытом сценического воплощения этих пушкинских произведений. Видимая недоработанность текста еще не свидетельствует, по мнению исследователя, о нереализованности замысла. Пушкин остановился в работе над «Русалкой» и «Сценами» в тот момент, когда ощутил свою художественную задачу исполненной; впечатление же мнимой незавершенности создают излюбленные Пушкиным «открытые» финалы, в

определенной мере являющиеся вызовом читателю и зрителю, требующие от них совершенно иной меры сопереживания и проникновения в авторский текст.

Уже в первой своей критической статье 1820 года «Мои замечания об русском театре» Пушкин настаивает на недостаточности русской сцены и требует от нее «совершенной перемены методы». «У нас нет театра», — заявляет он в письме к П.А. Вяземскому от 6 февраля 1823 года «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической», — читаем в набросках предисловия к «Борису Годунову». При этом настойчиво ратую за «перемены», Пушкин, как совершенно справедливо пишет В.Э. Рецпер, имеет в виду не собственно драматическую литературу, а именно театр как комплексное сценическое действие, предъявляя и драматургам, и актерам, и зрителям равные требования — идеального единства сцены и зала, рационального осмысления спектакля и подвижного чувственного соучастия в нем. «Это какой-то совсем другой театр, менее всего только развлекательный», — заключает автор книги. Это театр, который пока еще «остается для нас , и, не освоив пушкинской “ ”, не добившись

каждой его роли, мы не поймем самих себя и своего будущего».

Книга о драматургии оказалась сама в каком-то смысле проникнутой драматургическим началом и потому очень живой и полифоничной. Позднейшие авторские добавления и уточняющие примечания к написанным ранее статьям, воспроизведенные диалоги автора со своими единомышленниками или же оппонентами передают то реально существующее многоголосье мнений и разных исследовательских подходов, на пересечении которых рождается новое слово о пушкинском театре.

н е з н а к о м ы й а л ь м а н а х

Полет «Чайки»

Чайка — Seagull. Литературный альманах. № 1 (2014–2015). (Большой Вашингтон.)

История американского русскоязычного литературного альманаха «Чайка» только начинается, в отличие от истории американского литературного русскоязычного журнала «Чайка». Появление альманаха отражает начало нового этапа существования глобального культурного проекта.

Журнал «Чайка» издавался в Большом Вашингтоне с 2001 года на русском языке. Его издателем и первым руководителем был Геннадий Крочик (1949–2014) — эмигрант из СССР, физик по образованию, публицист и общественный деятель по призванию. Практически все время журнал выходил на бумаге. В нем печатались авторы, пишущие на русском языке, со всего мира.

В июле 2014 года Геннадия Крочика не стало. По словам нынешнего редактора проекта Ирины Чайковской, после смерти Крочика журнал уже в августе снова начал выходить, но в электронном виде — сказались финансовые трудности, что нам очень знакомо. Знакома и та ситуация, что некоторые авторы перестали публиковаться в издании, не выплачивающем гонораров. Но гораздо больше талантливых людей хранят верность «Чайке», которая продолжает функционировать по сетевому адресу www.chauka.org: редактор сайта Марк Мейтин, автор Вадим Массальский, помогающий распространять лучшие статьи в сети, Элеонора Мандалян, Александр Сиротин, Александр Марьин и многие другие. То, что редколлегия «Чайки» задумала новый проект на бумажной основе, говорит о сплоченной и деятельной команде. На сегодня есть планы распространения альманаха: он будет продаваться на презентациях и творческих вечерах, а также в международном сетевом магазине «Амазон».

В работе над первой книжкой альманаха участвовали поэт и художник Иза Шлосберг, художник, график и эссеист Сергей Голлербах. Во вступительном слове к альманаху составитель Ирина Чайковская благодарит постоянных авторов «Чайки»: поэтессу второй волны эмиграции Валентину Синкевич, профессора, переводчицу, автора словарей и учебников Юлию Добровольскую и других, как давних друзей проекта, так и новичков.

Первую книгу альманаха посвятили памяти Геннадия Крочика. В нее вошли тексты пятидесяти шести авторов из Франции, Германии, Узбекистана и пр., но основное количество материалов — из России и Америки. Ведь делом всей жизни Крочика было «размывание» культурных и ментальных границ между россиянами и американцами. В 1982 году он вместе с десятью товарищами образовал «Группу за установление доверия между СССР и США», а в 1987-м помогал в выпуске независимого журнала «Гласность». Уехав в США в 1988 году, Геннадий Крочик строил «культурный мост» уже с той стороны океана.

Через эту призму и следует рассматривать бостонский альманах. Его в большинстве составляют материалы, связанные с Россией, и непосредственные отклики на недавние культурные события в нашей стране, к примеру, кинорецензии. Ирина Чайковская в рецензии «Чудище обло» анализирует «Левиафан» Андрея Звягинцева: по ее мнению, это фильм о правде российской жизни, а его неприятие на родине объясняется пословицей «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Михаил Лемхин подарил пространные рецензии фильмам Никиты Михалкова «Солнечный удар» и Алексея Германа «Трудно быть богом» («Солнечный удар» рецензенту не понравился совсем, а «Трудно быть богом» — наоборот). Не забыт и американский кинематограф. Элеонора Мандалян в блоке «Две кинорецензии» не столько рецензирует, сколько подробно рассказывает об истории создания приключенческого триллера «Черное море» с Джудом Лоу в главной роли и русско-американским составом артистов, а в статье «Золушка по-англо-американски» реконструирует «золушкиану» мирового кинематографа, чтобы найти место в этом ряду новой голливудской экранизации «Золушки». Ближе знакомят русских с американцами двуязычные страницы альманаха — переводы стихов Джудит Виорст в исполнении Галины Ицкович. Ни один аспект человеческой жизни, даже такой «нелитературный», как наркомания, не остается без внимания. Александр Сиротин из Нью-Йорка в проблемной статье «Внимание: наркомания. Почему наши дети могут стать или уже стали наркоманами» с цифрами в руках обосновывает высокий уровень подверженности детей выходцев из СССР и России этой страшной болезни.

По прочтении «Чайки» остается ощущение, что ты дотошно побеседовал с ее русскоязычными обитателями и понял, чем они живут и дышат. Вероятно, этим эффектом Геннадий Крочик был бы доволен.

Содержание альманаха поделено на четыре блока по тематике материалов: «1. Из недавнего прошлого. Время испытаний», «2. История и современность», «3. Россия и Америка», «4. Фантастика и сказки». Названия прозрачны: первый блок составляют материалы о поре политических репрессий в СССР (продолжающейся до конца 80-х, по некоторым мнениям). Здесь много документальных очерков, и даже проза публицистична — рассказ Серафимы Лаптевой «Баклажаны маринованные» о том, как девочка спасла родителей при обыске, спрятав письмо Сталину (написанное на ярлычке от банки «Баклажаны маринованные») в девичьем тайнике. Или «По следам репрессий. Среди них. Художественная версия событий 21–24 июня 1937 года» Назара Шохина из Узбекистана — рассказ, в котором выведен собирательный образ советского чиновника, ждущего ареста, и «собирательный образ» мыслей таких вот обреченных. «Рассказом» называет Ольга Кравчук из Симферополя текст «Изгнание народа», который, согласно авторскому пояснению, является «синтезом четырех разных наиболее точных воспоминаний о депортации» крымских татар. Иными словами, это литературная реконструкция трагических событий, но основной ее смысл — не эстетический, а публицистический.

«История и современность» обращается к более далеким дням, начинаясь с очерков Льва Бердникова о персоналиях екатерининского века, но потом «качается» от лет жизни Антониуса Ван Дейка и момента написания сонетов Шекспира к судьбе Лидии Чуковской и увлечении Марины Цветаевой живописью. В этот же блок текстов входят и рассказы, в том числе дебютантов «Чайки»: Ангелины Злобиной, Галины Бурчанской, Нади Бауман, Юлии Сабуровой и других.

Часть «Россия и Америка» объединяет самые разнообразные тексты — от рецензии на американскую постановку «Месяца в деревне» Александра Сиротина до грустных «размышлений русского американца» («Подводя итоги» Александра Маковоза). Наиболее яркая параллель, которую полемическая статья «Подводя итоги» рождает у российского читателя, — очерк Михаила Задорнова «Моя Америка», написанный в 1990 году, после первой поездки сатирика за океан, с дополнением от конца «нулевых». И Александр Маковоз, и Михаил Задорнов каждый по-своему объясняют, почему они разочаровались в американском образе жизни и мыслей. У Маковоза фактуры, разумеется, больше, так как он прожил в обстановке «толерантности» достаточно времени, чтобы приобрести не самое толерантное отношение, например, к невозможности родителя усомниться в компетентности школьного учителя своего чада, хотя бы даже некомпетентность была налицо... Не в большом восторге Александр Маковоз и от американского здравоохранения. Но самое страшное в этой статье — что она написана тяжело больным человеком: раньше автор боялся высказать свои мысли (в Америке не принято откровенничать с соседями, коллегами, приятелями по бару, иначе твое самое сокровенное может стать достоянием общественности или средством давления на тебя начальства). «Духовная же коррупция в Америке, как наш советский опыт подсказывает, искореняется намного более болезненно и совсем другой ценой», — пишет Маковоз в заключение. «Я серьезно болен, вряд ли успею узнать... Абсолютно чужая страна, абсолютно чужие люди, абсолютно чужая (нет — чуждая) культура». Статья написана с огромной болью.

И лишь замыкающий блок в альманахе «нейтрален» по содержанию — здесь нет «точки боли», не зашкаливает уровень социальной проблематики. Рассказы для детей и подростков везде одинаковы — в России, в Америке, на Луне...

В альманахе также присутствуют интервью Ирины Чайковской с писателем Виктором Ерофеевым, литературоведом Игорем Шайтановым — и интервью Вадима Массальского с Сюзан Лерман, спонсором Института российской культуры в США. Интервью интересные, а их размещение в структуре альманаха наводит на мысль, что составители рассматривали их как «отдушины» после эмоционально насыщенных, тяжелых для восприятия материалов.

В формировании первой книжки альманаха заметен тщательный и любовный подход составителей, старающихся показать в бумажном издании сетевой журнал с самой выгодной стороны. Один из «козырей» журнала «Чайка» — всеобъемлющая тематика, по-видимому, не знающая понятия «неформат». К сожалению, это качество не лучшим образом сказалось на альманахе. Чрезмерная разнородность публикаций несколько затрудняет чтение, равно как и то, что стихи идут вперемешку с прозой, эссеистикой, воспоминаниями и историческими очерками. Да и вообще материалов в альманахе, пожалуй, с перебором. Понятно, что составители руководствовались лучшими побуждениями — представить в одной книге все достойное. Очевидно, что редакция пока только ищет оптимальную форму. Посоветовала бы в перспективе сводить структуру альманаха к классическому образцу — делению текстов по рубрикации, а не по содержанию, ведь полностью выдержать тему не получается.

Смысловым и эстетическим «стержнем» альманаха является публицистика. Наиболее мощные по содержанию и художественные по форме публицистические очерки сосредоточены в первой части. Невозможно не отметить великолепную публицистику доктора исторических наук, историка богословия Сергея Бычкова «А в это воскресенье...». Отрывок из неопубликованной книги читается на одном дыхании, как захватывающий детектив — впрочем, это и есть детектив, основанный на реальных событиях. Автор пытается разгадать загадку убийства отца Александра Меня, которое до сих пор не раскрыто. Бычков находит нестыковки в известных версиях, попутно рисуя «человеческий» портрет священника. Но собственные предположения Бычкова в опубликованном фрагменте не высказаны. Воспроизводит несколько встреч с отцом Менем писатель Николай Боков в очерке «Священник Александр».

Вадим Горелик в документальном очерке «Каждый выбирает для себя... Герой и Палач — по обе стороны колючей проволоки Собибора» приводит неизвестные широкому кругу факты о лейтенанте Красной армии Александре Печерском, руководителе восстания заключенных в концлагере Собибор. Малая осведомленность россиян о Печер-

ском, достойном воинских почестей и благодарной памяти потомков, по мнению Горелика, объясняется тем, что Печерский «пережил клеймо изменника Родины, штурмбат (разновидность штрафбата), арест, увольнения, запреты. Он умер в 1990 году в Ростове-на-Дону, всеми забытый, не получив за свой подвиг от Родины, которую он защищал и за которую отдал здоровье, НИ ОДНОЙ награды, и похоронен на городском кладбище вдалеке от Аллеи героев». Горелик сравнивает «молчание» вокруг Печерского со скандальной «славой» собиборского палача Ивана Демьянюка. После этой публикации надо долго морально перестраиваться, чтобы читать дальше.

Случайно ли яркие публицистические материалы сосредоточены в начале альманаха, или это было решение составителей, чтобы заинтересовать читателя с первых страниц, — но после такого информационного потока и эмоционального накала многие публикации «Чайки» уже «не цепляют». Напомним, лучшее — враг хорошего. Хочется, чтобы в следующих книжках «Чайки» хорошее и лучшее пребывали в гармонии. А в том, что «Чайка» полетит дальше, сомнений нет.

АРИСТОВ Владимир — Больничная трилогия и еще один однолог. № 6

АСИМ Заир — Воздух. Повесть. № 2

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр — Правило муравчика. Сказка про бога, котов и собак. № 9

БЕРДИЧЕВСКАЯ Анна — Крук. Роман. № 7

БЕРЕЗИН Владимир — На суше и на море. Повесть света и тени. № 5

БОГАТЫРЕВА Софья — Уход. Из истории одного архива. №№ 2, 3

БОЧКОВ Валерий — Черви-козыри. Рассказ. № 5

БУНИМОВИЧ Евгений — Скула и даль. Три истории про поэтов. № 10

ВОТРИН Валерий — Лишко Стаханов. Рассказ. № 3

ГРОВОВА Наталья — Пилигрим, или Восхождение на Масличную гору. Повесть. № 9

ДАВИДОВ Георгий — Дом над обрывом. Повесть. № 3

ДОЛГОПЯТ Елена — Три рассказа. № 2

ЗОРИН Леонид — Ностальгическая диалогия. № 8

ИВАНОВА Наталья — Ветер и песок. Роман с литературой в кратком изложении. № 3; Ветер и песок-2. Роман с литературой в кратком изложении. № 10

ИГНАТОВ Сергей — Фидель да Габриэль. Повесть-фантазия. № 1

КАБАКОВ Александр — Камера хранения. Каталог. № 1; Не жди меня, сосед. Делирий. № 7; Под снос. Рассказ пьющего человека. № 12

КАМОВ О. — Прутик. Рассказ. № 2

КАПОВИЧ Катя — Белые горы. Рассказ. № 7

КИРЕЕВ Руслан — Письма из рая. Фрагменты книги. № 12

КИРОВ Александр — Деревня Русь. Повесть. № 2; Другие лошади. Повесть. № 12

КОЗЛОВ Владимир — Пассажир. Повесть. № 12

КОЖУХАРОВ Роман — Кана. Роман. Предисловие Леонида Юзефовича. № 8

КОЧЕРГИН Илья — Фея. Рассказы. № 2

ЛЕЩИНСКИЙ Андрей — Собаки. Рассказ. № 10

ЛИДСКИЙ Владимир — Улети на небо. Повесть. № 1

ЛОСЕВА Мария — Ночлегов. Рассказ. № 2

МАЛЕЦКИЙ Юрий — Как я побывал в Мадриде. Вступление Ирины Роднянской. № 12

МАТВЕЕВА Анна — Красный директор. Рассказ. № 8

МИНДОРИАНИ Саша — Лоскутное одеяло. Рассказы. № 9

МУРАТХАНОВ Вадим — Энские хроники. № 10

НЕКРАСОВА Евгения — Сестромам. Рассказ. № 1

НОВИЧЕНКОВ Артём — Дерево. Рассказ. № 5

ОСИПОВ Максим — пгт Вечность. Записки завлита. № 10

ПЕТКЕВИЧ Юрий — . Рассказ. № 12

РАФЕЕНКО Владимир — Пиво и сигареты. Рассказ. № 12

ПРАШКЕВИЧ Геннадий — ЗК-5. Повесть. № 6

РУБАНОВА Наталья — Адские штучки. № 3

РЯХОВСКАЯ Мария — Жид Архангел Михаил. Рассказ. № 2; Выйду замуж за психа, йога или пьяницу. Рассказ. № 12

СЕНЧИН Роман — Помощь. Рассказ из цикла «Чего вы хотите?». № 5

СТОПАЛОВ Сергей — Вести с давнего фронта. № 5

ТУЧКОВ Владимир — Эффект Гопкинса. N клинописных памятников с приложением аутентичных тостов. № 5

ТЯЖЕВ Михаил — Сникерсы. Рассказы. № 6

ХАЙКИН Игорь — Ebenda. № 7

ШЕВЕЛЁВ Михаил — Последовательность событий. Повесть. № 6

ШКЛОВСКИЙ Евгений — Альберт и Вики. Рассказ. № 9

АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Снимок, не попавший в проявитель. № 2

БАЙТОВ Николай — Эти лёгкие маски и жмурки. № 6

БАРАНОВ Андрей — Продаю гараж. № 12

БЕЛЯКОВ Александр — концы с концами. № 7

БОЧКАРЁВА Изабелла — Изабо. № 6

ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — Почему никто ничего не помнит? № 1

ВИРОЗУБ Михаил — Переключки. № 5
ГАДАЕВ Константин — Меж третьим и четвёртым перегоном. № 12
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — Жонглёр перед Марией с младенцем. № 3
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — Из Екклесиаста. № 1; «За соловьём не заржавеет...». № 9
ГЛотова Любовь — Подальше, за Волгу... № 3
ГОРБОВСКАЯ Екатерина — Скажите спасибо минёру... № 2
ЗВЯГИНЦЕВ Николай — За спиной у Тимирязева. № 9
КАЛУЖСКИЙ Александр — Лёд умолкнет, вступят топоры... № 8
КЕНЖЕЕВ Бахыт — Серёжки с бирюзой. № 5
КИМ Иван — Я у-чу де-тей в шко-ле глухих! № 10
КОНСТАНТИНОВ Всеволод — Никуда не вписавшийся многоугольник... № 1
КОЧЕЙШВИЛИ Борис — не видно нигде инженера. № 7
КРАВЦОВ Константин — Проектор теплохода. № 5
КУДРЯКОВ Алексей — Слепая верста. № 12
КРУГЛОВ Сергей — вот он тебе и вай-фай. № 6
КУРСАНОВА Марина — Навигации и вышние пилоты... № 3
КУШНЕР Александр — Тихий разговор. № 6
ЛЕВИН Александр — Озверин по копейке за баррель. № 8
ЛЕВИН Константин — «Я был не лучше, не храбрее...». Подготовка текста и вступительная заметка Владимира Орлова. № 5
МАРИНИЧЕВ Родион — Индостан. № 10
МАРКОВА Мария — Крылатки ясеня. № 8
МАШИНСКАЯ Ирина — Водительский ветер. № 7
ОСОКИН Денис — пролёты над тундрой. № 9
ПУРИН Алексей — Зияния. № 3
РЕЙН Евгений — Собаки и единороги. № 8
РЕЦЕПТЕР Владимир — Куда же ты едешь, служивый?.. № 2
РОМАНОВСКИЙ Александр — Посмотри — отвернись. № 9
РУСАКОВ Геннадий — За Джанкоем плотнеет земля. № 2; Ушла с цветами прима. № 12
САПРЫКИНА Серафима — Сизый ямб над головой. № 10
ТОЛОКОННИКОВА Ксения — Юрьев-Польской, Переславль-Залесский. № 7
УЛЮКАЕВ Алексей — Восемь строк о свойствах. № 1

ЦВЕТКОВ Алексей — вылет на тюмень. № 10

ЧУХОНЦЕВ Олег — Розанов прав. № 1
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — Ведро груздей. № 3

ЮСУПОВ Ислам — атхудародмбуиш. № 8

ХАРИТОНОВ Марк — Низкие обманы и высокие истины. № 6

ЭПШТЕЙН Михаил — Сверхпоэзия и сверхчеловек. № 1

КОВАЛЕНКОВА Настя — Пираты оврагов. Рассказы. Карт-бланш Людмилы Улицкой. № 8

НИКОЛАЕВ Сергей — Два тома Гоголя... Карт-бланш Вероники Долиной. № 7

ОСТАНИНА Анна — Рассказы. Карт-бланш Анатолия Курчаткина. № 3

АКСЁНОВ Василий — «Кто является истинными героями современной России?». Подготовка публикации, вступительная заметка и примечания Виктора Есипова. № 9

АРЬЕВ Андрей — Свет распада. Георгий Иванов: «Печататься... отдельно от "прочей сволочи"». № 12

БАЖЕНОВ Виктор — Сергей Параджанов: встречи. № 1

БОРИН Александр — «Уходят, уходят, уходят друзья...». № 10

БОРОВИКОВ Сергей — Григорий Фёдорович. Очерк. № 7

ГЛАДКОВ Александр — Дневниковые записи. 1971 год. Публикация, предисловие и комментарии Михаила Михеева. №№ 5, 6

ДЕРЖАВИН Владимир — Легкий шелк. Публикация Игоря Лоцилова. № 12

КАРЕТНИКОВА Инга — Портреты разного размера. Вступление Ирины Муравьевой. № 8

КРАСУХИН Геннадий — Мои литературные святцы. № 9

ЛИСНЯНСКАЯ Инна — Секрет грозы. Публикация Елены Макаровой. № 6

ПАСТЕРНАК Борис — Шесть писем Джону Харрису. Вступление, публикация и комментарии Ел.В. Пастернак. Переводы писем с английского А. Акимовой и Ел.В. Пастернак. № 12

ПИЛЬНЯК Борис — «...Потому что в мире, ночами, под луною — всегда человеку одиноко». *Неизвестные письма из Архива внешней политики Российской Федерации. Публикация, предисловие и комментарии Елизаветы Гусевой.* № 6

СЕРГЕЕВА Людмила — Об Анне Андреевне Ахматовой. *Воспоминания с комментариями.* № 7

СОЛОВЬЕВ Сергей — Олег Волков — первый рецензент «Колымских рассказов». № 2

ЧУДАКОВ Сергей — Оставшись летом в Москве, подражаю китайским авторам. *Поэма в 30 четверостишиях. Публикация и комментарии Владимира Орлова.* № 10

**Между жанрами. Образ мысли.
Studio. Россия без границ.
Непрошедшее. Советская
цивилизация**

АЙЗЕРМАН Лев — Виктор Некрасов в обработке ФИПИ. № 12

АМУСИН Марк — Сергей Носов: закулисье и захолустье. № 2

БОРОВИКОВ Сергей — В русском жанре-48. № 2

ГЕР Эргали — Теоретический тупик. *Документальная повесть.* № 9

ДЬЯКОВ Дмитрий — Воронежский литературный фронт. № 12

ЗЕЛИНСКАЯ Елена — Долгая память. № 10

ЛЫСЕНКО Валерий — Живое будущее. *Записки мрачного оптимиста.* № 10

МАЛАШЕНКО Алексей — Записки победленного. № 3

МАЗУС Израиль — Где же выход? № 7

НИВА Жорж — Русский кружок Женевского университета. № 1

ОРЕШКИН Дмитрий — Философия города. № 6

СИМКИН Лев — Завтрак юриста. № 8

УСЫСКИН Лев — Ход конем. № 7

ФРУМКИН Константин — Оправдание телевидения. № 3

ЭРЛИХ Сергей — Русская память. № 1

**Пристальное прочтение.
Книга как повод.
Культурная политика.
Nomenclatura**

БУЛКИНА Инна — Московская элегия. № 7

ГОФМАН Ефим — «Видны царापину рояля...». № 3; Превозмогая духоту. № 12

ЖОЛКОВСКИЙ Александр — Кто организовал вставание? № 10

ИВАНОВА Наталья — Непрерывное производство. *Десять тезисов о судьбе журнального дела.* № 9

КАРАСЕВ Леонид — Понять Чехова. № 8

КОНАКОВ Алексей — На полях домашнего хозяйства. *О стихотворном цикле Д.А. Пригова.* № 10

КОСТЫРКО Василий — В поисках родового тела. № 10

КРУЖКОВ Григорий — Три заметки о стихах Мандельштама. № 10

НИКИФОРОВИЧ Григорий — Фридрих Горенштейн: слон, не попавший в историю. № 7

ПУСТОВАЯ Валерия — Сердитый памятник нерукотворный. № 5

СКВОРЦОВ Артём — Три современных стихотворения. № 9

СТЕПАНЯН Карен — Метафизика и физика. № 3

СУРАТ Ирина — Два воспоминания на границах искусства. № 6

ТАНГЯН Ольга — Немецкие акценты Юрия Трифонова. № 12

ФРЕЙДИН Григорий — Сидели два нищих, или Как делалась русская еврейская литература: Бабель и Мандельштам. № 5

ЩЕРБИНИНА Юлия — Бойся книг, домой приходящих. № 8

ЭРЛИХ Сергей — Свидетельство о смерти. № 6

:

ЕЛИСТРАТОВ Владимир — Русский как креольский. № 5

ЗАХАРОВА Мария — Куда же он катится... язык наш русский? № 9

КЛЕХ Игорь — Куда ж нам плыть? № 7

КРОНГАУЗ Максим — Скажи — и я скажу, кто ты. № 2

АРЬЕВ Андрей, БАРМЕТОВА Ирина, БЕЛЯКОВ Сергей, ВАСИЛЕВСКИЙ Андрей, ЛИВЕРГАНТ Александр, САФРОНОВА Анна, ЭБАНОИДЗЕ Александр — «Толстые» журналы: три вопроса редакторам. № 1
КАБАКОВ Александр, КРУЖКОВ Григорий, КУЧЕРСКАЯ Майя, КЮНЕ Екатерина, ОРЛОВ Владимир, ФИЛИПЕНКО Саша, ЧУПРИНИН Сергей, ЧУХОНЦЕВ Олег — Говорят лауреаты «Знамени». № 3

ИВАНОВА Наталья — Пестрая лента-5. № 1; Пестрая лента-6. № 3; Пестрая лента-7. *Михаил Айзенберг. Справки и танцы; Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать Вяч. Вс. Иванов. Пастернак. Воспоминания. Исследования. Статьи; Пастернак в жизни. Автор-составитель Анна Сергеева-Клятис; Альфред Шнитке. Статьи, интервью. Воспоминания о композиторе. Автор-составитель Андрей Хржановский.* № 5; Пестрая лента-8. *Алексей Смирнов (фон Раух). Полное и окончательное безобразие; Юрий Богомолов. Прогулки с мышкой; Евгений Ермолин. Медиумы безвременья. Литература в эпоху постмодерна, или Трансавангард; Александр Жолковский. Поэтика за чайным столом и другие разборы; Критерии свободы. Первый Санкт-Петербургский поэтический конкурс имени Иосифа Бродского. Альманах победителей; Борис Парамонов. Стихи.* № 7; Пестрая лента-9. *Евгений Водолазкин. Дом и остров, или Инструмент языка; Алексей Колобродов. Захар; Ирина Врубель+Голубкина. Разговоры в зеркале; Николай Заболоцкий. Метаморфозы; Шенг Схейен. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда; Тюнде Сабо. Родословная «Сонечки»; Андрей Аствацатуров. Осень в карманах.* № 10
ЧУПРИНИН Сергей — Попутное чтение. № 2; Попутное чтение. Юрий Манн. «Память-счастье, как и память-боль...»: Воспоминания, документы, письма; Владимир Леонович. Деревянная грамота; Александр Кабаков. Стакан без стенок; Равиль Бухараев. История российского мусульманства: Беседы о северном исламе. № 6; Попутное чтение. *Сергей Боровиков. В русском жанре; К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья: 1950–1990-е; Сер-*

гей Костырко. Дорожный иврит. № 8; Попутное чтение. *Лев Симкин. Завтрак юриста; Иван Есаулов. Постсоветские мифологии; Леонид Латынин. Чужая кровь; М.А. Черняк. Актуальная словесность XXI века; Давид Самойлов Пярнуский альбом.* № 12

БЕЛЕЦКИЙ Родион — О нескольких театральных событиях 2014-го — начала 2015-го. № 7

БОРОВИКОВ Сергей — Что было, то было... Архивные публикации конца 2014 — начала 2015 года. № 5

БУЛКИНА Инна — Рассказы в «толстых» журналах в 2014 году. № 2

ГОФМАН Ефим — К вопросу о подвижничестве, партийности, поэтах и правильных людях. Архивные и мемуарные публикации первой половины 2015 года. № 10

ЗЕЙФЕРТ Елена — «Вынь из птицы лишних птиц...». Поэзия конца 2014 — начала 2015 в «толстых» журналах. № 6

ИВАНОВА Екатерина — Быть написанными или быть прочитанными? Рассказ в «толстых» журналах. № 9

КОНАКОВ Алексей — Критики о non-fiction в журналах первой половины 2015 года. № 12

РУДНЕВ Павел — Болевое усилие. № 1

СОЛНЦЕВА Алена — Последний тучный год. № 3

ХАРИТОНОВ Марк — Один автор в двух журналах. № 8

ХОЛОПОВА Елена — Священная земля. № 2

IN MEMORIAM

ЗОРИНА-КАРЯКИНА Ирина — Памяти Е.Ц. Чуковской. № 5

Рецензии. Книжные сериш. Обзоры. Резонанс. Симптом. На другом языке. Дважды

АНТОНИЧЕВА Марта — Можно ли рисовать в книгах? О книгах-раскрасках для взрослых. № 9; *Бытие на грани разумного.* Сергей Носов. Фигурные скобки. № 10

О.Б. (Ольга Балла) — *Горячее, пластичное.* Знамя, 2014, № 11. № 2

БАЛЛА Ольга — *Пространство диалога: антропология, идеология, эстетика.* Царицыно: аттракцион с историей. Коллективная монография. Ответственные редакторы Н.В. Самутина, Б.Е. Степанов. № 2; Он, она и оттепель: от диктата условностей к пространствам свободы. Наталия Лебина. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель. №12

БОРОВИКОВ Сергей — *Боши, а не фрицы, или Другой Эренбург.* Илья Эренбург. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные корреспонденции и статьи, 1915–1917. Составление, подготовка текстов, вступительная статья, комментарии, подбор иллюстраций Б.Я. Фрезинского. № 9

БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — *Завтра будет лучше, чем вчера?* Альфред Кох, Ольга Лапина. История одной деревни. № 1; «Люди ели людей». Платон Беседин. Ребра. № 2; *В щадящем режиме.* Игорь Гамаюнов. Щит героя. № 5

ВОРОНИНА Юлия — *Вселенная «Америки»* Андрей Поляков. Америка. №12

ГАВАЛЬДА Руслан — *Дороги и думы.* Татьяна Марьина. Сага о дороге. № 10

ГАРБЕР Марина — *Точка возврата.* Вальдемар Вебер. Продержаться до конца ноября. № 3

ГРИГОРЯН Анаит — *Притча о притче.* Владимир Березин. Виктор Шкловский. № 2

ГУРСКАЯ Ирина — *Подлинное и мнимое.* Александр Закуренько. Возвращение к смыслу. Старые и новые образы в культуре: опыт глубинного прочтения. № 9

ЕЛАГИНА Елена — *История и философия русского кодекса чести.* Яков Гордин. Русская дуэль: Философия, идеология, практика. № 8

ЕЛИСТРАТОВ Владимир — *Запах школьной программы.* Алексей Козлачков. Запах искусственной свежести. № 5

ЕРМОШИНА Галина — *«И все то, что будет потом...».* Станислав Снытко. Уничтожение имени. № 2

ЕФИМОВ Михаил — *Советская «игра в классики».* М. Раку. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. № 3; *Четвертый жанр Томаса Венцловы.* Томас Венцлова. Пограничье. Публицистика разных лет. № 6; *Ленинградская тень Петербурга.* Catriona Kelly. St Petersburg: Shadows of the Past. New Haven and London: Yale University Press, 2014 (Катриона Келли.

Санкт-Петербург: тени прошлого. Нью-Хейвен, Лондон: Издательство Йельского университета, 2014). № 7

КАРАТЕЕВ Артем — *Индиана Сталин.* Феликс Медведев. О Сталине без истерик; Алексей Кофанов. Русский царь Иосиф Сталин. № 1

КОМАРОВ Константин — *Теплая речь.* Юрий Казарин. Глина. № 10

КОРКУНОВ Владимир — *Сказки с намеком.* Михаил Бару. Повесть о двух головах, или Провинциальные записки. №12

КОРМИЛОВ Сергей — *О москвичах и немножко о Лермонтове.* Александр Васькин. В поисках лермонтовской Москвы. № 10

КОТЮСОВ Александр — *«We are the champions».* Саша Филипенко. Замыслы. № 6

КРАВЦОВ Константин — *Метафизика неразрешенного.* Борис Кутенков. Неразрешенные вещи. № 3; *Неделимый остаток смысла.* Александр Беляков. Ротация секретных экспедиций. № 9

КРИВОШЕЕВА Ольга — *«Затем, что жизнь всегда права».* Константин Гадаев. Вокшатсо. № 8

КУТЕНКОВ Борис — *Умолкшее слово поет.* Андрей Гришаев. Канонерский остров. № 2

ЛАРИОНОВА Екатерина — *Пропущенное звено.* Владимир Рецептер. Принц Пушкин, или Драматическое хозяйство поэта. №12

ЛОЙТЕР Анастасия — *Нарушенная сплошность времени.* Ольга Постникова. Понтийская соль. №12

ЛЮСЫЙ Александр — *«Давайте новое кино».* Крымские сонеты. Данила Давыдов, Андрей Полонский, Анастасия Романова, Алексей Яковлев. *Рисунки Анастасии Романовой.* № 1

ЛЯПИНА Лариса — *В диалоге с городом.* А.В. Кулагин. «Я в этом городе провел всю жизнь свою...» *Поэтический Петербург Александра Кушнера.* № 9

МАСЛЕННИКОВА Ангелина — *Случайные неслучайности.* Илья Одетов. Тимур и его лето. №12

МОЛОДЯКОВ Василий — *Засыпатель рвов.* Д. Мирский. О литературе и искусстве: статьи и рецензии 1922–1937. Составление, подготовка текстов, комментарии, материалы к библиографии: О.А. Коростелев и М.В. Ефимов. *Вступительная статья:* Дж. Смит. № 1; *«Но путь укажет — Мусагет».* Книгоиздательство «Мусагет». История. Мифы. Результаты. Исследования и материалы. Составление и вступительная статья: А.И. Резниченко. № 3; *Опрокинутый миф.* Леонид

Ливак, Андрей Устинов. Литературный авангард русского Парижа. 1920–1926. *История. Хроника. Антология. Документы.* № 6

МОРОЗ Э. — Люша. Итоги. Елена Чуковская. «Чукоккала» и около. № 6

МОРОЗОВА Татьяна — «Я арестован был не зря...» Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926–1953 гг.). К истории молодежного сопротивления большевизму. Составитель И.А. Мазус. № 7

НАУМЕНКО Виталий — «Лодка в наклонной воде...». Ирина Ермакова. Седьмая. № 6; *Время и место.* Алексей Алехин. Временное место. № 10

ПАНН Лиля — *Искусство смеется последним.* Политика литературы – поэтика власти. Сборник статей под редакцией Г. Обатнина, Б. Хеллмана и Т. Хуттунена. № 2; *Полиграфический курьез или вопрос этики?* № 5; *Как они жили-были.* История частной жизни: под общей редакцией Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1.: От Римской империи до начала второго тысячелетия; под ред. П. Вейна. Перевод с французского Т. Пятницыной и Г. Беляевой под редакцией В. Михайлина. № 7

ПЕРМЯКОВ Андрей — *Литература новых вопросов.* Алексей Козлачков. Запах искусственной свежести. № 5; Плеромантика. Ирина Перунова. Коробок. №12

ПОЛЯН Павел — *Непобедимость молодости.* Александра Михалева. Где вы, мои родные?... Дневник остарбайтера. № 5

ПОНОМАРЕВА Виктория — Сквозь призму грез. Александр Мелихов. Каменное братство. №12

ПРАВИКОВ Александр — Окольность и простота. Роман Рубанов. Соучастник. №12

РАХАЕВА Юлия — *Учитель, перед именем твоим...* Образ жизни. Об учителях Ю.А. Айхенвальде и В.М. Герлин. Составитель Т.А. Марголина. № 3

РИЗДВЕНКО Татьяна — *Король и капуста.* Виктор Коваль. Персональная выставка. № 1

С.С. (Станислав Секретов) — *От Конфуция до Пелевина.* Александр Генис. Космополит. Географические фантазии. № 2

САФРОНОВА Елена — «Войнишка» или ад? Великая война 1914 г. Сборник. Составление: Р.Г. Гагкуев. № 1

СЕКРЕТОВ Станислав — *Вежливая открытость.* Денис Драгунский. Взрослые люди; Денис Драгунский. Окна во двор. № 1; *До и после.* Майя Кучерская. Плач по уехавшей учительнице рисования. № 2; *Женщины Огарева.* Марина Степнова. Безбожный

переулоч. № 3; *Анатомия.* Маргарита Меклина. Вместе со всеми. № 7; *Город иллюзий.* Владимир Рафеенко. Демон Декарта. № 8; *В ожидании весны...* Елена Бочоришвили. Только ждать и смотреть. № 9; *Русская жизнь, или По дороге в никуда.* Ксения Драгунская. Секрет русского камамбера. № 10; *Когда деревья были большими...* Алексей Никитин. Victory Park. №12

СИМКИН Лев — *Истоки.* Дмитрий Жуков, Иван Ковтун. Антисемитская пропаганда на оккупированных территориях РСФСР, 1941–1944 гг. № 10

СКУЛЬСКАЯ Елена — *Бессонница.* Гомер. Тугие паруса. Александр Кушнер. Античные мотивы. № 5

ТИМАШЕВА Марина — *Театральная реальность Льва Додина.* Ольга Егошина. Театральная утопия Льва Додина. № 1

ТУЛЯКОВА Анастасия — *История любви и непонимания.* Павел Басинский. Лев в тени Льва. № 8

ТУРКОВ Андрей — *Если Бог думалку дал...* Георгий Радов. Гречка в сферах. № 7

УЛАНОВ Александр — *Лепестки лепестков.* Юлия Кокошко. За мной следят дым и песок. № 1; *Общество сквозь литературу.* А.И. Рейтблат. Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы. № 3; *Под взглядом.* Ольга Седакова. Стелы и надписи. № 7

УСЫСКИН Лев — *Поп Гапон, которого мы потеряли.* Валерий Шубинский. Гапон. № 1

ЦЫМБАЛ Евгений — *Было слишком много пропущенных страниц...* Лев Симкин. Коротким будет приговор. № 7

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — *Путь к праведничеству.* Бенгт Янгфельдт. Рауль Валленберг. Исчезнувший герой Второй мировой. Перевод со шведского О. Сушковой. № 5; *Диссидент генерал Григоренко.* Каждый выбирает для себя. Памяти выдающегося правозащитника генерала П.Г. Григоренко. Составление: А. Григоренко, И. Рейф. Предисловие: Л. Млечинш. № 6; «Свойственная ему ложь преобразилась». Евгений Никитин. Какие они разные... Чуковские: Корней, Николай, Лидия. № 8; *Почувствовать электричество.* Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. Перевод с английского Виктора Гольшева. № 9

ЧЕРЕШНЯ Валерий — *Читая Гандельсмана и Грифцова.* Владимир Гандельсман. Грифцов. № 3

ЧКОНЯ Даниил — *Пародия про пародию.* Ремонт Приборов. Гражданская лирика

и другие сочинения. 1969–2013. Предисловие Б. Кенжеева. № 6

ШЕСТАКОВА Лариса — Картина мира как лексическая проблема. Слово Достоевского 2014. Идиостиль и картина мира. № 8

ШИРШОВА Клементина — По реке. Поэтические сборники издательства «Воймега»: Евгений Таран. Книга улиц Лета Югай. Забыть-река. Андрей Новиков. Нерасчетливый наследник. № 7; Увлекательное искусство. Ирина Опимах. Живописные истории. № 10; Биография как образ жизни. Муза Раменская. История Подъяпольских. Пять поколений в XX веке. №12

ЩЕКИНА Полина — Прекрасное и неизвестное. Ольга Серебряная. Виктор Пивоваров. Утка, стоящая на одной ноге на берегу философии. № 10

ЭДЕЛЬШТЕЙН Михаил — Конец мифа о Ренате. Н.И. Петровская. Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика. Составление: М.В. Михайлова; вступительная статья: М.В. Михайлова и О. Велавичюте; комментарии: М.В. Михайлова и О. Велавичюте при уч. Е.А. Глуховской. №12

Фильм

ДУЛЕНИН Олег — Об отцах и дочерях. Как меня зовут. Режиссер Нигина Сайфуллаева. № 6

МИХАЙЛОВА Мария — Зримый Толстой. Запечатленный образ, или Лев Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет в интерьере эпохи. Режиссеры Галина и Анна Евтушенко. № 8

СИРОТИН Сергей — Наивностью по коррупции. Дурак. Режиссер Юрий Быков. № 5

Спектакль. Телеспектакль

АЛЕКСЕЕВА Елена — «Он без ума... счастлив...». Маскарад. Воспоминания будущего. Пушкинский театральный центр (СПб.). Режиссер В. Рецелпер. № 6

ГРИГОРЯН Анаит — Миф о человеке. Идиот. Миф. По роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Режиссер Владимир Туманов (сценическая композиция Георгия Товстоногова). № 3; Невыносимая жестокость бытия. Сталин. Ночь. По мотивам повести Виктора Некрасова «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы...». — Театр «Балтийский дом» (Санкт-Петербург). Режиссер Леонид Алимов. № 5; Реабилитация Каренина. Александр Каренин. По пьесе Василия Сигарева «А. Каренин». — Театр «Русская антреприза им. Андрея Миронова» (СПб.). Режис-

сер Юрий Цуркану. № 8; Сон в шалую ночь. По пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Театр «Балтийский дом» (СПб.). Режиссер Сильвиу Пуркарете. № 9

РАТЬКИНА Татьяна — О приступах ничей боли. М.Е. Салтыков-Щедрин. Современная идиллия. Мастерская Петра Фоменко. Режиссер Евгений Каменькович; К. Манн. Мефисто. МХТ им. Чехова. Режиссер Адольф Шапиро. № 10

РАХАЕВА Юлия — Как во городе было во Казани. Г. Доницетти. Любовный напиток. Постановка Юрия Александрова. № 2

Незнакомый журнал. Знакомый журнал. Незнакомый альманах. Издательства. Незамеченная книга

МОРОЗОВА Татьяна — В театр — верю. Жизнь — люблю. Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века (Москва). № 9

ОЛЬШВАНГ Хельга — «Мы станем частью правды...». Стороны света, №15. № 6

САФРОНОВА Елена — Полет «Чайки». Чайка — Seagull. Литературный альманах. № 1 (2014–2015). №12

Однажды в «Знамени»

БЕРШИН Ефим — Бабушкина внучка: искусство Марии Макаровой. № 1

Проект

МАТУСЕВИЧ Александр — Начало Возрождения: о проекте Российского государственного музыкального телерадиоцентра «Возрождаем наследие русских композиторов». № 8

Конференция

ЧУПРИНИН Сергей — Вся журнальная рать. Научно-практическая конференция «Журнальная Россия / История русской литературы XX века». № 9

4 (1001)

СТЕПАНОВА Мария — К Новому году
ШИШКИН Михаил — Клякса Набокова
ЛИПОВЕЦКИЙ Марк — Возвращение литературоцентризма: стим-панк наяву
КУРЧАТКИН Анатолий — Синописис романа
КИБИРОВ Тимур — Уж вечер...

ВОЙНОВИЧ Владимир — О вере, сакральности, сомнениях, насмешках и карикатурах
ГЕР Эргали — Каждому писателю нужен журнал
ДРАГУНСКИЙ Денис — Телефонкен
КОРОЛЕВ Анатолий — Имя Розы
КУРАЕВ Михаил — Всплывший камень
ПОПОВ Валерий — Как встретил я Год Литературы
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — Стихотворение и эссе
БУЙДА Юрий — Вечер на заброшенной фабрике
КЕКОВА Светлана — Музыка Рождества
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — Из цикла «О природе вещей»
РЕЙН Евгений — Посёлок
ПЬЕЦУХ Вячеслав — Полковник и гармонист
РУСАКОВ Геннадий — Моих ночёвок траурные норы
ВОЛОС Андрей — Принцип Микеланджело
ФАЙБИСОВИЧ Семен — Ода вольности — даром что в сети
МАКАНИН Владимир — Не стреляй
ПОПОВ Евгений — Вокруг Пизанской башни
ШАРОВ Владимир — Моя компания
ЮРСКИЙ Сергей — Три недели
АБДУЛЛАЕВ Шамшад — Блеск артезианской воды
БЕРЕЗИН Владимир — День шахтера
КАБАКОВ Александр — Дачная местность, зимний пейзаж
ТУРКОВ Андрей — Накануне «праздника со слезами на глазах»...
ЗОРИН Леонид — Две строки
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — Вековые ели
РЕЦЕПТЕР Владимир — Гоголь-моголь
СЕНЧИН Роман — Гоу датч
ЧУХОНЦЕВ Олег — Сквозняк
ГОРЛАНОВА Нина — О Варламе Шаламове. О памятниках
КОЧЕРГИН Илья — На пониженной
НИКОЛАЕВА Олеся — Без обиды
КУЧЕРСКАЯ Майя — Дорожные сны
ОРЕШКИН Дмитрий — Философия города
СЛАПОВСКИЙ Алексей — Диалогки
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр — Ближняя дача
СЛАВНИКОВА Ольга — Одинокий той-терьер
ОСИПОВ Максим — Риголетто (трагедия вежливости)
ХЕМЛИН Маргарита — Щедрый вечер
ФАНАЙЛОВА Елена — По канве Сергея Жадана «Огнестрельные и ножевые»

БЕНИГСЕН Всеволод — «На трибунах становится тише»
КИРЕЕВ Руслан — «Я была вам хорошим товарищем»
РЫБАКОВА Мария — Врата Осириса
УЛИЦКАЯ Людмила — Семейная сага
ПАВЛОВ Олег — Лекция о литературном мастерстве
ТУЧКОВ Владимир — Бабочка 3.0
ГАРДЗОНИО Стефано — Двенадцатый год
ИЛИЧЕВСКИЙ Александр — ДНК и книга
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — «Волк не похож на бабушку», или Почему люди не читают?
ЯСИНА Ирина — Мой отец Евгений Ясин
БУНИМОВИЧ Евгений — раз два три четыре
ГРОМОВА Наталья — Заметки на полях архивной и музейной жизни
ДАВЫДОВ Георгий — Девица, грызущая карандаши
МАКУШИНСКИЙ Алексей — Молчание
ПОДРАБИНЕК Александр — Наша кампания за амнистию
КОНАКОВ Алексей — Сугубо личная теория зауми
БОРОВИКОВ Сергей — Бессонница
КРУЖКОВ Григорий — Революция снизу
КЮНЕ Екатерина — Соседка
ФИЛИПЕНКО Саша — Травля

Непрошедшее

Из речей, произнесенных на церемониях вручения премий «Знамени» — **БАКЛАНОВ Григорий, ВЛАДИМОВ Георгий, ДУБИН Борис, ВАЙЛЬ Петр, ГЕРШТЕЙН Эмма, КАРДИН В., ЛОСЕВ Лев, БЕК Татьяна, ДАВЫДОВ Юрий, АГЕЕВ Александр, ЧУДАКОВ Александр, ЛИСНЯНСКАЯ Инна, СВЕТОВ Феликс, ЭППЕЛЬ Асар, ИВАНОВ Борис, ШВАРЦ Елена, КАРЯКИН Юрий**

Список лауреатов журнала «Знамя» с 1993 по 2014 год

()

Страницы поэзии

МИЛИТОНЯН Эдвард — Кшиштоф Пендереcki. Перевод Альберта Налбандяна
ТАТЕВОСЯН Анаит — Филологическая молитва
АРЕНЦ Эдуард — Конкурс по сбору чабреца. Переводы Гаянэ Арутюнян, Анаит Татевосян, Лилит Меликсетян

БАРЕНЦ Гурген — Крылатые годы
ОГОЛЬЦОВА Эмма — Воздушные потоки
АВАКЯН Аревшат — На Божий свет. Переводы Георгия Кубатьяна и Евгения Солоновича
АЛЕКСАНИЯН Грант — Я люблю жизнерадостный абрикосовый... Перевод Анаит Тадевосян
АРУТЮНЯН Артём — Ночь в Вашингтоне. Перевод Гургена Баренца
МКРТЧЯН Шант — Из книги «Фазы возвращения». Перевод Анаит Татевосян
ОГАНЕСЯН Анатолий — Из книги «Зеркало». Перевод Альберта Налбандяна
ЭДОЯН Генрик — Волосы Вероники. Перевод Анаит Татевосян
АКОПЯН Вардан — Дым Арцаха. Перевод Альберта Налбандяна

Страницы прозы

САГАТЕЛЯН Ваган — Крест крови. Рассказ. Перевод Лилит Меликсетян
ОВСЕПЯН Рубен — Как стать сильным. Рассказ. Перевод Ирины Маркарян
АРУТЮНЯН Сусанна — Ссылка на небеса. Рассказы. Перевод Натальи Абрамян
АРУТЮНОВА Каринэ — Другой жанр
ГРИГОРЯН Анаит — Родная речь. Рассказ
ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН Елена — Записки ереванского двора

Non fiction

ФЕРЕШЕТАН Вардван — Два эссе. Перевод Ашота Гаречиняна
МОВСЕСЯН Рафаэль — Заметки об одном возвращении
ГРИГОРЯН Нелли — Каприччио

Непрошедшее

НЕРЛЕР Павел — «Путешествие в Армению» и путешествие в Армению Осипа Мандельштама: попытка реконструкции
СААКЯНЦ Каринэ — «К священному содружеству армян ты приобщил Марию Петровян»
МОВЧАН Елена — Удивительный Левон
ИСОЯН Альберт — Существительная литература
ЛИСИЦИАН Рубен — Привет мой вам, сеньоры!

Моя Армения

ГАНИЕВА Алиса — И вошли в Ковчег...
АМЕЛИН Максим — Ереванский триптих. Стихи
СУРАТ Ирина — Притяжение горой
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр — Обращение в Армению
МАНН Юрий — Целое и детали
МАРЧЕНКО Алла — Не выцветающие картинки

Критика

НИКОГОСЯН Арменик — Бытие, психология, творчество

Наблюдатель

Рецензии

ЛОЙТЕР Анастасия — «Я с песней умереть хочу...». Земля говорит. Сборник произведений писателей — жертв геноцида. Перевод: А. Агаронян, П. Антокольский, Г. Баренц, С. Ботвинник, Ю. Григорян, Г. Кубатьян, А. Налбандян, А. Тер-Акопян, Я. Хачатрянц, С. Шервинский, О. Шестинский, А. Щербанов, М. Юзбашьян
АШХАРОЯН Аревик — Количество против качества: независимое книгоиздание Армении
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — Форма эскапизма. Ирина Горюнова. Армянский дневник. Цавд танем
БАЛЛА Ольга — Вам нечего бояться. А. Нуне. Дневник для друзей. Предисловие: А. Битов

Незнакомый журнал

ГАЗАРЯН Нарине — Образ мира и Армении. Гехарт. Литературно-переводческий журнал. (Степанакерт). Перевод Анаит Тадевосян

Выставка

ЩЕКИНА Полина — Вопросы авторства. Айвазовский и маринисты — живые полотна. Интерактивная выставка. — Креативное пространство «Люмьер-холл»

а

АБДУЛЛАЕВ Шамшад — № 4
АВАКЯН Аревшат — № 11
АГЕЕВ Александр — № 4
АЙЗЕНБЕРГ Михаил — №№ 2, 4
АЙЗЕРМАН Лев — № 12
АКОПЯН Вардан — № 11
АКСЁНОВ Василий — № 9
АЛЕКСАНЯН Грант — № 11
АЛЕКСЕЕВА Елена — № 6
АМЕЛИН Максим — № 11
АМУСИН Марк — № 2
АНТОНИЧЕВА Марта — № 10
АРЕНЦ Эдуард — № 11
АРИСТОВ Владимир — № 6
АРУТЮНОВА Каринэ — № 11
АРУТЮНЯН Артем — № 11
АРУТЮНЯН Сусанна — № 11
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр — №№ 4, 9, 11
АРЬЕВ Андрей — №№ 1, 12
АСИМ Заир — № 2
АШХАРОЯН Аревик — № 11

б

БАЖЕНОВ Виктор — № 1
БАЙТОВ Николай — № 6
БАКЛАНОВ Григорий — № 4
БАЛЛА Ольга — №№ 2, 11, 12
БАРАНОВ Андрей — № 12
БАРЕНЦ Гурген — № 11
БАРМЕТОВА Ирина — № 1
БЕК Татьяна — № 4
БЕЛЕЦКИЙ Родион — № 7
БЕЛЯКОВ Александр — № 7
БЕЛЯКОВ Сергей — № 1
БЕНИГСЕН Всеволод — № 4
БЕРДИЧЕВСКАЯ Анна — № 7
БЕРЕЗИН Владимир — №№ 4, 5
БЕРШИН Ефим — № 1
БОГАТЫРЕВА Софья — №№ 2, 3
БОРИН Александр — № 10
БОРОВИКОВ Сергей — №№ 2, 4, 5, 7, 9
БОЧКАРЕВА Изабелла — № 6
БОЧКОВ Валерий — № 5
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга — №№ 1, 2, 4, 5, 11
БУЙДА Юрий — № 4
БУЛКИНА Инна — №№ 2, 7

БУНИМОВИЧ Евгений — №№ 4, 10

в

ВАЙЛЬ Петр — № 4
ВАСИЛЕВСКИЙ Андрей — № 1
ВЕДЕНЯПИН Дмитрий — № 1
ВИРОЗУБ Михаил — № 5
ВИШНЕВЕЦКАЯ Марина — № 4
ВЛАДИМОВ Георгий — № 4
ВОЙНОВИЧ Владимир — № 4
ВОЛОС Андрей — № 4
ВОРОНИНА Юлия — № 12
ВОТРИН Валерий — № 3

г

ГАВАЛЬДА Руслан — № 10
ГАДАЕВ Константин — № 12
ГАЗАРЯН Нарине — № 11
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир — № 3
ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей — №№ 4, 9
ГАНИЕВА Алиса — № 11
ГАРБЕР Марина — № 3
ГАРДЗОНИО Стефано — № 4
ГЕР Эргали — №№ 4, 9
ГЕРШТЕЙН Эмма — № 4
ГЛАДКОВ Александр — №№ 5, 6
ГЛОТОВА Любовь — № 3
ГОРБОВСКАЯ Екатерина — № 2
ГОРЛАНОВА Нина — № 4
ГОФМАН Ефим — №№ 3, 10, 12
ГРИГОРЯН Анаит — №№ 2, 3, 5, 8, 9, 11
ГРИГОРЯН Нелли — № 11
ГРОМОВА Наталья — №№ 4, 9
ГУРСКАЯ Ирина — № 9

д

ДАВЫДОВ Георгий — №№ 3, 4
ДАВЫДОВ Юрий — № 4
ДЕРЖАВИН Владимир — № 12
ДОЛГОПЯТ Елена — № 2
ДРАГУНСКИЙ Денис — № 4
ДУБИН Борис — № 4
ДУЛЕНИН Олег — № 6
ДЪЯКОВ Дмитрий — № 12

Е

ЕЛАГИНА Елена — № 8
 ЕЛИСТРАТОВ Владимир — № 5
 ЕРМОШИНА Галина — № 2
 ЕФИМОВ Михаил — №№ 3, 6, 7

Ж

ЖОЛКОВСКИЙ Александр — № 10

З

ЗАХАРОВА Мария — № 9
 ЗВЯГИНЦЕВ Николай — № 9
 ЗЕЙФЕРТ Елена — № 6
 ЗЕЛИНСКАЯ Елена — № 10
 ЗОРИН Леонид — №№ 4, 8
 ЗОРИНА-КАРЯКИНА Ирина — № 5

И

ИВАНОВ Борис — № 4
 ИВАНОВА Екатерина — № 9
 ИВАНОВА Наталья — №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10
 ИГНАТОВ Сергей — № 1
 ИЛИЧЕВСКИЙ Александр — № 4
 ИСОЯН Альберт — № 11

К

КАБАКОВ Александр — №№ 1, 3, 4, 7, 12
 КАЛУЖСКИЙ Александр — № 8
 КАМОВ О. — № 2
 КАПОВИЧ Катя — № 7
 КАРАСЕВ Леонид — № 8
 КАРАТЕЕВ Артем — № 1
 КАРДИН В. — № 4
 КАРЕТНИКОВА Инга — № 8
 КАРЯКИН Юрий — № 4
 КЕКОВА Светлана — № 4
 КЕНЖЕЕВ Бахыт — № 5
 КИБИРОВ Тимур — № 4
 КИМ Иван — №№ 10, 12
 КИРЕЕВ Руслан — №№ 4, 12
 КИРОВ Александр — №№ 2, 12
 КЛЕХ Игорь — № 7
 КОВАЛЕНКОВА Настя — № 8
 КОЗЛОВ Владимир — № 12
 КОЖУХАРОВ Роман — № 8
 КОМАРОВ Константин — № 10
 КОНАКОВ Алексей — №№ 4, 10, 12
 КОНСТАНТИНОВ Всеволод — № 1
 КОРКУНОВ Владимир — № 12
 КОРМИЛОВ Сергей — № 10

КОРОЛЕВ Анатолий — № 4
 КОСТЫРКО Василий — № 10
 КОТЮСОВ Александр — № 6
 КОЧЕЙШВИЛИ Борис — № 7
 КОЧЕРГИН Илья — №№ 2, 4
 КРАВЦОВ Константин — №№ 3, 5, 9
 КРАСУХИН Геннадий — № 9
 КРИВОШЕЕВА Ольга — № 8
 КРОНГАУЗ Максим — № 2
 КРУГЛОВ Сергей — № 6
 КРУЖКОВ Григорий — №№ 3, 4, 10
 КУДРЯКОВ Алексей — № 12
 КУРАЕВ Михаил — № 4
 КУРСАНОВА Марина — № 3
 КУРЧАТКИН Анатолий — № 4
 КУТЕНКОВ Борис — № 2
 КУЧЕРСКАЯ Майя — №№ 3, 4
 КУШНЕР Александр — № 6
 КЮНЕ Екатерина — №№ 3, 4

Л

ЛАРИОНОВА Екатерина — № 12
 ЛЕВИН Александр — № 8
 ЛЕВИН Константин — № 5
 ЛЕЩИНСКИЙ Андрей — № 10
 ЛИВЕРГАНТ Александр — № 1
 ЛИДСКИЙ Владимир — № 1
 ЛИПОВЕЦКИЙ Марк — № 4
 ЛИСИЦИАН Рубен — № 11
 ЛИСНЯНСКАЯ Инна — №№ 4, 6
 ЛОЙТЕР Анастасия — №№ 11, 12
 ЛОСЕВ Лев — № 4
 ЛОСЕВА Мария — № 2
 ЛЫСЕНКО Валерий — № 10
 ЛЮСЫЙ Александр — № 1
 ЛЯПИНА Лариса — № 9

М

МАЗУС Израиль — № 7
 МАЛЕЦКИЙ Юрий — № 12
 МАКАНИН Владимир — № 4
 МАКУШИНСКИЙ Алексей — № 4
 МАЛАШЕНКО Алексей — № 3
 МАНН Юрий — № 11
 МАРИНИЧЕВ Родион — № 10
 МАРКОВА Мария — № 8
 МАРЧЕНКО Алла — № 11
 МАСЛЕННИКОВА Ангелина — № 12
 МАТВЕЕВА Анна — № 8
 МАТУСЕВИЧ Александр — № 8
 МАШИНСКАЯ Ирина — № 7
 МИЛИТОНЯН Эдвард — № 11
 МИНДОРИАНИ Саша — № 9

МИХАЙЛОВА Мария — № 8
 МКРТЧЯН Шант — № 11
 МОВСЕСЯН Рафаэль — № 11
 МОВЧАН Елена — № 11
 МОЛОДЯКОВ Василий — №№ 1, 3, 6
 МОРОЗ Э. — № 6
 МОРОЗОВА Татьяна — №№ 7, 9
 МУРАТХАНОВ Вадим — № 10

Н

НАУМЕНКО Виталий — № 10
 НЕКРАСОВА Евгения — № 1
 НЕРЛЕР Павел — № 11
 НИВА Жорж — № 1
 НИКИФОРОВИЧ Григорий — № 7
 НИКОГОСЯН Арменик — № 11
 НИКОЛАЕВ Сергей — № 7
 НИКОЛАЕВА Олеся — № 4
 НОВИЧЕНКОВ Артем — № 5

О

ОВСЕПЯН Рубен — № 11
 ОГАНЕСЯН Анатолий — № 11
 ОГОЛЬЦОВА Эмма — № 11
 ОЛЬШВАНГ Хельга — № 6
 ОРЕШКИН Дмитрий — №№ 4, 6
 ОРЛОВ Владимир — № 3
 ОСИПОВ Максим — №№ 4, 10
 ОСОКИН Денис — № 9
 ОСТАНИНА Анна — № 3

П

ПАВЛОВ Олег — № 4
 ПАНН Лиля — №№ 2, 5, 7
 ПАСТЕРНАК Борис — № 12
 ПЕРМЯКОВ Андрей — №№ 5, 12
 ПЕТКЕВИЧ Юрий — № 12
 ПИЛЬНЯК Борис — № 6
 ПОДРАБИНЕК Александр — № 4
 ПОЛЯН Павел — № 5
 ПОНОМАРЕВА Виктория — № 12
 ПОПОВ Валерий — № 4
 ПОПОВ Евгений — № 4
 ПРАВИКОВ Александр — № 12
 ПРАШКЕВИЧ Геннадий — № 6
 ПУРИН Алексей — № 3
 ПУСТОВАЯ Валерия — № 5
 ПЬЕЦУХ Вячеслав — № 4

Р

РАФЕЕНКО Владимир — № 12

РАТЬКИНА Татьяна — № 10
 РАХАЕВА Юлия — №№ 2, 3
 РЕЙН Евгений — №№ 4, 8
 РЕЦЕПТЕР Владимир — №№ 2, 4
 РИЗДВЕНКО Татьяна — № 1
 РОМАНОВСКИЙ Александр — № 9
 РУБАНОВА Наталья — № 3
 РУДНЕВ Павел — № 1
 РУСАКОВ Геннадий — №№ 2, 4, 12
 РЫБАКОВА Мария — № 4
 РЯХОВСКАЯ Мария — №№ 2, 12

С

СААКЯНЦ Каринэ — № 11
 САГАТЕЛЯН Ваган — № 11
 САПРЫКИНА Серафима — № 10
 САФРОНОВА Анна — №№ 1, 12
 САФРОНОВА Елена — № 1
 СВЕТОВ Феликс — № 4
 СЕКРЕТОВ Станислав — №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12
 СЕНЧИН Роман — № 4, 5
 СЕРГЕЕВА Людмила — № 7
 СИМКИН Лев — №№ 8, 10
 СИРОТИН Сергей — № 5
 СКВОРЦОВ Артем — № 9
 СКУЛЬСКАЯ Елена — № 5
 СЛАВНИКОВА Ольга — № 4
 СЛАПОВСКИЙ Алексей — № 4
 СОЛНЦЕВА Алена — № 3
 СОЛОВЬЕВ Сергей — № 2
 СТЕПАНОВА Мария — № 4
 СТЕПАНЯН Карен — № 3
 СТОПАЛОВ Сергей — № 5
 СУРАТ Ирина — №№ 6, 11

Т

ТАНГЯН Ольга — № 12
 ТАТЕВОСЯН Анаит — № 11
 ТИМАШЕВА Марина — № 1
 ТОЛОКОННИКОВА Ксения — № 7
 ТУЛЯКОВА Анастасия — № 8
 ТУРКОВ Андрей — №№ 4, 7
 ТУЧКОВ Владимир — №№ 4, 5
 ТЯЖЕВ Михаил — № 6

У

УЛАНОВ Александр — №№ 1, 3, 7
 УЛИЦКАЯ Людмила — № 4
 УЛЮКАЕВ Алексей — № 1
 УСЫСКИН Лев — № 1, 7

Ф

ФАЙБИСОВИЧ Семен — № 4
ФАНАЙЛОВА Елена — № 4
ФЕРЕШЕТЯН Вардван — № 11
ФИЛИПЕНКО Саша — №№ 3, 4
ФРЕЙДИН Григорий — № 5
ФРУМКИН Константин — № 3

Х

ХАЙКИН Игорь — № 7
ХАРИТОНОВ Марк — №№ 6, 8
ХЕМЛИН Маргарита — № 4
ХОЛОПОВА Елена — № 2

Ц

ЦВЕТКОВ Алексей — № 10
ЦЫМБАЛ Евгений — № 7

Ч

ЧАЙКОВСКАЯ Ирина — №№ 5, 6, 8, 9
ЧЕРЕШНЯ Валерий — № 3
ЧКОНИЯ Даниил — № 6
ЧУДАКОВ Александр — № 4
ЧУДАКОВ Сергей — № 10
ЧУПРИНИН Сергей — №№ 2, 3, 6, 8, 9, 12
ЧУХОНЦЕВ Олег — №№ 1, 3, 4

Ш

ШАРОВ Владимир — № 4
ШВАРЦ Елена — № 4

ШЕВЕЛЕВ Михаил — № 6
ШЕСТАКОВА Лариса — № 8
ШИРШОВА Клементина — №№ 7, 10, 12
ШИШКИН Михаил — № 4
ШКЛОВСКИЙ Евгений — № 9
ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь — № 3
ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН Елена — № 11

Щ

ЩЕКИНА Полина — № 10, 11
ЩЕРБИНИНА Юлия — № 8

Э

ЭБАНОИДЗЕ Александр — № 1
ЭДЕЛЬШТЕЙН Михаил — № 12
ЭДОЯН Генрик — № 11
ЭППЕЛЬ Асар — № 4
ЭПШТЕЙН Михаил — № 1
ЭРЛИХ Сергей — №№ 1, 6

Ю

ЮРСКИЙ Сергей — № 4
ЮСУПОВ Ислам — № 8

Я

ЯСИНА Ирина — № 4

Сергей ЧУПРИНИН

главный редактор
(495) 699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА

первый заместитель главного редактора
(495) 699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГорова

ответственный секретарь
(495) 699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Евгения ВЕЖЛЯН

отдел прозы
(495) 699 47 84, vejlyan@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА

отдел поэзии
(495) 699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА

отдел библиографии
отдел публицистики
(495) 699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН

отдел критики
(495) 699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА

отдел прозы
(495) 699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА

корректор

Евгения БИРЮКОВА

допечатная подготовка, производство,
распространение
(495) 699 80 67, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ

художник

Людмила БАЛОВА

исполнительный директор
(495) 699-48-98, buch@znamlit.ru

Марина ГАСЬ

гл. бухгалтер
(495) 699-48-98, buch2@znamlit.ru

Наталья РОГОЖИНА

компьютерный набор
(495) 699-48-71

Марина СОТНИКОВА

заведующая редакцией
info@znamlit.ru
(495) 699-52-83

**Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям**

Электронная версия журнала:

<http://magazines.russ.ru/znamia/>

адрес редакции:

123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив
редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 15.10.2015.
Подписано к печати 20.11.2015.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ № 3015-2015

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.38
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 941-31-62
www.redstarph.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru

**Журнал «Знамя» благодарит фонд
«Содействие», который выписал
и направляет часть тиража
в библиотеки экономического профиля**

« »

Метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46,
вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

10 e mail,
(400 000)

адрес редакции:

123001, Москва

ул. Большая Садовая, 2/46

телефон/факс: 699 52 83

e-mail: info@znamlit.ru